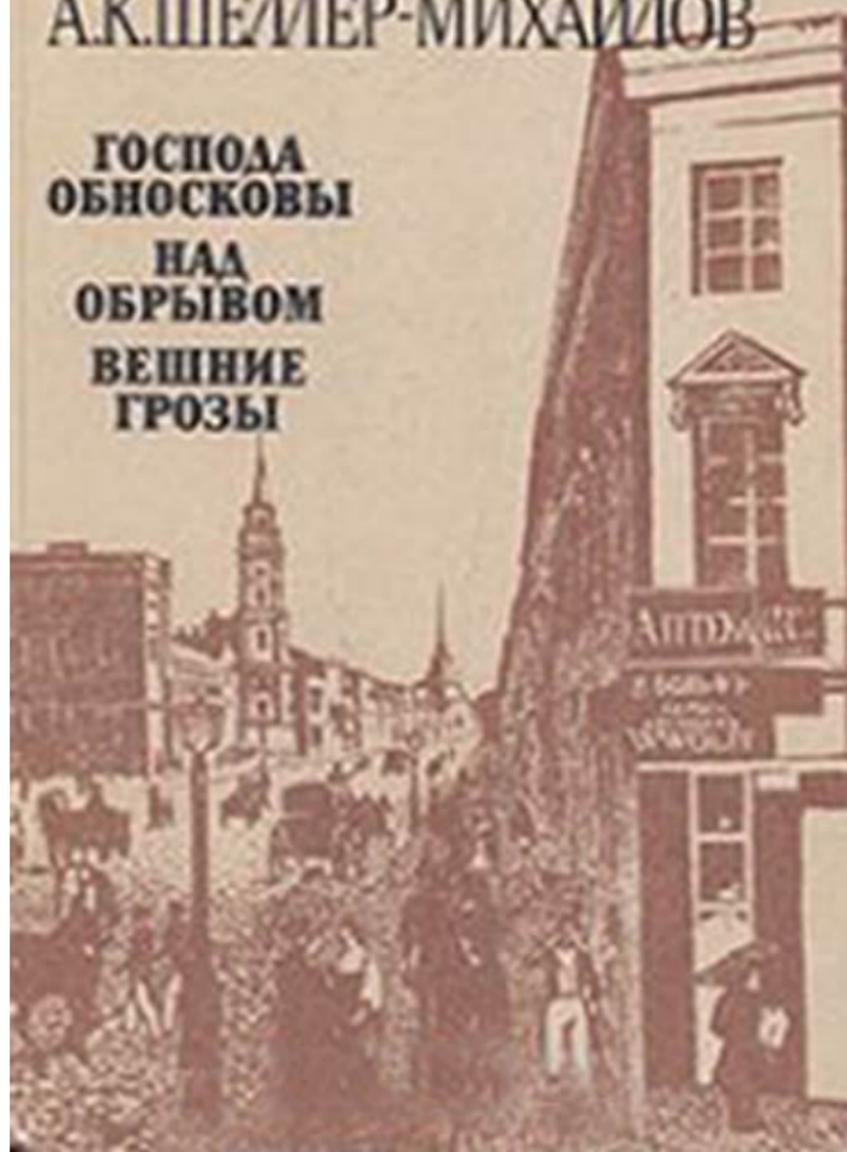


А.К.ШЕЛЕР-МИХАЙЛОВ

ГОСПОДА
ОБНОСКОВЫ
НАД
ОБРЫВОМ
ВЕШНИЕ
ГРОЗЫ



Александр Константинович Шеллер- Михайлов

Господа Обносковы

Русский писатель-демократ А.К. Шеллер-Михайлов — автор злободневных и популярных в 60-80-х годах прошлого века романов.

Прямая критика паразитирующего дворянства, ничемной, прожигающей жизнь молодежи, искреннее сочувствие труженику-разночинцу, пафос общественного служения присущи его романам «Господа Обносковы», «Над обрывом» и рассказу «Вешние грозы».

Содержание

I Мать и сын	0006
II Впотьмах	0030
III Умиравший Обносков в своей семье	0048
IV Исповедь старого Обноскова	0076
V Ех-профессор Кряжов, дальний родственник Обносковых	0094
VI Дочь и воспитанник Кряжова	0114
VII Драма, которую вполне поймут ее герои только впоследствии	0132
VIII Смерть старого Обноскова	0159
IX Перед гробом ближнего	0178
X Очень обыкновенная семейная жизнь	0208
XI Кузен Пьер развиватель молодежи	0232
XII На краю пропасти	0255
XIII Продолжение предыдущей	0275
XIV Домашний ад и случайное перемирие	0295
XV Во время выздоровления Алексея Алексеевича Обноскова	0320
XVI Внутренний разлад	0346
XVII Жизнь Павла	0368
XVIII Две порванные связи	0397
XIX Отец и муж	0430
XX Заря новой жизни	0449
XXI Обносков навсегда лишается жены	0477
XXII Затишье после грозы	0499

XXIII Заключение0511
ПРИМЕЧАНИЯ0540

**А. К. Шеллер-Михайлов
Господа Обносковы**

I

Мать и сын

Из вагонов только что прибывшего из-за границы поезда Варшавской железной дороги выходили пассажиры. Это было в конце апреля 186* года. Среди оживленной, разнохарактерной и разноплеменной толпы приехавших в Петербург людей один пассажир, из русских, обращал на себя особенное внимание своими неторопливыми движениями и официально бесстрастной физиономией, с которой ни долгое скитание за границей, ни встречи с неусидчивыми деятелями не могли изгладить следов чиновничества, золотушности и какого-то оторопелого отупения. Это был сутуловатый, худощавый, некрасивый человек лет двадцати семи или восьми, с чашоточным лицом сероватого, геморроидального цвета и с узенькими тусклыми глазками, подслеповато выглядывавшими из-под очков. Наружные углы глаз, приподнятые кверху, придавали лицу путешественника калмыцкое выражение не то мелочной хит-

рости, не то злобной и холодной насмешливости. На этом господине была надета мягкая дорожная шляпа, порядочно потасканная во время ее долголетней службы, и какое-то немецкое пальто с стоячим воротником допотопного покроя. Такие пальто встречаются в Германии только на тех старых профессорах, которые обрюзгли, заржавели, обнеряшились и забыли все на свете, кроме пива, сигар, нюхательного табаку и десятка сухих, излюбленных ими книжонок. Казалось, в этом пальто молодой приезжий с незапамятных времен спал, ходил на лекции, лежал во время частых припадков болезни и предавался кропотливым занятиям в своем кабинете. Даже самая пыль, приставшая к этому пальто, придавала ему вид древности и напоминала о пыли тех выцветших фолиантов, над которыми отощал, сторбился, засох и утратил блеск и обаятельную свежесть молодости обладатель этого полухалата.

В сущности, этого господина нельзя было назвать ни путешественником, ни ученым, как нельзя назвать писателем чиновника, составляющего доклады. Путешествовать, то

есть ездить для удовольствия, для отдыха от занятий, для поправления здоровья, он действительно никогда и не думал. Он просто считал необходимым и очень удобным, ревностно исполняя поручение благосклонного начальства, переезжать в том или другом вагоне из одного города в другой. В городах его интересовали исключительно архивы, где была можно, не изменяя своей привычке к кабинетным занятиям, спокойно и дешево собрать нужные — не ему, а начальству — сведения из книг. Даже от самого вагона он не требовал никаких особенных удобств и ценил его только за те качества, за которые ценится и архив, — за общедоступность и тишину. Движение поезда могло быть медленно, вагоны могли подсакивать и шататься из стороны в сторону, прислуга могла быть груба, — все это не касалось до нашего путника, и только та ветвь железной дороги казалась ему прекрасною, где за проезд брали немного и где ему удалось в совершенном одиночестве или среди несообщительных спутников разобрать списанные в последнем посещенном им архиве документы и записать на па-

мять, что должно требовать из следующего книгохранилища. Выгружая таким образом из неразлучного с ним ручного чемоданчика десятки листиков, бумажных лоскутков, старых книжонок и проектированных им «доселений», он незаметно превращал самый вагон в архив и как-то тупо и растерявшись глядел на кондуктора, когда тот докладывал оглушительным голосом, что они приехали. Вероятно, не меньше изумился бы какой-нибудь похороненный в своем департаменте чиновник, если бы ему сказали, что он и его доклады, рапорты и отношения приехали. «Как? Куда приехали? В чужой, волнующийся действительною жизнью, шумный город, может быть, на людную площадь, где ведутся торговые сделки и идет борьба из-за куска хлеба!» Подобные крики неподдельного ужаса всегда готовы были вырваться из груди нашего путника при докладах кондуктора, но мало-помалу он привык к своему положению и, услышав слово о приезде на место, торопливо засовывал в чемоданчик свои деловые бумаги, сознавая, что он приехал в новый архив.

Но, наконец, пришел день, когда его понес локомотив железной дороги в новое место, куда его принуждали ехать не одни архивы, не одни докладные записки, а что-то совсем другое. Там, в этом городе, когда наш соотечественник покидал его два года тому назад, сильнее чем где-нибудь копошились люди-муравьи; все свои неуходившиеся силы отдавали они разным вопросам дня, шумели, спорили, дорого платили за свой честный, молодой пыл, и их крики достигали даже до того мирного угла, где наш герой, имея в виду благосклонное поощрение начальства, рылся в разных стареньких скучных книжонках. «Крестьянский вопрос! Эмансипация женщин! Экономические отношения! Мировые судьи!» — назойливо жужжало у него в ушах, и он сотни раз проклинал этот гам тревожной жизни, так как этот гам нисколько не мог помочь, а только мог помешать при разъяснении красот, удачных оборотов или темных мест в тех или других классических произведениях древности... И вот снова приходится вступить в эти знакомые места... Вот и родные купола церквей мелькнули вдали, и фаб-

рики с длинными трубами задымились по сторонам, а вот и кладбище с пестрыми подгнившими крестами, как-то уничиженно, как-то трусливо прижавшимися друг к другу вдали от кладбищенской церкви, и мраморными колоннами, и гранитными мавзолеями, гордо ставшими бок о бок с храмом. Раз три принимался молодой человек, подъезжая к этому городу, перечитывать Геродота, но дело как-то не шло вперед, и странное, неприятное волнение чуялось в груди. «Надо будет завтра же явиться к начальству», — стал он думать, и вдруг, без его воли, в голове промелькнула мысль: «А ведь это все в холеру захоронено бедняками». Молодой человек пожал плечами и, сердито отвернувшись от кладбища, стал пересматривать свои бумаги. «Надо будет, как приеду, Плиния еще раз прочитать», — рассуждал он мысленно, как будто желая этим чтением заглушить воспоминания о бедняках, погибших в холеру от голода, холода, дурных жилищ и невежества. Пока он еще рылся в бумагах, раздался свисток. «Что-то дядя, жив ли?» — опять подумал как-то невольно наш герой, замыкая чемодан, и

вышел из вагона. Последняя мысль начала неотступно вертеться в его голове. Он с трудом дотащил чемоданчик до площадки подъезда, остановился и опустил оттянувшую ему руки ношу, едва переводя дух и с усилием вбирая воздух плоскою грудью.

— Леня, голубчик! — раздалось в эту минуту восклицание в массе шумевшего народа.

Молодой человек вздрогнул, обернулся в ту сторону, откуда послышался давно знакомый голос, и увидал немолодую, довольно плотную и еще свежую женщину; она угловато и бесцеремонно продиралась локтями сквозь толпу людей, озабоченно суетившихся на подъезде дебаркадера.

— Маменька! — вырвался крик у господинна в профессорском пальто, и в ту же минуту его лицо покрылось десятками сочных и звонких поцелуев. — Как вы сюда попали?

— Тебя ждала, голубчик. Второй день дежурю здесь, — заговорила мать таким тоном и с таким размахиванием рук, что сейчас можно было угадать, что эта женщина нередко говорит: «Я своими рукам вскормила сына» и «Я его страшно люблю».

— А-а!.. А я думал, что вы по какому-нибудь делу приехали, — промолвил сын и поцеловал во второй раз руку матери. — Ну, спасибо! Только зачем тратились, ведь вам не легко делать лишние расходы из-за того, чтобы получасом раньше встретить меня.

— Голубчик мой, все-то ты обо мне заботишься, — произнесла мать и с сожалением добавила, осматривая сына и качая головой: — Мало ты поправился за границей-то. Все такой же худенький и слабенький. Дайка, Леня, я донесу твой чемоданчик.

— Донесите, я действительно утомился, — ответил сын и закашлял глухим кашлем. — Только подождите немного, куда народ поразъедется; теперь, я думаю, к извозчикам приступу нет. Рады, мерзавцы, случаю содрать лишний гривенник, благо с ними дураки гуманничают, да таксы на них не налагают...

Мать и сын остались стоять на подъезде, не обращая никакого внимания на окружающий их народ. Мать, вопреки мнениям посторонних людей, постоянно считала себя бедною, носила старомодные крашеные шляпки

с большими бантами наверху, была практична и воспитала сына, приучая его не делать лишних расходов. Но по какому-то непонятному капризу человеческого чувства, несмотря на ее скупость, в эти минуты свидания ее менее обыкновенного радовало, что сын был по-прежнему трезв и рассудителен. В ней вдруг проснулась какая-то опасная потребность, наперекор судьбе и своим собственным привычкам, самой устроить себе праздник в однообразной будничной жизни. В то же время, задумчиво глядя на свое платье, на одежду и болезненную фигуру сына, она сознавала и всю свою бедность, и всю разумность вскормленного ею существа.

— А что дядя? — озабоченно спросил сын.

— Плох, очень плох! — послышался скорбный ответ, и в тоне этих слов почуялось поползновение и слезам.

— Но все-таки жив еще?

— Жив, голубчик, жив... Тебя ждет...

— Я для того и приехал ранее срока, чтобы застать его в живых... Признаюсь, я просто не мог работать, не зная наверное, что тут делается.

— Ох, что у нас там творится, — уму непо-
стижимо...

Мать торопливо отерла слезы, сморкну-
лась и скороговоркою начала передавать сы-
ну, что творится у дяди. Судя по пламенному
тону речей матери и по вниманию сына, дело
было очень важное для обоих. В минуту этих
довольно скорбных описаний семейных со-
бытий на подъезде дебаркадера раздался
оглушительный крик:

— Карету генерала Егунова!

Молодой человек быстро обернулся, и
вдруг его лицо приняло мягкое, улыбающееся
выражение.

— Мое почтение, генерал! — произнес он
почтительно приветливым голосом и снял
шляпу перед обрюзгшей, рыхлой, одетой в ге-
неральское пальто особой с подстриженными
по-солдатски волосами, с щетинистыми, тоже
подстриженными усами и с ввалившимися,
словно из пропасти, грозно выглядывавшими
из-под нависших бровей глазами. Тучная осо-
ба шла мелкими шагами, тяжело опираясь на
толстую сучковатую палку и постукивая ею
на ходу, как костылем.

— Прощайте, молодой человек, — хриплым басом произнес генерал Егунов и выставил два плоские пальца левой руки, облеченные в просторную замшевую перчатку.

Молодой человек торопливо пожал генеральские пальцы.

— А вас, кажется, уже и встречать приехали, — заметил генерал, взглянув на женщину, стоявшую около нашего героя.

— Моя матушка, — отрекомендовал последний, наклоня голову с почтительной улыбкой.

— У вас прекрасный сын, примерный молодой человек. Берегите его, сударыня! — внушительно произнес генерал Егунов.

— Ах, покорнейше благодарю, ваше превосходительство!.. Мне так лестно, — заговорила мать молодого человека, кланяясь не только головою, но и половиною туловища.

— Хорошо, хорошо! — кивнул головой генерал и, постукивая костылем, пошел к своей карете.

Молодой человек проводил его до ее дверцы.

— Позвольте! — грубо проговорил лакей,

не очень вежливо толкнув нашего путника, и перед самым его носом, с быстротой, свойственной расходившимся лакеям и половым, захлопнул дверцы генеральской кареты.

— Кто это, Леня? Из твоего начальства кто-нибудь? — спросила мать, когда сын воротился.

— Нет... за границей познакомились, — ответил сын. — Чёрт знает, что за грубые животные у нас эти лакеишки! — бормотал он про себя.

В эту минуту кто-то быстро пробежал по площадке подъезда и, звонким юношеским голосом рассказывая носильщику, куда нести багаж, неосторожно толкнул мать нашего героя.

— Извините! — промолвил суетливый незнакомец и, увидав молодого человека в профессорском пальто, крикнул ему на ходу:

— Прощайте, Обносков!

— Прощайте, — холодно и сухо произнес Обносков.

— Что это за сорванец! Летит на людей, сломя голову. Ты его знаешь, Леня? — спросила мать у Обноскова, провожая сердитыми

глазами суетливого господина, за которым едва успевал шагать носильщик.

— Знаю, — процедил сквозь зубы сын, — да и вы его знаете отчасти. Это Левчинов; помните, со мной в гимназии был. Я ему давал уроки латинского языка...

— Господи! Как же не помнить! — воскликнула мать, считавшая все доходы сына и знавшая не только всех его знакомых, но даже их истории и истории их родственников, как ближайших, так и самых отдаленных.

— Теперь и лицо-то его вспомнила, — продолжала Обноскова. — Щеки лопнуть хотят, от великих занятий, должно быть!.. Слышишь, как гогочет! С жиру, верно, постоять на месте не может... Ведь вот знает меня, знает, а хоть бы подошел, хоть бы поклонился.

— Ветер в голове ходит, так ему ни до кого и нет дела, — заметил сын; он уже начинал, по обыкновению, сердиться под влиянием речей матери.

— И с тобой-то как холоден, точно не вместе учились, точно не ты его на ноги поставил... Усмешка такая ехидная... А чего смеется... Над бедностью?.. Вот ведь оттого и за зна-

комых нас не считает...

— И слава богу, что эти щелкоперы от нашего брата бегут, — уже совсем злобно проговорил сын. — Верхогляды, проповедники модных истин, перевешал бы их всех! Право, иной раз только то и дает возможность трудиться, что знаешь, что все эти подстрекатели добром не кончат, что мы твердо стоим в своем положении и разобьем их... Из своих рук, кажется, задушил бы их.

Сильный припадок кашля заставил Обноскова замолчать. Толпа между тем мало-помалу рассеялась. Два-три пассажира и несколько извозчиков еще оставались у станции. Обносков, крепко поторговавшись с извозчиком, прочитав ему сначала наставление и выбравив его потом очень сердитым тоном, нанял дрожки и, ворча вполголоса, поехал на Выборгскую сторону, где его мать нанимала квартиру и отдавала комнаты студентам. Давно уже существовала Марья Ивановна Обноскова этим промыслом, оставшись после смерти мужа-чиновника без всяких средств с малолетним сыном. Расчетливая, скупая, готовая кланяться всем, льстить, где нужно, при-

крикивать, где возможно, она видела одно утешение в своем сыне — в примерном сыне. Он был покорен, скромен, доставал уже с четвертого класса гимназии деньги уроками, не заводил друзей из боязни развратиться, получал похвальные листы и медали в гимназии и в университете, кончил курс первым кандидатом и был, как мы уже сказали, отправлен за границу благосклонным начальством. И мать и сын жили друг для друга и, так сказать, пополняли друг друга. Сын не обладал ни особенно блестящим умом, ни особенно сильною памятью и потому должен был весь отдаваться книгам, брать усидчивостью, и не имел времени для разных будничных практических занятий и вопросов. Зато мать, не имея надобности предаваться каким-нибудь ученым изысканиям и отвлеченным вопросам, занималась практическою деятельностью и за себя, и за сына. Она соображала, взвешивала вопросы о склонности своей кухарки к воровству, о развратной жизни своих жильцов-студентов, о каверзах и тайных интригах своих драгоценных родственников и знакомых и передавала сыну все эти наблю-

дения уже в виде художественно сложившихся, цельных и довольно длинных историй. Непрактичность сына доходила до того, что он однажды, во время своей студенческой жизни, очень серьезно спросил у матери: «Что за вещь уполовник?» Практичность матери достигала до такой гениальности, что госпожа Обноскова объявляла: «У-у! я уж по глазам вижу, кто что думает, насквозь вижу человека!» и глубоко скорбела она, видя, что все люди черны, если станешь их рассматривать насквозь. Мать и сын, по-видимому, считали, что все окружающее их живет исключительно для них, по крайней мере, жильцы, нанимавшие комнаты у Обносковых, непременно делались рабами хозяйки, получали выговоры за позднее возвращение домой, за шумные разговоры в своих комнатах и за свое поведение вообще. Это нисколько не мешало Марье Ивановне плакаться на свою участь, ругая неуживчивость своих жильцов и дерзкую требовательность домового хозяина, не позволявшего лить из окна помой.

Приехав домой, мать засуетилась над приготовлением чая и закуски для сына, а он раз-

мотал с шеи вязаный шарф, снял с себя пальто, сюртук и жилет, потом снова надел пальто вместо халата и, положив на стол очки, прилег на диван. Видно было, что он сильно устал в дороге. Его лицо было бледно и утомлено, узенькие глаза были красны и щурились более обыкновенного. Надо признаться, что без очков его физиономия теряла все следы внушительности и вообще казалась очень непривлекательною и жалкою.

— Уф! вот я и дома! — вздохнул он, закидывая под голову руки.

— А хорошо, Леня, за границей? — спросила мать, сунувшись от комода к шкапу и от шкапа к комоду.

— Работать хорошо, а жить худо, — произнес полусонный Обносков.

— Отчего же, Леня, там жить худо? — повидимому изумилась мать, шаря что-то в комод и озабоченно бормоча себе под нос: «И куда это салфетка затерялась?»

— Покоя там нет, все волнуются, — лениво говорил сын. — В каждое дело свой нос суют. Каждая пешка в политику лезет. В каждом третьеклассном вагоне только и слышишь

рассуждения о Бисмарке, о выборах. Одни Францию ругают, другие Россию клянут.

«Вот ведь, верно, Наташка сюда ее сунула! Негодница, право, негодница!» — вполголоса рассуждала сама с собой Обноскова и вдруг обратилась к сыну:

— Я тебя слушаю, слушаю, батюшка... Так это Россию они тоже ругают... Гм... Что же это она им-то помешала?.. Кажется, мы их не трогаем, войны не затеваем... Уж это не турка ли все пакостит?..

— Наше могущество и наша стойкость им поперек в горле стали, — ответил сын, зевая.

— Ох, ведь какой же народ эти немцы! — покачала головой, тяжело вздохнув, госпожа Обноскова. — А вареньица к чаю тебе принести? — перешла она к другому предмету разговора.

— Нет, так выпью, — ответил, потягиваясь, сын и начал пить чай.

Нисколько не интересный для собеседников разговор, который они считали своим долгом поддерживать некоторое время, кончился. Мать облокотилась на стол, опустила голову на ладони и любовалась сыном, глядя

на его утомленное лицо. В небольшой, убранной старомодной мебелью комнате царила тишина, и только неугомонный раскипевшийся самовар пел свою однообразную, скучную песню, навевая какую-то беспредметную и все-таки безысходную тоску. Все жилище Обносковых, его обстановка и его обитатели приводили в невольное уныние свежего человека. Потемневшие от времени обои, казалось, силились отодраться от стен, бесплодно напоминая людям, что они давно отслужили свой век, но люди, смотря на эти назойливо заглядывавшие сверху вниз клочья отодравшейся бумаги, говорили: «Не красна изба углами, а красна пирогами», и хмурились только тогда, когда слышали новый треск лопающейся на стенах бумаги; суеверно считая — и, может быть, не без причины — эти звуки за дурное предзнаменование, точно обои действительно стали угрожающими врагами своих владельцев. Не менее мрачно выглядела потерявшая свой лоск, пузатая, толстая, тяжелая мебель; каждый тяжелый стул продавил в половицах ямки и словно врос в них, словно пробовал сопротивляться человеку, заду-

мавшему переставить его на новое место. Бронза, служившая в былые времена украшением комодов и предметом гордости хозяев, теперь стала совсем черною и напоминала оковы каторжников и тюремные скобы. Может быть, за этими оковами и скобами таились сокровища, но какой-то неведомый тюремщик сделал их невидимыми и похоронил навсегда от дневного света. Не привлекательнее этой обстановки выглядели и сами хозяева. Обноскова была печальна, но эта печаль была не из тех, которые вызывают слезы страдания. Нет, в лице этой коренастой, здоровой женщины, даже в минуты печали, проглядывало какое-то выражение тупой злобности и сварливости. Она походила не на мать, опечаленную хилостью сына, а на жирного тюремщика, боящегося, что скоро ускользнет из его тюрьмы последний жилец. Но, боже мой, куда уйти этому исхудалому, освоившемуся с своим убогим казематом бедняку? Да и зачем? Жизнь не начнется сначала.

Вдруг среди этой тишины за стеной послышался стук отворившейся двери и полились

полные, чистые и приятные звуки молодого голоса, напевавшего какую-то арию из оперы.

— Вот, слышишь, так-то всегда. Ни днем ни ночью покоя нет, — глухо заговорила Обноскова. — Голь ведь, голь перекатная, а поют, всё поют. Иногда так бы, кажется, и вышвырнула их из своей квартиры. На морозе бы живых заморозила!..

— Студенты, верно? — спросил сын, как бы пробужденный от тяжелого сна, наваянного родным жильем.

— Студенты! — с презрением ответила мать. — Других жильцов здесь не достанешь, а с этими хоть в петлю, так в ту же пору... Господи, прости ты мое согрешение! — перекрестилась Марья Ивановна. — Бежала бы, кажется, за тысячу верст от них, если бы не нужда. Она, проклятая, она одна заставляет все терпеть, — жаловалась мать.

Пенье в соседней комнате, между тем, делалось все тише и тише; было ясно слышно, как молодой певец стал раздеваться, отворял шкаф и комод, переворачивал листы бумаги и, наконец, замолк совсем, вероятно, принявшись за дело или поддавшись наплыву раз-

ных забот и мыслей.

— Вот о коммунах еще толкуют, а попробуй с ними пожить деловой человек, так они ему своими песнями да шумом покою не дадут, всякую умственную деятельность смутят, — сердился сын, разгоряченный жалобами матери. — Что, я думаю, по-прежнему и кутежи, и попойки, и споры с криками у вас тут идут? — спросил он, указывая на соседнюю комнату.

— Уж сам знаешь, иногда всего бывает, — вздохнула мать. — Иной раз из театра чуть не в час ночи придут, первый сон перервут, ну, а потом и не уснешь. Такое наше дело, что все переносить приходится и роптать не смей.

— В театр ходят! — засмеялся с злобой сын. — А ведь искусство — зло? Ведь театры побоку нужно? Или теперь отрицать перестали, да как им за это их стриженные ушей не выдерут?

— К ним барышни не ходят, — наивно заметила мать. — Я с тем их и впускала, чтоб барышни не ходили.

Чай был допит. Ни одного отрадного слова, ни одной душевной мысли не было выска-

зано собеседниками. Кругом этих двух союзников на жизнь и на смерть веяло каким-то холодом; холодом веяло и от них самих... Наконец, сын простился с матерью и отправился в другую комнату, приготовленную для него. Он вынул из чемодана потертую книжку и осмотрел комнату, отыскивая что-то глазами. По-видимому, в комнате не нашлось отыскиваемого предмета. Обносков задумался, взял стул, поставил его к изголовью постели, попробовал поставить на него свечу, положил карандаш, бумагу и лег. Но ему было неловко. Свеча была слишком близко у глаз, за карандашом было неудобно протягивать руку. Стул не мог заменить ночного столика. Сверх того, это было нововведение. Обносков не мог этого потерпеть. Он встал и позвал мать.

— Нет ли у вас, маменька, маленького столика? — спросил он.

— Какого, батюшка? Там у тебя два стоят!

— Нет, то большие. Мне нужен небольшой, к постели... Я знаете, привык свечу и все такое ставить, чтобы под рукою было...

Стол достали и поставили. Сам Обносков

приловчил его к изголовью, поставил на него свечу, положил на него книгу, карандаш, бумагу и, кажется, был вполне доволен, не нарушив даже и в этот день одной из своих официальных привычек, уже превратившихся в ряд неизбежных обрядов. Теперь можно было почитать и потом погасить свечу...

II Впотьмах

Чтение, однако, не шло вперед. От крепкого чаша чаю, от жалоб ли матери, от приезда ли в родное гнездо, или вообще от какого-нибудь подобного, совершенно ничтожного обстоятельства у Обноскова тревожно билось сердце, и сотни каких-то смутных мыслей о мелочах жизни имели смелость возмущать спокойствие его серьезного ума. Его глаза перескакивали со строчки на строчку, почти не разбирая смысла напечатанных слов. Наконец, наш герой утомился от этих бесплодных усилий и решил заснуть. Он отложил книгу, затушил свечу, повернулся на бок, подложил руку под щеку и съежился. Сон, однако, не шел. Лежа в этом положении и глядя сощуренными глазами на комнату с закрытыми ставнями, едва озаренную лампадой, Обносков вспоминал былые годы, вспоминал их наперекор своему желанию.

Он начинал помнить события своей жизни с того серого, мутного зимнего дня, когда

его мать была избита и выгнана в одном платье из дому своим пьяным мужем-чиновником. Маленький Леня долго сидел в кухне, забившись куда-то в угол, заткнув уши и вздрагивая всем телом. День между тем проходил среди панического страха обитателей небольшого жилища господ Обносковых. Хозяйка не смела вернуться домой, кухарка не смела подавать обед, ребенок не смел говорить. Казалось, где-то за дверями стоял какой-то ужасный невидимый призрак, готовый убить первого, кто посмеет проронить хоть один звук или сойти с места. Наконец, вследствие совета, настояния и даже угроз кухарки Леня должен был идти к своему «папаше» просить прощения за мать. Дрожа, как в лихорадке, крадучись, подобно вору, совершенно неслышно отворил ребенок дверь отцовского кабинета и остановился в тупом ужасе: перед ним на полу с расстегнутым воротом рубашки, с отброшенным в сторону галстуком и разбитым штофом, лежал во весь рост отец с совершенно синим, обезображенным смертью от пьянства лицом. Ребенок не мюг ни крикнуть, ни убежать и, широко открыв гла-

за, с выражением боязни, похолодев, плотно прижался к стене. Кругом не раздавалось ни звука, ни в комнате, ни на улице; казалось, во всем мире остались только эти два представителя самовольно загубившего себя существования и по чужой воле задушаемой в зародыше жизни. Зимний день, между тем, гас, и вечерние тени набегали на предметы, угрожая скоро задернуть навсегда могильной тьмой и этот быстро разлагавшийся труп, и этого неподвижного, окаменевшего, близкого к обмороку или сумасшествию ребенка. Минуты казались мальчику вечностью, и все-таки он не мог сойти с места. Уже на улице, покрытой снегом, было светлее, чем в комнате, когда вдруг ребенку послышалось, что кто-то возится и шебаршит за окном; он быстро обернулся: сквозь тощие цветы за стеклами смутно виднелась на улице какая-то широкая косматая фигура, готовившаяся закрыть ставни. Леня без крику, без вдоха, упал на пол... Долгое время он бредил о том, как запирали над ним крышку гроба... Говорят, с этой поры Леня из живого, здорового мальчика стал больным и слабым существом!.. Разбитое од-

нажды здоровье не могло возвратиться в гнилом воздухе мачехи-столицы, в одном из тех душных и сырых жилищ, в каких гнездится мелкое чиновничество, вдали от природы, от смолистого воздуха лесов, от простора безбрежных, облитых солнцем нив.

Во всем своем ужасе вспомнилась теперь Обноскову картина смерти отца, и он невольно открыл глаза и со страхом стал всматриваться в полутьму, царившую в его комнате; по его телу пробежала дрожь, перед глазами носился призрак почерневшего покойника с открытыми глазами.

— Простудился, кажется, я немного в дороге, — проговорил Обносков почти вслух, чтобы звуками своего голоса прервать роковое направление своих мыслей и рассеять страх.

Через минуту он натянул на голову простыню и закутался плотнее в одеяло.

Но сон все-таки не шел к нему.

Мало-помалу стали оживать перед ним воспоминания о детстве, гимназии и кружке веселых, здоровеньких детей. В ушах назойливо начал звенеть чей-то бойкий, резкий, раздражительный смех. Не любил Обносков этого

смеха. Первый раз услышал он эти звуки искренней веселости в тот день, когда его робкая, болезненная фигура появилась в кружке товарищей и когда рука какого-то буйного сорванца взъерошила его гладко прилизанные, жидкие и прямые волосы. «Драться или покоряться?» — вот вопрос, представившийся в этот памятный день ребенку. Но как воевать, не имея ни сил, ни здоровья, ни безумной отваги, разбивающей голову, но все-таки идущей на бой с неравными силами сплотившихся врагов? А покоряться разве легче? Разве и тут не нужно громадной силы воли? Особенно, если болезненная натура стала до мелочности восприимчива к обидам, если в маленьком, хрупком существе развилось нуждою до крайних пределов стремление к самосохранению, если крошечное сердчишко давно стало испытывать мучения зависти при виде веселого лица, здорового организма, бесшабашного удальства и неудержимо несущегося ко всем мировым радостям, взлелеянного в роскоши существа? Нет, тут о покорности не может быть и речи, тут нужно отделиться от всех, пролагать свой собственный путь,

пролагать тайно, и идти особняком, тихонько, и ждать, когда умяются те быстро бегущие люди, те клокочущие силы, смешаться с которыми — значит переживать в месяц год, представлять себя под удары случайностей, может быть, выиграть что-нибудь или, что еще вернее, погибнуть в вихре неосуществимых стремлений. Нет! нет! Что хорошего в этой бесшабашной буре ощущений? Лучше ждать, когда угомонятся эти волны, когда они падут и гордо поднимется над ними неподвижная скала, которую они закрыли в своей бешеной пляске, в которую они плевали своей бешеной пеной, швыряли поднятой со дна грязью. Они считали ее униженной, подавленной, близкой к разрушению, — дети! дети! — падали только они, а скала в своей бездушной твердости даже не дрогнула под визгом их бешеной бури... Не признавал вполне всего этого в те годы Обносков, но уже так действовал он и тогда. Вот в классе устраивается проделка с немцем-учителем. Обносков ходит в коридоре, чтобы не быть в числе союзников-шалунов. Немец вместе с ним входит в класс и даже сердито спрашивает у него:

— Зачем вы в коридоре все ходите, а не сидите в классе?

— Шумно там, я учиться не могу, потому и хожу всегда в коридоре в промежутках между уроками, — отвечает каким-то извиняющимся и обезоруживающим тоном Обносков.

В классе немец замечает проделку: у него подломан стул, на кафедре положена грязь, журнал подсунут не тот, который нужен, на потолке болтаются бумажные чертики, прилепленные жеваной бумагой... Немец зовет гувернеров, инспектора, директора. Идет допрос, всех спрашивают поочередно, доходит очередь до Обноскова.

— Его не было в классе, он вошел со мною. Ему самому мешают заниматься эти сорванцы, — говорит немец, и Обноскова оставляют в покое.

Виновный, между тем, не находится, товарищество крепко стоит за своих членов, приходится наказать весь класс.

— Обноскова, я думаю, можно исключить, он не мог знать, что тут делалось, — заступается снова немец за ученика. Директор соглашается. Власти, окончив суд, удаляются. Об-

носков щурит свои калмыцкие глаза и насмешливо обводит ими кучку тех слабодушных товарищей, которые уже начинают каяться в своем проступке и негодовать на зачинщиков-подстрекателей.

— Это хорошо, что вы дали себя знать немцу, — смеется он. — Так их и надо учить. Умнее будут. Струсили, я думаю, они!

Бесконечным, подавляющим ехидством и иронией дышат его простодушным тоном высказанные слова, а глаза светятся жидким блеском злорадства. Кающиеся товарищи ничего не отвечают на эти речи, но при следующей проделке они не соглашаются быть сообщниками зачинщиков, выдают их при расспросах директора. Зачинщики ругают их, бьют, — но не бьют Обноскова, потому что Обносков их не выдавал, он не мог выдавать их, так как он в свободное от уроков время постоянно находился вне класса. Они говорят, что Обносков «долбило», что Обносков «профессор», что Обноскову нет дела ни до чего, кроме науки. Никто не знает, что во всех практических столкновениях с жизнью он поступает не по своей воле, а по наставлени-

ям матери, имеющей мудрые ответы и советы при всех житейских затруднениях.

«Где лес рубят, там и щепки летят, — вбивает она в голову сына обносковские правила. — А ты стой в сторонке, в сторонке... Плетью, батюшка, обуха не перешибешь, а ласковый теленок двух маток сосет... И что тебе товарищи? Ума они тебе не прибавят, денег не дадут, только лишнее время своим знакомством! отнимут, да сапоги истаскаешь, ходя к ним в гости, или на чай разоришься, принимая их у себя... Ну, а ласков с ними будь, это нужно: бросишь хлеб позади, а он очутится впереди. Будущее один господь, наш творец небесный, знает, не угадаешь, кто понадобится в жизни... Так отцы наши жили и нам так жить завещали...»

Товарищи не знали, что во имя этой обносковской мудрости совершаются все поступки Лени, и думали, что он просто страстно любит науку и потому удаляется от их проказ. От этого взгляда недалеко до уважения. Хилый Обносков тоже начал делаться какой-то силой.

Дети, робкие, бесхарактерные, вечно под-

дающиеся чужому влиянию, стали переходить на сторону Обноскова. Он им объясняет математические задачи, он помогает им переводить Саллюстия, он вступает за них перед учителями, беседуя с последними в коридоре. Да, он беседует теперь с учителями, он — один из всех гимназистов. Сперва он спросил у одного из них совета, какую бы латинскую книгу ему начать дома для практики. Потом этот учитель спросил его:

— Ну, что ваше чтение? Подвигается вперед?

— Да, я кончаю книгу, — ответил Обносков. — Мне скоро опять придется просить вашего совета насчет выбора новой книги.

— Хорошо, вот погодите, я вам подарю две книги из французского издания классиков.

— Что ему нужно? — сурово спрашивает директор, усмотрев ревнивыми глазами, что один из гимназистов «пристает» к учителю.

Учитель объясняет.

— А-а! — многозначительно произносит директор. — Занимайся, занимайся, это хорошо.

Обносков с поклоном, скромно отходит от

директора, а тот говорит с учителем, что у них растет замечательный человек, что теперь это особенно важно, так как надо истребить этот... этот... дух.

На этот разговор подходят другие учителя, и вдруг Обносков делается предметом удивления, толков и надежд.

— Не люблю я его, — замечает учитель русской словесности, — в нем есть какое-то трусливое стремление выдать товарищей...

— Что вы! что вы! — ужасается немец. — Напротив того, он еще вчера объяснял мне в коридоре, что многие из его товарищей плохо учатся не от лени, а потому что им дома не у кого спросить совета. Мы даже с ним поспорили... Это очень светлая голова...

— Однако он из всех историй выходит чист, никогда не попадается, — возражает учитель русской словесности.

— Не попадается, потому что делом занят, — строго внушает директор, — но это не значит, что он выдает товарищей. Никто и никогда не слышал от него сплетен на одноклассников... Надо быть осторожнее в выражениях, особенно если дело идет о такой

недюжинной личности.

Слышите, недюжинной!

Через несколько месяцев директор дружески останавливает Обноскова за плечо.

— Пойдите, — говорит он. — Хотите давать летом уроки сыну графа Родянки?

Лицо Обноскова вдруг вспыхивает багровым румянцем.

— С удовольствием... я так вам благодарен... — волнуется он, ненавидящий всеми силами души надутых сыновей графа Родянки.

— Так я вас отрекомендую. Заходите ко мне вечером.

Вечером Обносков приходит к директору, взволнованный, робкий. Но его принимают отлично. Граф Родянка сидит тут же, изрекает какое-то поощрение Обноскову, называет его шутливо и фамильярно «господином профессором». Обносков чувствует, что граф Родянка трунит над ним, как над ничтожным, жалким бедняком; его лицо покрывается багровыми пятнами, он вежливо говорит, скромно улыбается судорожно дрожащими губами.

— Э, граф, этот человек пробьет себе дорогу

без посторонней помощи. Это самобытная русская сила, — говорит немец-директор, дружески положив руку на плечо Обноскова.

Директор торгуется за Обноскова. Оставляет его пить чай, шутит с ним.

— А я ваш должник, — смеется директор еще через несколько месяцев, — вы занимаетесь даром с моим племянником.

— Ну, помилуйте, что тут за счета! Вы и без того много для меня делаете, — улыбается семнадцатилетний Обносков, и в его манерах видна уже развязность и что-то вроде едва заметного пренебрежения к людям, стоящим почему-нибудь ниже его или обязанным ему.

Еще проходят дни, и он делается домашним человеком у директора. Обносков ездит с директором в театры. Обносков знает, какого мнения директор о тех или других учениках и учителях. Обносков уже носит очки, и только его одного не преследуют за это, только ему не говорят с презрительною усмешкою: «Что вы модничаете-то?» Его полусерьезно, полушутливо уже называют «нашим будущим учителем»...

А в классе теперь — его ненавидят. За что?

Он, кажется, такой уживчивый с товарищами. Они ругают Пушкина, он, ухмыляясь, говорит:

— Да уж известно, что такое Пушкин!

Они ему хвалят Пушкина; он, также ухмыляясь, говорит:

— Ну, так ведь это Пушкин!

В гимназии вводятся те или другие меры, он молча исполняет их, не рассуждая, худы ли, хороши ли они. В ней отменяются старые порядки, он очень спокойно отрекается от них, точно эти порядки, составлявшие еще вчера для него святыню, были сущою нелепостью и безобразием. Гимназисты собираются потолковать о чем-нибудь, он хихикает и молча щурит свои калмыцкие глаза.

— Читал ты, как раскатали учебник нашего учителя истории? — спрашивают его товарищи.

— Да, — ухмыляется он, — совсем уничтожили!

Но гимназисты пробуют отвечать по-своему или делать возражения учителю истории под свежим впечатлением прочитанной критики, а Обносков зубрит его учебник от доски

до доски.

— Да ведь это ерунда, — говорят ему.

— Хи-хи-хи, известно, что ерунда! — хихикает Обносков.

— Тебя хоть магии заставь учиться, так ты будешь и ее зубрить, — замечают ему.

По лицу Обноскова видно, что он не отрицает и этого положения... Но вот кто-то грубо и резко говорит Обноскову:

— А ведь ты просто подлец.

Обносков вспыхивает на миг и вдруг потушает: улыбаясь, пожимает плечами и отходит.

Живо, до безобразия живо вспоминалось все это теперь нашему герою и пробуждало в нем злобу.

— Что вы мне? — шептал он. — Что вы вообще значите? Не думаете ли вы, что я стану с вами мальчишествовать? Пешки!

Он сердито перевернулся на другой бок.

— Господа, в одиннадцатую аудиторию соберитесь в двенадцать часов! — слышался ему крик, и он невольно вздрогнул.

И вот он видит массу студентов, снующих по коридорам университета, слышит умные и глупые, но всегда искренние споры, рассужде-

ния о составлении кассы, о помощи голяку, притащившемуся пешком из Саратова для ученья, о концерте в пользу неимущих; видит стриженных девушек с тетрадами под мышками; ловит их свободные, простые разговоры с молодыми мужчинами и сознает, что никто не замечает его, ставшего в стороне от этой толпы. Ей нет дела, что он отделился от нее; ей нет дела даже до его существования. Она кипит юной жизнью, хохочет, волнуется, увлекается, а он ждет, ждет, когда исполнится пророчество его матери, что «бойкие кони устают скоро». Но время идет, а эти кони не устают. Все прибывает и прибывает их число; вот и офицерские эполеты блестят в их среде; вот носится слух и о старом профессоре, группирующем их около себя; вот какая-то личность со звездой на груди поощряет их... Обносков начинает сомневаться в том, что эти кони устанут; его стойкость отчасти колеблется, обносковскому уму становится страшным его одиночество; он решается на бросанье хлеба назад, думая, что и это может пригодиться впереди; пробует сойтись с этой толпой, сходится с ней, и вдруг ему слышится,

что над ним безжалостно смеются, что кто-то угадал и его тайный образ мыслей, и узнал какие-то тайны его семейной жизни, и трунит над ним:

— Э, да твоя мать не только жильцов эксплоатирует, а и на проценты деньги дает, не хуже любого ростовщика. Этим она тебе кругленький капиталец сколотит из денег бедняков, недаром ты и социалистов, и Прудона ругаешь, — слышатся ему слова.

— Подлецы! шарлатаны! — пробормотал Обносков и перевернулся снова.

— Бессемейные, безродные проходимцы они, потому они и не понимают, что значат чувства матери. Для кого, как не для любимого сына, она сколачивала гроши? Во имя чего, как не во имя святой материнской любви, решалась на все? Уж не должен ли я был, ради их идеек, отречься от этой женщины, как от преступной ростовщицы?.. Да и почему же это преступно извлекать возможную пользу из своего капитала? Или в самом деле давать без процентов по их теориям и благодетельствовать жильцам?.. Так тогда и работать нужно бы без возмездия. Капитал и труд —

две совершенно равные силы. У них есть и свои равные права... Чем больше сила приносит пользы, тем лучше... Да, дурачье, не понимают они, хотя и прилагают это на практике, что только и существует одно право силы, какая бы она ни была: денежная, физическая или умственная...

Думы начинали бледнеть; еще какие-то смутные образы носились перед глазами Обноскова, еще изредка волновалось его сердце, но волнения были все слабее и слабее, на лице все чаще скользила самодовольная улыбка.

«В нас теперь сила», — думал он уже совершенно смутно, и эта мысль стала бессвязно и бесцельно повторяться в его голове; наконец он уснул.

III

Умиравший Обносков в своей семье

После тревожно проведенной ночи Обносков проснулся довольно поздно. Он чувствовал себя не очень хорошо, голова была тяжела, и в теле замечался небольшой озноб. Однако болезненное состояние не помешало ему выйти из дома. Сначала он хотел ехать представляться начальству, но потом раздумал и решился отправиться с матерью с визитом к своим родным.

При входе в большую и богатую квартиру, где жил дядя Обноскова, уже пахло лекарствами и чувствовалось, что кто-то в доме нездоров. Прислуга ходила на цыпочках, в комнатах был некоторый беспорядок. В гостиной Обноскова и его мать встретили две родственницы, сестры хозяина. Это были женщины не первой молодости, худощавые, белокурые, с тонкими губами, с моргающими глазками и множеством веснушек. Сразу можно было сказать, что это две сестры, и никак нельзя

было определить, которая из них старшая. Они сами и их физиономии обладали крайнею подвижностью, точно и сами эти женщины и их взгляды и чувства хотели куда-то ускользнуть от наблюдателя. Заслышав в их голосе строптивый гнев, наблюдатель мог обратить глаза на лица этих женщин, но перед ним тотчас же начинали в смущении моргать и потом смиренно потуплялись их глаза и сжимались губы в мягкую, заискивающую улыбку. Иногда же слышались их вкрадчивые речи, но, неожиданно взглянув на их лица, вы вдруг ловили какой-то зловецкий блеск в глазах двух девственниц, блеск, потухавший тотчас же, как только вы обращали на него внимание. Эти женщины с самой колыбели жили со своим братом, заботились только о нем, о своей невестке Марье Ивановне, о ее сыне Алексее Алексеевиче Обноскове и вообще были так погружены в семейные заботы, были так исполнены чувствами семейной любви, что не обращали внимания ни на что, стоящее вне их семейного союза, если только посторонние предметы и люди не вредили или не приносили непосредственной пользы

этому союзу.

При появлении племянника они приветствовали его горячими поцелуями и радостным шепотом и, обменявшись первыми приветствиями, тотчас же слезливо прошептали:

— А братец-то совсем плох! не проживет долго, ангел наш... Слава богу, что ты приехал...

— Ах, что у нас делается, так и сказать стыдно! — воскликнула старшая сестра, Ольга Александровна Обноскова. — Втерлись в дом чужие люди...

Тетки и мать расплакались.

— Не плачьте, тетушка, — утешал Обносков. — Все пойдет хорошо.

— Знаю, знаю, умный ты наш. Тебя только и ждали, как красное солнышко. Мы женщины, что мы можем сделать, беззащитные...

Все помолчали...

— А что, дядя духовную написал? — спросил Обносков.

— Нет, ангел мой. Начинал он издалека, знаешь, говорит, что распорядиться нужно, да мы его утешаем, что болезнь не опасна... Уж мы с сестрицей и твоей маменькой его ни

на минуту не оставляем, а то... Ох, шепчут ему в уши, шепчут, разлучники, недобрые речи... Греховодники! Целый век мы с братцем душа в душу жили, все о нас, голубчик, заботился, не разлучался никогда, а теперь вот до чего дожили... Чужие люди хотят за ним ходить, хотят нас от его смертного одра отдалить...

Тетки снова расплакались. Мать Обноскова тоже стала всхлипывать.

— Не плачьте, слезами делу не помочь, — говорил Обносков, и его, пробывшего два года вдали от родного гнезда, отчасти удивило, что тетки, всегда гордившиеся своею образованностью и говорившие о ней всем имеющим уши, рассуждали теперь каким-то языком кухарок. По-видимому, это был их природный язык, а тот, книжный, жеманный, которым они говорили в другое время, казалось, был чем-то таким же напускным, как их кроткие улыбки и стыдливо потупленные взоры.

— Ох, солнышко наше. Дай ты нам выплакать свое горе... Родной наш, защити нас, на тебя только и надежда, — снова заговорили тетки, и младшая, Вера Александровна,

склонная к сентиментальности и влюблявшаяся во всех, начиная с церковного певчего-тенора, даже припала к плечу племянника.

Этот ли смутный шепот достиг до ушей больного или просто больной почувствовал, что его сестры недаром остаются целый час в другой комнате, но ему захотелось узнать причину их необычайного отсутствия. Дверь в ту комнату, где собрались нежные родственники, отворилась, и на пороге появился юноша. Обносков с невольным любопытством обернулся к нему и, нахмутив брови и сощурив свои и без того узкие, калмыцкие глаза, стал пристально и бесцеремонно рассматривать незнакомого ему юношу, о котором до него долетали тысячи самых разнообразных слухов.

Только на семнадцатом году жизни может человек сверкать такою ослепительною, нежною свежестью, таким добродушием и такою откровенностью, каким сверкало лицо этого стоявшего на пороге комнаты мальчика. Здоровые, облитые теплым румянцем от недавнего сна щеки с едва заметным пушком; откинутые назад без всякой претензии на эф-

фект и потому еще более эффектные, густые, вьющиеся волосы; большие глаза, честно, смело и откровенно смотревшие на людей, — все это вместе должно было производить на каждого такое впечатление, что невольно хотелось пожать с любовью, с доброй улыбкой молодую руку этого гостя на жизненном пути и сказать ему: «Храни тебя бог, милое дитя!»

— Скажите... — начал он, поглядывая с порога на Обноскова как-то нерешительно, точно боясь ошибиться. — Скажите... Кажется, вы господин Обносков? — кончил он в замешательстве неловко начатую фразу и покраснел еще более.

— Дядюшка проснулся? — холодно спросил Обносков, не отвечая на вопрос «смазливого мальчишки». Это название Обносков уже дал в своем уме юноше.

— Да... Он давно не спит... — проговорил юноша и с каким-то недоумением осмотрел своими большими глазами группу родственников, точно стараясь понять, что они успели наговорить на него новоприбывшему гостю.

— Я пойду туда, — проговорил Обносков, обращаясь к теткам и матери.

— Иди, иди, Леня, и мы все идем, — заговорили, перебивая друг друга, женщины. — Как твой дядя рад будет!.. Никого-то около него нет из близких... Мы что? мы женщины! С нами ему скучно... Не с кем умного слова сказать, по душе побеседовать.

Тетки говорили эти фразы с такими ударениями на словах и бросали такие злобные и многозначительные взгляды на юношу, что его можно было счесть главным виновником всех несчастий их брата и их самих. Юноша же все еще стоял на пороге, точно он окаменел, созерцая головы этих медуз.

— Позвольте же пройти! — раздражительно проговорил Обносков, слегка отстраняя юношу, стоявшего в дверях.

— Вот так-то всегда, — зашептали тетки племяннику. — Это уж тебе дороги не дает, польское отродье, а нами-то просто помывает, помывает... Ох, господи, до чего мы дожили!

Юноша, прислонившись к открытой половинке дверей, задумчиво смотрел вслед за удалившимися родственниками. Каждая черта его лица дышала теперь невыразимой гру-

стью и только в закушенной нижней губе слегка были заметны следы строптивного, но сдержанного гнева. По одной этой черте можно было угадать, что у этого человека есть уже выработанный характер.

— Батюшка-барин, отдохнули ли вы? — слышался около него дребезжащий голос.

Он обернулся и увидел старое, потемневшее, сморщенное, как печеное яблоко, лицо хозяйского камердинера.

— Спасибо, Матвей Ильич, отдохнул, — ответил юноша, и его лицо вдруг прояснилось, снова стало откровенным и добродушным.

— Умаялись вы, ходя за папенькой! — говорил старик.

— Тс! Не говорите, Матвей Ильич, этого слова, — прошептал, делая знак рукою, юноша. — Знаете, они не любят, когда кто-нибудь назовет его моим отцом. Вам же неприятностей наделают... Это низкие, низкие женщины! — вдруг быстро проговорил мальчик, и по его лицу скользнуло, как молния, выражение не то презрения, не то ненависти.

— У-у! Про-кля-тые! — прошептал старик. — Ну, да недолго теперь поцарствуют! И

я ведь терплю теперь потому, что барина жаль оставить, а то я ведь теперь вольный... Его-то жаль. Вот теперь вы сами видите, ба-тюшка Петр Евграфович, что у нас в доме за жизнь шла. Целый-то век вашего папеньки заели эти аспиды, кровь из него высасывали. Чуть, бывало, шутя он заикнется о женитьбе, они и начнут его в три голоса пилить. Пилят, пилят, умается он, сердечный, и махнет рукой. А все оттого, что слаб он, сумнителен был, десять раз всякое дело, бывало, отмеряет, а ни одного не отрежет... И ведь сколько пытались узнать они, где ваша маменька живет, ведь верно извести ее хотели, от них всего станет... Да нет, только я и знал ваш домик; ну, а из меня хоть бы жилы тянуть стали — не выдал бы вас...

Юноша задумчиво слушал болтовню старика, бесцельно возившегося над стиранием пыли и приведением в порядок мебели. В последний месяц, когда мальчику пришлось поселиться в доме отца, Матвей Ильич не раз повторял эти речи.

— И, господи, ведь беда-то какая приключилась, что маменька ваша в Аршаве; не мо-

жет в Петербург приехать. А уж как бы нужно-то ей теперь здесь быть, ох, как нужно!.. Вот, батюшка, никогда не давайте никому себе на шею насесть, как папенька ваш позволили сестрицам себя оседлать. И вас заедят, и другим плохо будет.

Юноша улыбнулся и ласково взглянул на старика.

— Спасибо, Матвей Ильич, за совет, — промолвил он. — За что только вы меня так любите?

— За что? — переспросил, останавливаясь с тряпкой в руке, старик. — Да ведь вы и родились-то чуть не при мне. Помните, папенька вашей маменьке либо письмо, либо деньги со мной пошлет, бывало, а я вам от себя пряников куплю, да и потешаюсь, как вы лакомитесь?

Юноша засмеялся. Старик, по-видимому, понял причину этого смеха и шутливо махнул рукой.

— Вспомнили, видно, как я вас своими пряниками чуть на тот свет не отправил, — проговорил он. — Ну, глуп был, своих детей не имел, не знал, что и от пряников захворать

можно... А уж натерпелся же я страху тогда. Рубль на свечи целителю Пантелеймону из-тратил...

Старик в тысячный раз стал распространяться об этом замечательном событии из своей одинокой бесцветной жизни барского преданного лакея. Этот сторбленный, говорливый, переживший и горе, и радость старик, поспешно ловящий немногие остающиеся ему в жизни мгновенья, чтобы еще раз хотя в воспоминаниях пережить свое прошлое, и этот неопытный, задумчивый юноша, внимательно прислушивающийся к отголоскам чужого существования, еще с боязнью стоящий на пороге жизни, — эти два существа, связанные вместе взаимною любовью, составляли поэтический и трогательный контраст.

— Пошли бы вы, батюшка, к папеньке, — заговорил снова старик, прибирая в комнате. — Не ровен час наши-то аспиды, пожалуй, еще насплетничают что-нибудь... Вот ведь и наследник приехал!.. Наследник!.. Дохлый, право, дохлый... Головой не кивнул мне, в маменьку весь... Все ведь на него молятся, только от него спасенья и ждут, науку их всю про-

изошел... Ступайте, батюшка, ступайте, а то смутят папеньку-то против вас.

— Не могу я, Матвей Ильич, с ними из-за наследства воевать, противно мне это, — с искренним отвращением заметил юноша.

— Эх, батюшка, знаю я, знаю... Оно бы и не родному сыну об этом думать, глядя на отходящего отца... Да ведь что вы станете делать? Не сделает папенька духовной, — ничего не получите, помяните мое слово.

— Да мне ничего и не надо, Матвей Ильич, — с жаром воскликнул юноша. — Я работать буду, я нужды не боюсь.

— Дитя вы, дитя! — покачал головой старик. — А маменька, а сестрица-малюточка, а братец что будут делать?

Юноша опустил голову.

— Ступайте, голубчик, ступайте! Из глаз вон — из ума вон, — говорит пословица: так и будьте же у папеньки на глазах.

Юноша вздохнул и пошел неторопливыми шагами в комнату отца. Едва слышно отворил он дверь, и, казалось, луч солнца прокрался в эту мрачную комнату больного, так мгновенно озарилось приветливой улыбкой

лицо лежавшего на постели человека.

Это был исхудалый, умирающий человек с запуганным, нерешительным и измученным лицом. Выражение раздражительности и досады поминутно сменялось на этом лице тоскливою страдальческою покорностью.

Сын графского управляющего-чиновника, Евграф Александрович Обносков в детские годы исполнял роль тех крепостных девчонок, которых секли для примера, когда барские дети не знали уроков или шалили. Тяжело было ему учиться с графскими детьми и отвечать за их проступки, но, несмелый и нерешительный, он покорился своей участи и даже любил графских детей, забывая все оскорбления, за их малейшую ласку. Любил он и своего отца, и свою мать, оправдывая их грубое обращение с ним влиянием нужды и необразованностью. Поступив в Московский университет, он так же стал оправдывать лень графов-друзей влиянием пустой среды и работал за них. С годами его мягкое, любящее сердце все более и более размягчалось и находило оправдания всем людским порокам, всем гадостям. Семья воспользовалась этим и сдела-

ла его своим батраком, платя ему за все сладкими речами и нежными поцелуями. Было время, когда ему удалось вырваться на три месяца из дома, уехав с одним важным лицом в Варшаву по делам, — но среди чужих, трезво работающих, беззаботно веселящихся, не особенно любящих, не особенно враждующих людей его размягшему сердцу стало как-то пусто и холодно: он тосковал, не слыша нежных речей, не чувствуя сладких родственных лобызаний. «Прочь, прочь от этих безучастных, самодовольных людей!», — уже восклицал он мысленно, когда произошел один неожиданный случай, изменивший и его намерения, и его взгляды на свою семью.

Однажды в одном из варшавских садов он сделался свидетелем одной грустной сцены. В довольно пустой аллее лежала в обмороке немолодая женщина, около нее хлопотала молоденькая девушка с побледневшим лицом и полными слез глазами. Евграф Александрович подошел и спросил у девушки, не может ли он быть ей чем-нибудь полезным.

— Ах, ради бога, ради бога, бегите за доктором, — ломаным русским языком воскликну-

ла в отчаянье девушка, даже не взглянув на Обноскова.

Он бегом отправился за знакомым ему доктором и через несколько минут привез его. Оказалось, что со старухой сделался удар, и помочь ей уже не было возможности. Собралась полиция, чтобы взять труп.

— Я не хочу, я не хочу, чтобы мою мать таскала проклятая полиция. Везите ее домой! — ломая руки, рыдала дочь и крепко держалась за труп матери.

— Успокойтесь, я похлопочу, и вашу мать перевезут в церковь, — утешал Евграф Александрович молодую незнакомку, а у самого были на глазах слезы.

— Где вы живете?

Кое-как адрес был передан. Обносков поручил девушку доктору, а сам поехал хлопотать. Хлопоты окончились успешно, так как у его начальника были связи в городе.

— Боже мой, если бы вы знали, сколько вы для меня сделали! — говорила молодая незнакомка, горячо сжимая руки Обноскова.

Оказалось, между тем, что эта девушка осталась совершенно одна и без всяких

средств. Ее отец уже давно пропал неизвестно куда, о ее брате тоже не было никаких слухов. Она с матерью приехала в Варшаву по делам и проживала в одной из гостиниц. Обносков помог ей похоронить мать. То плача, то проклиная судьбу, передала она Евграфу Александровичу свою историю.

— Сперва за нами ухаживали, когда с нами был мой отважный отец, когда около нас жил мой чудный брат, — говорила она. — А потом нас бросили; мы с матерью, как женщины, не могли быть полезны людям в их деле... Да и времена переменились тогда, старых друзей не стало...

— Что же вы теперь думаете делать? — спросил Евграф Александрович.

— Что делать? — почти с ужасом переспросила его девушка. — Что делать?.. Я сама не знаю, что я буду делать!.. Утопиться, что ли?

Она сурово нахмурила брови и опустила голову.

— Надо место приискать... в гувернантки, — начал нерешительно Обносков. — Только скверная эта жизнь... Учить испорченных детей и знать вперед, что их нельзя уже пере-

воспитать... Терпеть унижение и обиды за свой честный труд, встречать холодность...

— О, если бы я была мужчиной, я не спросила бы, что мне делать! — вдруг горячо перебила девушка вялые размышления Обноскова, и с ее языка полились живые, пламенные речи.

Стройная и тонкая, как тополь, черноволосая, с сверкающими глазами, она увлекла молодого человека и своей красотой, и своей страстной отвагой.

Каждый день стал Обносков посещать свою новую знакомую. Он давно привык слышать от женщин одни пустые толки о погоде, модах, балах и театрах, или рассуждения о хозяйстве, сплетни о кухарках и знакомых, и удивлялся, что эта девушка могла говорить и о политике, и о положении своего отечества, и о всем том, о чем говорится в кружках университетской образованной молодежи. Часто, сидя с нею, Обносков забывал, что он сидит не с товарищем, спорил, горячился и говорил, не приискивая тех приличных выражений, какие обыкновенно употребляются в разговорах с барышнями. Всякое стеснение, всякое

желание рисоваться и нравиться пропали в молодом человеке, и нередко он жаловался на то, что он слабый, бесхарактерный человек.

— Интересы у вас узки, жизнь мелка, потому и характер не может развиваться, — замечала она. — Вы живете узкою семенной жизнью, оттого вы и сил не можете развить. Да и на что вам они? Чтобы есть, пить весь век и после умереть незамеченными, безызвестными, не сделав ничего для общества? Вы враги общества, если поближе посмотреть на вас, потому что частные интересы для вас выше интересов общества. Не будь у него ни хлеба, ни денег, — вы ничего ему не дадите, ничем не пожертвуете ему... Да если бы вы и вздумали пожертвовать чем-нибудь, так вас удержат за рукав или мать, или сестры, или вообще какие-нибудь любящие женщины...

Через две недели Обносков жил в той же гостинице, где жила Стефания Станиславовна Высоцкая. Он запросто являлся в ее номер; товарищески пожимал ей руку; полулежа на диване, курил у нее папиросы... Ему свободно дышалось в ее присутствии, и если у него бы-

ло горе, то никто не сумел бы так нежно, так по-женски утешить и развеселить его, как это молодое, полное сил и страсти существо. Зато никто не умел так и выбрать его, как Стефания; часто она не шутя сердилась и приказывала ему удалиться из своей комнаты. Как-то раз, совершенно неожиданно для самого себя, напорившись с него досыта, он на прощанье поцеловал ее. Этот поцелуй был до того прост, что она только рассмеялась.

— Славный вы человек! — в восторге промолвил Обносков.

— Потому и нужно целовать этого человека? — засмеялась она, качая головой.

Еще чрез несколько времени он сказал ей:

— Знаете ли что? Я без вас не могу жить.

Стефания молча сидела на диване.

— Что же вы не отвечаете? — придвинулся к ней Обносков. — Я вам всю жизнь отдам... всю свою жизнь...

— Для чего? — как-то мельком, как бы про себя, промолвила она и вдруг подняла голову. — Вы добрый, мягкий человек, — заговорила Высоцкая. — Положим, я отдамся вам, — что же из этого будет? Будем жить для себя,

затворимся в своем доме, как в раковине, чтобы есть, пить, тешиться любовью и холодно смотреть, как гибнут люди, как страдают ближние... Ведь живой деятельности нет, да вы на нее и неспособны... Отчего это вы элгий о людских страданиях не пишете? — вдруг с едкой усмешкой спросила она.

— За что вы рассердились? — изумился Обносков.

— Вот знаешь, что около тебя стоят хорошие люди, добрые люди, — заговорила в каком-то странном волнении Высоцкая, заходя по комнате. — И в то же время сознаешь, что они ненужные, бесполезные люди... Их бы надо ненавидеть всей душой, потому что они-то и могли бы пользу приносить, они-то и могли бы работать, и все-таки сил нет на эту ненависть!..

Высоцкая, кажется, сердилась на себя за что-то. Она быстро села на диван и закрыла лицо руками, нетерпеливо и как-то нервно постукивая ногою об пол. Сквозь ее пальцы проступали слезы.

— Прости ты меня: я тебя встревожил, — с сожалением промолвил Обносков, впервые

говоря ей «ты», и опять в его тоне послышалась такая нота, как будто он говорил со старым другом-студентом.

Он хотел уйти.

— Милый мой, милый, — бросилась к нему Высоцкая, — зачем ты такой, зачем в тебе нет энергии?.. С твоим умом, с твоею честностью можно быть великим человеком...

— Ну, вот ты и веди меня на этот путь, — целовал ее Евграф Александрович...

— Ну, а топиться теперь ты не думаешь? — смеялся на другой день Евграф Александрович, вспоминая один из первых своих разговоров с Стефанией.

— Не думаю, — засмеялась она стыдливым смехом и вдруг нахмурила брови и проговорила грустным тоном: — Милый, живи так, чтобы мне не пришлось медленно чахнуть в апатичном бездействии...

И началась для него с этого дня какая-то странная жизнь. Он стоял школьником перед этой женщиной, она журила его, она направляла все его действия на честный путь, она заставляла его служить обществу и решаться иногда на довольно смелые поступки. Часто

приходилось ему краснеть перед этой подвижною, деятельною женщиною за свои мелкие слабости и только за одну слабость не бранила она его никогда, хотя именно за нее-то она имела более всего прав бранить Обноскова: он не имел смелости пойти наперекор своей семье и жениться на любимой женщине.

— Друг мой, эта ошибка страшным гнетом лежит на мне, — говорил он Высоцкой.

— Ошибка передо мною, — это ничего не значит... Другие ошибки, ошибки перед обществом важнее, — спокойно замечала она.

Счастье Обноскова в кругу образованной молодежи, собиравшейся около этой женщины, было полное... Не такова была его жизнь в своей семье, где он лежал больным в то время, когда застает его наш рассказ. Он хмурился и охал, окруженный нежными, любящими и не оставляющими его ни на минуту родственницами, пожертвовавшими для него всем своим временем, всеми своими желаниями. Довольно было ему обратиться куда-нибудь свои потухающие глаза, чтобы все родные с недоумевающими и вопросительными

взорами бросались наперерыв исполнять еще невысказанное им желание. Он поворачивал голову и тотчас же три женские руки протягивались поправить ему подушку, слышались три женские, заискивающие и сладкие голоса, спрашивавшие: «Вам, братец, верно, неловко?» Боже мой, сколько любви, заботливости и нежности было в этих словах, каким бархатным, шепчущим и ласкающим напевом произносились они!

— Благодарю, мне очень хорошо, — слабым голосом отвечал больной и закрывал глаза.

— Братец, вы, может быть, уснуть хотите? — шептали ему баюкающим тоном заботливые голоса. — Мы посидим, мы не будем говорить...

— Зачем же сидеть? Идите! — нетерпеливо возражал больной, почему-то воображавший, что его могут бросить хоть тогда, когда он уснет.

— Ах, братец, теперь мух так много. Они вас беспокоить будут, — шептали вкрадчивые голоса.

— Ничего, я не чувствую от этого беспокой-

ства...

— Ангел, терпеливый страдалец! — слышалось восклицание, исполненное благоговейного умиления. — Вы всё беспокоитесь нас утомить... Да ведь мы всем, всем пожертвовали бы для вашего спокойствия... Приказывайте!.. Приказывайте нам!..

Больной сохранял молчание и тяжело вздыхал, не имея ни сил, ни охоты высказывать свои желания, тем более, что он знал, что сестры исполнят всё, всё, но только не решатся оставить его одного, не решатся не заботиться о нем. Требовать чего-нибудь подобного, значило бы требовать, чтобы любящий человек бросил своего любимца в минуту опасности, именно в ту минуту, когда и нужна помощь любящего существа. Конечно, на такие требования нельзя согласиться и трудно их предлагать. Теперь больной слушал рассказы приехавшего из-за границы племянника с выражением какой-то тупой рассеянности.

— Поди ко мне, дитя, — прошептал он с просветленным лицом, завидев появившегося в его комнате юношу.

Мальчик подошел к постели. Больной взял его за руку и обернулся к племяннику.

— Ты его еще не видал? — спросил он.

— Мы уже познакомились, — уклончиво отвечал Обносков.

— Добрый ребенок, очень добрый ребенок! — пожав руку юноши, сказал больной. — И характер матери...

У мальчика навернулись на глазах слезы. Он присел на кровать.

— Ах, вы лучше на стул сядьте, — заговорили ласково вкрадчивые голоса, — братцу неловко будет.

Юноша закусил нижнюю губу и сконфуженно привстал с места, но больной удержал его за руку и с упреком взглянул на сестер.

— Пусть сидит тут, как можно ближе ко мне сидит... Ведь недолго ему быть тут... — проговорил он и, подняв руку, опустил ее в кудрявые, шелковистые волосы мальчика.

— Добрый, добрый братец! — воскликнули сестры и готовы были прослезиться от умиления. — Всех обласкать, приголубить, пригреть хочет... Это надо ценить, ценить надо...

Юноша, с яркой краской обиды на лице и

крупными, дрожавшими на ресницах слезами, сидел неподвижно на постели, обвинив одною рукою больного, лицо которого едва было видно Алексею Алексеевичу Обносксу из-за груди мальчика.

— Ну, как тебе понравилось за границей? — лениво и безучастно расспрашивал больной.

Обносков стал рассказывать про заграничную жизнь.

— А что, твои занятия успешно кончились?

Обносков дал отчет и о своих занятиях.

— Ну, а как наша молодежь там живет? — продолжал расспросы больной, видимо довольный близостью к себе юноши и говоривший просто от нечего делать. Его вопросы совсем не занимали его самого; ему было уютно и тепло около молодого, драгоценного существа, и он смотрел на остальное совершенно равнодушно.

— Скверно живет она, дядя, — резко ответил Обносков. — Мало учится, мало работает.

— Не хорошо, не хорошо! — каким-то старчески добродушным, незлобивым тоном на-

распев заметил больной и ласково вскинул глаза на юношу. — Вот мы не так будем заниматься, Петя; мы привыкли к труду, — по-детски шутил он, и был вполне доволен, увидав улыбку мальчика, вызванную этими шутивными словами.

— Увлекается молодежь разными современными вопросами, — продолжал Обносков, — агитировать постоянно стремится, хваталась разных либеральных идей и носится с ними, как дурак с писаной торбой...

— Всё то же, всё то же, что и в наше время было, — шептал больной. — Не умирают юные силы... не задавить их...

— Но хуже всего эта эмансипация женщин, да то, что мальчишки развратничают, живут с эмансипированными любовницами, а толкуют о свободе женщины и о гражданском браке. Они...

Лицо больного сделалось вдруг тревожно. Его нежные сестры и мать Обноскова заметили это и вскочили с вопросом: «Не надо ли чего-нибудь братцу?»

— Петя, иди в залу, подожди доктора, — промолвил больной, обращаясь к юноше.

Юноша встал, чтобы идти, но больной при-
тянул его к себе и поцеловал.

— Теперь ступай, — окончил он.

Мальчик вышел; его глаза сверкали гне-
вом, точно последние слова Алексея Алексее-
вича Обноскова задели его за больное место.

— Послушайте... я хочу один остаться... с
Алексеем, — обратился больной к сестрам.

Они и мать Обноскова повиновались и
оставили комнату, где воцарилось какое-то
тяжелое молчание. Алексей Алексеевич из
почтительности к старшему родственнику не
прерывал этого безмолвия, а дядя, по-видимо-
му, собирался с духом, чтобы заговорить. Ка-
залось, что он собирается сказать что-то
очень важное...

IV

Исповедь старого Обноскова

— Ты неосторожно поступил, — начал Евграф Александрович Обносков. — Таких вещей не должно говорить при этом ребенке.

Племянник не то сконфуженно, не то холодно молчал и как-то сострадательно и даже презрительно смотрел на встревоженное лицо дяди.

— Но я рад, что ты так или иначе вызвал меня на объяснение. Я уже давно думал поговорить с тобою о наших делах, хотел писать к тебе, но не мог... не мог решиться, — продолжал, запинаясь, нерешительный дядя, и по лицу его скользнула горькая усмешка. — Ты совершенно прав, нападая на разврат современного общества. Тебя, всегда осторожного, всегда рассудительного, должны возмущать промахи беззаботной юности, но, друг мой, клеймить ее только за одно это — грех...

Больной закашлял, и его лицо вдруг приняло свое обычное выражение нерешитель-

ности и изнеможения. Можно было легко заметить, что он говорит совсем не о том, о чем хочет говорить, и что до этого желанного предмета разговора он может дойти только после множества совершенно посторонних делу фраз.

— Мы больше всего виноваты, если современная молодежь и вступает в незаконные связи, — заговорил больной. — Мы все, люди отживающего поколения, жили с любовницами; одни при живых женах имели посторонние связи; другие просто не женились на любимых и близких им женщинах потому, что им не позволяли этого родные; третьи жили весь век с женщинами, не женясь на них потому, что считали сами женитьбу на них за неравный брак и не имели смелости ввести в свой дом ту женщину, которая, несмотря на свое происхождение, хранила всю их жизнь и делала их счастливыми... Свет смотрел на эти связи сквозь пальцы, потакал им, так как его приличия не нарушались, в его кружки не вводились дочери людей темного происхождения, но, друг мой, тут приличиям приносилась в жертву человеческая личность.

Больной взволновался и замолчал. Алексей Алексеевич никак не мог понять, для чего это дядя толкует о вещах, не касающихся ни до которого из них.

— Дядя, вам надо бы отдохнуть теперь, — заметил он.

— Нет, нет! — замахал рукою дядя. — Я сейчас дойду до того, что я хочу сказать... Я договариваюсь, договариваюсь, — успокаивал он, кажется, не столько своего слушателя, сколько самого себя, как бы доказывая самому себе, что на этот раз, может быть, впервые в жизни, ему удастся победить свою нерешительность и высказать именно то, что ему нужно высказать.

— Никто не бросал в нас камня за то, что мы, подчиняясь условиям сыновнего долга, светским приличиям или своим сословным предрассудкам, налагали пятно на женскую личность, делали ее в глазах света развратницей, — объяснял больной. — Молодежь назвала эти связи гражданским браком. Она сильно ошиблась в практической стороне дела, но все-таки в ее стремлении есть много честности. Она как бы хотела сказать своим ближним: хотя вы не позволяете мне ввести в ваш

круг любимую мною женщину, но я все-таки признаю ее моей женою, то есть не существом, которое я брошу по прихоти, которое я развращаю, а личностью, с которою я связываю себя навек перед своею совестью... Разумеется, это ошибка в практическом смысле, но виноваты в ней мы, только мы, люди отжившие. Мы поступали еще хуже, мы увлекали женщину, оставляя за собой право бросить ее, и в то же время называли ее позорящим именем любовницы...

Больной остановился. На его лице проступила краска. Алексей Алексеевич Обносков холодно следил за муками этого человека, лишённого силы воли, и презирал его в душе за его стремление оправдать себя, оправдывая других. В голове Алексея Алексеевича мелькали теперь мысли о том, что «вот они, старые теоретики-то, фразеры, носящиеся в облаках и не знающие фактов, вечно ораторствуют, вечно стараются подвести вое под какую-нибудь систему и любят шумихой своих собственных фраз. А и подводить-то им под систему нечего».

— Дядя, вам, кажется, совершенно не нуж-

но так длинно распространяться по поводу мельком высказанной мною фразы, — заметил племянник.

— Погоди, погоди, — удерживал его движением руки больной, думая, что тот хочет уйти. — Я буду говорить о своих делах... Были годы, когда ты каждое воскресенье проводил у меня. Были годы, когда ты постоянно присутствовал при наших толках о семейных делах, но ты был племянник, то есть младший член семьи, а я дядя — ее глава. Стоя в этих отношениях друг к другу, люди странно относятся до сих пор к своим ближним. Молодой человек откровенно высказывает своим старшим, что он читает, с кем дружен, что он видел в театре, но никогда не скажет он им о первой вспышке своей любви, никогда не скажет о первом проступке на этом пути. Точно так же старшие никогда не говорят при юноше о своих сердечных делах, все это считается за нечто неприличное. Но боже мой! Право, не так важно узнать, что юноша тогда-то пропустил несколько лекций в университете, как важно знать, не увлекался ли он недостойной любовью, не стоит ли он на

краю пропасти, куда ведут первые порывы пробудившейся страсти. Лекции, пропущенные им, можно нагнать, но первый проступок на пути любви иногда делает отцом того, кого мы, старшие, считаем чуть не ребенком! То же самое можно сказать и про нас. Иной из нас не стыдился перед своею совестью иметь где-то на стороне семью, не стыдился называть прижитых в этой связи детей своими детьми, но считал постыдным знакомить с этою семьею одного из младших членов своего родственного кружка. Ему было бы оскорбительно, его самолюбие пострадало бы, если бы ему пришлось, краснея, признаться перед молодым племянником в своей ошибке... Совестно! оскорбительно! — но ради этих мелочей он лишал своих детей, любимых детей, приятни родных и сам как будто признавал, что эти дети отверженные, что они не имеют места в объятиях его законной семьи...

Страшный кашель стал душить больного.

— Дядюшка, прекратимте этот разговор, — нетерпеливо проговорил племянник.

Больной отрицательно замахал рукою. «Эк его фразерство-то заело! Сороковым годам по-

следнюю панихиду служит», — подумал Алексей Алексеевич и, зевнув украдкой, закончил мысленно: «А поглупел же он во время болезни, прежде он все-таки меньше был способен на подобные словоизвержения». По-видимому, от внимания больного не ускользнули настоящие чувства и мысли, занимавшие племянника, так как на исхудалом лице появилось что-то похожее на неудовольствие.

— Все это тебе очень скучно, но я должен договорить, — заметил дядя. — Так поставил и я свои отношения к покойному отцу, к тебе, к сестрам. Вы не знали, что жизнь в вашем кругу, занятия по службе не могли наполнить всего моего существования... Мне нужно было более теплых, более страстных отношений. Сперва это было увлечение молодости, о котором я не сказал моему отцу, моей матери, моим дядям. В такой несообщительности не было ничего необыкновенного... Ведь и ты, вероятно, увлекался... Как? когда? кем? Кому ты сообщил об этом?.. Об этом неловко говорить со старшими, с опытными людьми и можно разве только смеяться над этими первыми увлечениями в кругу своих сверстни-

ков, таких же неопытных, таких же увлекающихся. Да, это так, и счастлив тот, у кого первая вспышка страсти прошла бесследно, если только может проходить бесследно что-нибудь, — но я после подобной вспышки вдруг очнулся отцом... Я никогда не шутил привязанностями... Иногда даже утирировал свои обязанности к ближним... Так я преувеличивал свои обязанности в отношении к сестрам... Скрывая от отца и матери до самой их смерти свою связь, я не мог открыть ее и сестрам... Они ухаживали за мной, они дрожали, когда я произносил слово о своем намерении жениться, они плакали, говоря, что тогда им придется расстаться со мной, что они должны будут идти на места, в гувернантки, что они не захотят брать денег из рук невестки. Я был мечтатель, нежный и слабый человек... очень слабый человек.

Больной умолк на несколько минут. В голове племянника, хорошо знавшего дядю и подобных ему людей, промелькнуло: «Ну, бичевать теперь себя станет!»

— О, да будут прокляты мои мечты, моя нерешительность, моя слабость! — восклик-

нул с оживлением больной и поднялся на локте. — Мое воображение рисовало мне светлую картину свободного, но прочного союза... Ведь тогда, в мое время, мы об этом даже стихи писали, — горько усмехнулся он. — Я представлял себя и любимую женщину героями, идущими одним путем, наперекор предрассудкам, наперекор злословию... Но я рисовал себе это не потому, что я был убежден в необходимости полной свободы в любви, а потому, что я был человек-тряпка, потому что я не мог сделать решительного шага и ввести в этот дом, заставить сестер любить и уважать женщину, прижившую со мной детей, я не мог сказать сестрам, что если они любят меня, то они должны радоваться моему счастью. Я постоянно оправдывал их грубый эгоизм, их ложное понимание родственной любви, заставляющее выжимать последний сок из любимого человека для себя, только для себя... И ведь оправдывал-то я их потому только, что силы бы не хватило на борьбу, на разъяснение им их ложных отношений ко мне!.. Вот и прожил под опекой весь век... а дорогие мне личности едва смеют пересту-

пать порог моего дома...

Снова последовало мучительное молчание. Молодой Обносков был по-прежнему почитителен, но холоден.

— Это чудное дитя, — почти со слезами продолжал больной, — этот ребенок, сидевший на моей постели, мой сын... Только глядя на отношения к нему моих сестер, понял я вполне, как мало они меня любили. Мне теперь гадки, мне мучительны их ухаживания за мной, и если бы я встал еще с постели, то я загладил бы свою ошибку, Я только теперь окреп, увидел истину... Но слишком поздно открылась она, эта истина, — открылась для того, чтобы я покаялся перед своею совестью... Верь мне, это страшное покаяние... Тебе тяжело меня слушать... но ты должен выслушать все... Люди страдают затем, чтобы другие могли избежать этих же страданий... Ты наследник моего имения, ты молод, ты воспитан в то великое время, когда глупые предрассудки начинают понемногу исчезать, потому я хочу поручить тебе заботы о моей семье... Да, о семье; я так называл ее перед своею совестью и перед богом, потому что мы

честно прошли путь нашей жизни, как, может быть, не прошла его ни одна чета, приносившая ложную клятву перед алтарем бога.

Алексей Алексеевич молчал. Умиравший Обносков начинал все пристальнее всматриваться в холодное, официальное, почтительное лицо только что начинающего жить Обноскова и, кажется, хотел прочесть в душе этого человека его чувства и тайные помыслы.

— Не оставляй моих детей, моей жены, — заговорил дядя. — Я не сделал духовной, не мог ее сделать, но ты раздели все на равные части, не обижай никого.

— Дядюшка, я все сделаю, что от меня зависит, — промолвил молодой Обносков.

Больной продолжал всматриваться в его лицо. Калмыцкие глаза нетерпеливо начали бегать из стороны в сторону и ускользали от взглядов дяди. Дядя, проживший всю жизнь страстным мечтателем, был почти смущен тем, что племянник не бросается ему на шею, не выражает горячих чувств и остается все тем же холодно-почтительным младшим членом семьи, выслушивающим с покорностью

наставления старшего члена семейства, как выслушивает студент лекцию профессора или чиновник соображения директора.

— Тебе понравился мой сын? — с любопытством спросил дядя.

— Да, он недурен, — отвечал племянник.

— Красавец, красавец! — одушевился больной. — А ведь какая душа! А как он умен!.. Ты говорил с ним?

— Нет еще, не удалось.

— Поговори, поговори, — пристально смотрел на молодого Обноскова больной. — Я тебе поручаю его...

— Вам нужен отдых, — произнес Алексей Алексеевич и встал.

— Ничего, я не устал, — ответил дядя, тяжело дыша, и вдруг переменял разговор. — А ты как думаешь устроить свою судьбу?.. Женишься на Кряжовой?

— Да, я думаю...

— Что ж, ты будешь счастлив. Она хорошая девушка... Дай бог, чтобы она была счастлива...

Молодой Обносков пожал руку дяди и вышел из комнаты. Больной в утомлении пере-

вернулся на спину. В его лице были следы изнеможения и отчаяния. Теперь его грызла мысль о том, это он не должен был объясняться с племянником, теперь он дорого бы дал, чтобы этого разговора не существовало. Тысячу раз в жизни мучился этот человек, желая и не решаясь высказать свои чувства и мысли, еще чаще решался он, после мучительных усилий над собой, высказывать желанное и терзался, через минуту после откровенного признания, за то, что сделал это признание. Все люди казались ему ангелами, куда он не сходил с ними, но как только он узнавал их поближе, так тотчас же наступало разочарование и охлаждение. Теперь разочарование было еще сильнее. В течение последнего времени больной только о том и мечтал, что кроткий, почтительный и скромный племянник вернется из-за границы, встретит с распростертыми объятиями дядю, приласкает встреченного в доме дяди мальчика, потом услышит исповедь дяди и бросится с горячими поцелуями к юноше, узнав, что этот юноша — любимое дитя дяди-благодетеля. И все эти мечты обманулись! И упрекнуть даже

нельзя было племянника за какое-нибудь чувство, неприличное в молодом человеке, стоящем перед старшим родственником. Нет, нет, почтительность, скромность, терпение — все это было в поведении племянника.

— А другом Пети он все-таки не будет! — проговорил больной. — Ведь Петя незаконный сын, ну, так и тревожиться о нем было бы незаконно, когда есть законные наследники. Ведь вор, укравший с голода, может быть и не негодяй, а просто несчастный человек, но он вор — его и жалеть не следует. Тут жалость незаконна, так как ее всю нужно отдать на долю того, кто обокраден вором... Женцина была моим единственным верным другом, но она мне не жена — какое же им до нее дело? В их глазах это просто развратница — признать за нею все права жены — незаконно; это можно бы сделать из любви ко мне, но приличия и законы выше всего... Они правы, правы, тысячу раз правы!.. Ведь это только мы, все наши были теоретиками и мечтателями, а они всегда будут практиками... Как я их ненавижу... Я рад бы им отомстить.

Больной волновался. В эту минуту дверь в

его комнату тихо приотворилась; он торопливо закрыл глаза и притворился спящим, зная, что это вошла одна из сестер, и не имея силы и смелости выгнать от себя одно из тех существ, которым он за минуту перед тем хотел отомстить за мучения всей жизни, глупо прожитой, глупо кончавшейся...

— Ну, как ты его нашел, Леня? — заботливо расспрашивали между тем родственницы у племянника о больном.

— Плох он, заговаривается порой, — ответил племянник. — Но проживет еще.

— Знаешь, Леня, мы вот здесь всё о тебе толковали, — озабоченно заговорила мать. — Женился бы ты прежде его смерти. А то, спаси господи, помрет он, тогда неловко будет после похорон сейчас за свадьбу приниматься.

— Так-то так, — задумчиво ответил Алексей Алексеевич, — но не знаю, успею ли я обделать все мои дела... Впрочем, я подумаю...

— Подумай, голубчик, подумай! Это и для здоровья твоего надо, — рассуждала мать и сообщила родственницам, что Лене еще за границей говорил доктор, что ему для здоровья нужно жениться, что он будет крепче, ко-

гда женится.

Обносков взялся за шляпу и уехал по какому-то делу, обещаясь приехать ночевать в дом дяди. Мать же и тетки остались беседовать между собою.

В доме больного в последнее время были совершенные праздники, в нем никто ничего не делал, постоянно гостила тут Марья Ивановна Обноскова, каждый день приезжали сюда разные дальние родственники и знакомые, никогда не посещавшие дома в другие времена; почти не сходил со стола кофейник, а если и сходил, то только для того, чтобы уступить место самовару. Но страннее всего было то, что общество, находившееся теперь в квартире Евграфа Александровича, приняло какой-то мещанский характер. В былые дни сюда являлись сослуживцы хозяина и его старые друзья по университету, люди известные, важные, к которым никогда не выходили сестры хозяина. Тут шли речи о политике, о делах акционерных компаний, о реформах, о литературе. Теперь блестящие залы наполнялись какими-то вдовами-капитаншами, какими-то престарелыми девами, благословляю-

щими благотворительниц. Теперь тут шли рассказы о чудесах и видениях какого-то Алексея Колокольчикова, о том, что Наполеон снова явился и опять на Россию идет, о том, что к братцу даже сами генералы как друзья ездят и, чаще всего, почти незаметно эти разговоры сводились к рассказам о скандалах, историях и сценах, происшедших в домах каких-то Постниковых, Лукошкиных, Анучиных и других тому подобных личностей, неведомых миру, а может быть, и самим разговаривающим...

Слушая все эти разговоры, трудно было поверить, что обе хозяйки дома были когда-то в институтах, правда, не кончили там ученья, но все-таки были. Все, что мог привить институт, сгладилось, стерлось среди домашних забот и соображений о намерениях братца, о поступках дальних родственниц, о склонности прислуги к воровству, о плутовстве лавочников и тому подобных предметах. При «братце» об этих предметах нельзя было говорить; при «братце» нужно было иногда книжку в руках держать, в театр ездить; при «братце» сестры делали томные глазки, говорили о

прочитанных чуть ли не в институте французских романов, полагая, что это благородный разговор, — но теперь можно было сбросить тяжелый, узкий корсет европейского изделия и надеть широкий балахон домашней выделки. Много нужно усилий, чтобы втащить человека на вершину горы, и совершенно не нужно труда, чтобы он скатился с нее и увяз снова в грязной тине старого, родного болота...

V

Ех-профессор Кряжов, дальний родственник Обносковых

Женитьба Алексея Алексеевича Обноскова на дочери Кряжова должна была состояться через несколько дней. Это было уже в самый разгар лета. Свадьбой торопились именно потому, что Евграфу Александровичу бог не давал «ни смерти, ни живота», как выражалась Марья Ивановна. А она более всего хлопотала о бракосочетании сына с девицей Кряжовой, «так как Кряжов был человек достаточный и со связями, так как его дочь была красавица и не модница, так как Лене давно уже надо жениться, что говорил, как мы знаем, даже и доктор, лечивший Леню». Все эти причины заставляли Марию Ивановну напоминать сыну о Кряжовых перед отходом ко сну, заговаривать с ним о них после восстановления от сна и тянуть эту песню изо дня в день при всех удобных и неудобных случаях и даже без всяких случаев. Это было какое-то

заботливое подтачиванье любимого существа с припевом:

— Не упускай, голубчик, своего счастья!

Ответ слышался один и тот же:

— Ах, маменька, да я и сам хлопочу об этом!

Выгодность партии была ясно видна уже из того, что Марья Ивановна поступала теперь совершенно против своих правил. В былые дни Лене довольно было ласково взглянуть на какую-нибудь девушку или похвалить ее, чтобы Марья Ивановна начала топтать в грязь, порочить и поносить это существо, и если все это не помогало и Леня продолжал, хотя просто из настойчивости, хвалить невинное создание, то мать начинала делать сцены этому невинному созданию, рыдать и жаловаться перед Леной, что он ее «меняет на какую-то девчонку, на негодницу, на шлюху, которая всем мужчинам на шею вешается, у которой стыда-то нет в глазах» и проч., и проч. Со своим ни в чем неповинным врагом Марья Ивановна церемонилась еще меньше. Обыкновенно продолжались эти сцены и рыдания до тех пор, пока девушка не на-

чинала избегать встреч с верным сыном любящей матери. Теперь было не то — значит, Кряжовы были люди, во всех отношениях достойные принять в свой круг Леню. Вероятно, и он был достоин их, хотя об этом, как водится, не могло быть и речи у Марьи Ивановны и вообще в семье жениха.

Ех-профессор Кряжов, член и корреспондент разных академий и ученых «Обществ» Европы, приходился сродни Обносковым — правда, он был им дальним родственником, но все-таки родственником. Это был колоссальный, широкий в кости, наделенный железным здоровьем человек, с огромной, немного обрюзгшей львиной головой, украшенной длинными, волнистыми, седыми волосами с свинцовым отливом. Из-под его густых бровей добродушно смотрели ввалившиеся голубовато-серые глаза, иногда сверкавшие каким-то веселым, плутоватым выражением, намекавшим не на то, что их обладатель может обмануть кого-нибудь, а скорее на то, что его надувают все, а он-то смеется над плутнями людей и остается спокойным, тогда как они, жалкие людишки, копошатся,

составляют разные злостные планы, ночей не спят, завязывая узел интриги, и все из-за того, чтобы после всех своих усилий и трудов встретить те же спокойные черты лица и те же безмятежные, немного насмешливые глаза старого льва. Эти глаза как будто говорили:

— Ну, чего вы интригуете? чего бьетесь головой об стену? Ведь вы только свое здоровье портите, а меня вам не смутить.

Голова престарелого льва поддерживалась массивной шеей бронзового цвета, постоянно открытой и в холод и в жар и почти не стесняемой широким откидным воротником ненакрахмаленной рубашки. Воротник едва сдерживался небрежно повязанной черной косынкой. Расстегивать пуговицу у воротника рубашки вошло в привычку у ех-профессора, так как очень часто, сидя в многочисленном собрании серьезных и важных ученых и увлекаясь оживленным спором, он машинально подносил руку к воротнику, расстегивал пуговицу и старался ослабить обвивавший его шею галстук. Казалось, его душило всякое малейшее стеснение и, вероятно, поэтому-то он уединился в свой дом от людей,

устроил себе какое-то независимое государство и хладнокровно смотрел на все, как хорошее, так и дурное, что происходило за стенами его владений.

В давно, очень давно былые годы Кряжов был таким выносливым и беззаботным голяком, какие очень часто встречаются среди бессемейной молодежи. Он откровенно и честно высказывал те смелые идеи, которые зарождаются во все века в молодых, еще не отупевших головах, за что считался опасным вольтерьянцем, — в те времена эта кличка значила то же, что теперь значит кличка нигилист, хотя это обстоятельство и не мешает старым вольтерьянцам ругать нигилистов. Кряжов страстно увлекался женщинами и, обманутый ими, с свойственным ему юмором смеялся над тем, как его ловко провели за нос, и беспечно утешался в измене — за что его звали бессовестным, бессердечным волокитой. Он любил иногда попировать, выпить брудершафт и стяжал этим название кутилы. Он и с мужиком, и со студентом толковал о их нуждах их языком, как с равными себе, потому что сам происходил из бедных мелкопо-

местных дворян, недалеко ушедших от мужиков, и, рано увидав, что люди обманывают друг друга на каждом шагу, поняв, что не обманывает только одна наука, предался ей вполне и не имел времени задумываться ни над людским костюмом, ни над сословными разделениями — это доставило ему репутацию... чудака. Может быть, он и действительно был отчасти чудаком. По крайней мере ему как-то удалось начудить таким образом, что в его филологических лекциях, трактовавших о происхождении различных слов, были усмотрены следы опасного свободомыслия и даже атеизма, за что на него покосились где-то наверху и «попросили» его быть осторожнее, а он, не думавший никогда либеральничать и отрицать что бы то ни было, уперся, написал пространную «записку» о необходимости свободы в преподавании, заявил, что он никогда не отречется от своих взглядов и подал в отставку, как будто ему действительно приходилось поступиться в этом случае какими-нибудь заветными убеждениями, а не случайно проскользнувшими фразами. Выйдя в отставку, он продолжал за-

ниматься своими изысканиями о происхождении тех или других слов того или другого языка, задумывался над объяснением того или другого памятника древности и только тогда в первый раз вспомнил, что эти занятия ведут не только к уяснению истины, но и к знакам отличия, когда через долгие годы опалы о нем вдруг кто-то вспомнил там наверху, дал ему место и выхлопотал ему орден. Это было в то живое время, когда давались ордена и места всем обретавшимся не в авантаже в течение предшествовавших тридцати лет.

Кряжов надел орден на свой стереотипный, долгополый и широкий сюртук, подошел к зеркалу и, улыбнувшись детски-самодовольной улыбкой, как-то недоверчиво покачал головой. Вечером он совершенно забыл об ордене и удивился, когда во время его занятий что-то хрустнуло у него на груди, прижатой к столу. Ех-профессор озабоченно почесал в затылке и заходил по комнате с расстроенным видом, поминутно растягивая шейную косынку; казалось, ему попалась под руку какая-то древняя рукопись, написанная на бесследно исчезнувшем языке. Через полчаса он,

как-то сконфуженно оглядываясь, снял с сюртука сломанный орден, поспешно спрятал его в стол, вздохнул и, снова садясь за рабочий стол, проговорил, махнув рукою:

— Где нам, дуракам, чай пить!

— Папа, а орден-то твой где? — спросила его молоденькая дочь, когда он пришел в столовую отдохнуть и пить пиво.

— В столе, маточка, в столе! — серьезно проговорил ех-профессор и заходил по комнате в заметном волнении. — Знаешь, с такими вещами шутить не должно!.. Это доказательство, что мы недаром гнули спину весь век, что наши труды признаны людьми; признаны даже там... наверху... Да, даже они, — неопределенно заметил Кряжов, указав куда-то в сторону, — знают и помнят о нас!.. Ты это пойми... Нет, нет, такие вещи беречь нужно. Я привык к разгильдяйству, к неряшеству, мне только бы в халате ходить, мне не следует унижать подобной святыни, таская ее на своем затрапезном балахоне... А ведь это святыня, святыня; ты сама видела... А?

По мере того как ех-профессор увлекался этою речью, лицо его делалось все пасмурнее

и озабоченнее; он тревожно потирал себе лоб, поправлял галстук, точно ему представлялся факт, которого он никак не мог объяснить. Дочери стало тяжело видеть это постоянно веселое и безмятежное лицо в такой тревоге.

— Ну, брось, папочка, этот разговор, — приласкалась она к нему, глядя его волосы. — Вот тебе пиво.

— Да, да, голубка, бросим этот разговор, не нужно об этом говорить. И что нам в этих разговорах! Ну, сама посуди, что нам в них? — вздохнул широким вздохом ех-профессор. — Будем пить пиво, и да царствует наше семейное затишье!

Профессор поцеловал худенькую руку балованной дочери, взял кружку пива и угнездилился в широком покойном кресле посередине комнаты, обратись лицом к пылавшему камину. На полу у камина уселась его молоденькая дочь со щипцами в руках; у ее ног помещился полулежа мальчик, почти таких же лет, как она; он положил ей на колени книгу и, при свете горящих в камине дров и лампы с матовым шаром, стал читать вслух французский перевод Дон-Кихота. Профессор за-

думчиво слушал чтение своей любимой книги, и снова, в тысячный раз, вызывали на его лицо полугрустную, полунасмешливую улыбку похождения честного добряка, покидающего свой мирный угол для поисков за какими-то неведомыми подвигами, битвами и почестями.

Много различных дипломов на разные почетные звания, много знаков отличия получалось с этого памятного дня ех-профессором. Он был теперь в моде, в ходу. В самостоятельной, независимой и свободомыслящей республике науки стали теперь без боязни признавать ученые заслуги Кряжова, когда увидели, что с него снята опала и что его снова жалуют наверху и даже тщетно приглашают читать лекции какой-то особе. Но все дипломы, все медали прятались Кряжовым в заветный ящик стола и погребались там на долгие-долгие дни. По-прежнему спокойно сидел обленившийся труженик по целым дням дома, заставленный, как перегородками или щитами, грудями старых книг, заслонив слабые глаза одною рукою, приложенной ко лбу в виде зонтика. По-прежнему скупал он древ-

ние вещи, начиная с какого-нибудь почерневшего шкапа и кончая замасленной рукописью; аккуратно ходил он на толкучий к знакомому букинисту отрывать подходящие старые брошюры; просиживал в лавочке два-три часа, потягивая принесенное собственно для него пиво и перекидываясь разговорами о житейских новостях со старым, похожим на распухнувшую древнюю книгу мещанином-хозяином запыленной лавочки книжного старья. По-прежнему по субботам заходил к Кряжову во время его занятий такой же старый профессор и академик, художник Трегубов, и Кряжов, не поворачивая головы, не отнимая руки от глаз, ласковым, певучим голосом говорил ему:

— А, это ты, Абрам Семенович, пришел!

— Я, голубчик, Аркадий Васильевич, — отвечал точно так же нараспев Трегубов.

— Ну, спасибо, что завернул!

— Да гулял, знаешь, шел мимо, думаю: дай, мол, погляжу я, что-то поделывает мой Аркадий Васильевич, — ну, и зашел.

Затем Трегубов садился в древние вольтеровские кресла с громадной почерневшей

спинкой, брал газету или книгу и начинал читать. Минуты проходили за минутами, в комнате царила невозмутимая тишина, изредка едва слышно нарушаемая шелестом переворачиваемых листов, еще реже смущаемая отрывистыми фразами собеседников о том, что «погода-то того, портится» или что «ведь в Германии-то опять новый съезд ученых готовится».

— Да, брат, обленились мы с тобой, ух, как обленились! — замечал при этом Кряжов. — Вот ведь съездить бы надо туда, а подняться лень, к месту приросли... Помяни ты мое слово, пришибет нас когда-нибудь кондрашка!..

— Ну, нет, голубчик, Аркадий Васильевич, ты этого не говори, — возражал Трегубов. — Я подумываю на будущий-то год непременно в Германию махнуть и уж поеду, как бог свят, поеду!

— О-о? — бросал Кряжов удивленный взгляд на приятеля. — Ну что ж, с богом, с богом... А ведь знаешь ли что? И я посмотрю, посмотрю, да и махну с тобой туда... Отчего же бы мне в самом деле и не ехать? А? Ну, сам посуди, отчего не ехать?

— Вот то-то и есть, Аркадий Васильевич, что и я не вижу никакой причины, по которой тебе нельзя бы было ехать; решительно не вижу такой причины, — глубокомысленно замечал Трегубов, разводя руками.

Потом снова наступало молчание между будущими путешественниками. Наконец, проходило три четверти часа; тогда, почти из минуты в минуту угадывая время, поднимался Трегубов, тщательно складывал газету, аккуратно клал ее на старое место и прощался:

— Ну, я пойду теперь, милый мой Аркадий Васильевич.

— Христос с тобой, голубчик, Абрам Семенович. Не забывай меня, заверни, если случай такой выдастся.

— Нет, как можно; вот мимо придется когда-нибудь идти, так и заверну, — заканчивал Трегубов, тихо выходя от Кряжова и постукивая палкой.

Ни тому, ни другому, по-видимому, не приходило в голову, что и без обещаний прогулка Трегубова должна повторяться из года в год, по крайней мере, раз в неделю для поддержания его здоровья, что и без просьбы придется

ему отдохнуть только у Кряжова, последнего и единственного друга его и сверстника, что и Кряжов, постоянно ведущий сидячую жизнь, не видящий в течение недели почти никакого живого лица, кроме дочери и своего воспитанника, не обошелся бы и трех недель без этого посещения. Так шли многие годы для двух профессоров-друзей, постоянно сидевших сиднем в своих кабинетах и решавшихся на следующий год совершить далекое путешествие.

Кроме этой, так сказать, внешней стороны, была у Кряжова другая сторона в жизни. Он был не только ех-профессором, но и отцом. Женился он сорока с лишком лет на молоденькой немочке-гувернантке, жившей в том же доме, где он был гувернером. Решился он на этот шаг только потому, что ему вдруг досталось довольно большое наследство, а значит, и представилась необходимость завести своим хозяйством. Так как ходить далеко за невестой было не в характере тяжелого на подъем человека и так как немочка была кротка, несчастна и находилась под рукой, то Кряжов и повенчался без всяких отлага-

тельств и лишних переговоров с нею. Она, с своей стороны, пошла за него потому, что считала его великим человеком. Бог знает, был ли он великим человеком, но добродушным человеком он был действительно, и мечтательница-немочка была счастлива, что, однако, не помешало ей через три года умереть, столкнувшись впервые с действительными, совсем прозаическими последствиями супружеской жизни — с первым ребенком.

Кряжов возился, как умел, с малюткой дочерью. В это время он жил уже богато в собственном доме и имел довольно прислуги для ухода за девочкой. Впрочем, это не мешало ему самому вмешиваться во все, что касалось ребенка, и даже можно было заметить, что он имеет сильное поползновение научить кормилицу, как нужно кормить детей грудью. Конечно, эти поползновения не могли иметь никаких последствий, так как вообще вся прислуга Кряжова хотя и любила его, но смотрела на него с каким-то высокомерным снисхождением, как смотрят на капризничающего шалуна-мальчугана. В своем кругу прислуга отзывалась с неуважением даже о заняти-

ях ех-профессора и говорила посторонним:

— Э, наш-то ведь только целый день книжки читает! У него и дела-то другого нет!

В этих словах слышалось глубочайшее презрение к ученым трудам ех-профессора, еще с большим неуважением отзывались люди об его образе жизни:

— Да разве этак господа-то живут? — восклицали они. — Разве это порядок целый век взаперти сидеть? И какое это хозяйство! Ни до чего ему дела нет... Накупит разной рухляди, обтрепанных книжонок натащит, и тронуть не смей... Вот и теперь корзина с хламом в кабинете стоит... А это разве порядок корзины в кабинет ставить?.. Прибрать ничего не дает, так у него и пыли не сметай... Уж потонет он в ней когда-нибудь, прости господи!..

С трех лет дочь уже воспользовалась правом по целым часам сидеть на коленях отца во время его ученых занятий. Кряжов был так силен, а ребенок так мал, что отец иногда забывал о присутствии живого существа на его широких коленях, точно там лежала просто какая-то еще ненужная для его изысканий книга. Потом отец сделался учителем своей

шестилетней дочери и в часы отдохновения, в убранной по-старинному столовой, учил девочку, потягивая пиво, при свете пылавших в камине дров. Иногда среди занятий ребенку вдруг приходила в голову какая-нибудь странная, блажная фантазия.

— А ведь я тебе, папка, волосы взъелюшу! — обращалась она к отцу совершенно неожиданно и без всяких видимых причин к появлению подобного желания.

— Ну, взъерошь! — хладнокровно улыбался отец, и детские пальчики уже путали седые волосы отца.

В комнате раздавался веселый хохот старика и ребенка.

Если являлись посторонние люди, то малютка сначала смотрела на них тайком, с каким-то напряженным любопытством, стараясь не обратить их внимания на себя, потом, рассмотрев подробно гостя, она начинала заигрывать с ним, кружилась по комнате подобно дикарке с каких-нибудь австралийских островов, наконец подходила к гостю, дергала его и очень решительно замечала:

— А ведь ты, Тлегубов, как я замечаю!

Вероятно, такое заключение являлось вследствие того, что она только и знала эту фамилию. Подобные детские выходки восхищали Кряжова, и ему не приходило в голову, что детский ум развивается как-то ненормально. Но через несколько времени отец стал замечать, что девочка грустит, худеет и становится все более и более странною, все сильнее и сильнее походит на австралийскую дикарку; он начал волноваться не на шутку.

— Что с тобой, голубчик, Аркадий Васильевич? — заботливо спрашивал Трегубов. — Ты на себя не похож становишься!

— Ребенка не могу найти! — развел руками в стороны Кряжов и даже раскланялся, должно быть, для того, чтобы Трегубов сильнее прочувствовал всю важность этого события.

— Господи! — ужаснулся Трегубов. — Что же нянька-то глядела?.. А? Вот ведь давно я замечал, давно замечал, что ветер у нее в голове ходит, только ке говорил... Ах, ты, господи!.. И куда же это она девалась?..

— Не то, не то! — перебил Кряжов. — Груня, слава богу, дома... Ты меня, Абрам Семено-

вич, не понял... Мне еще нужно ребенка.

Трегубов хлопнул себя в изумлении по коленям, покачал головою и потом глубокомысленно закусил два пальца правой руки, в знак сильного раздумья.

— Ну, как ты это сделаешь, уж я и ума не приложу, — развел он через несколько минут руками.

В один прекрасный день Кряжов повеселел и лукаво подмигивал, встречая Трегубова.

— А ребенка-то я нашел, ей-богу нашел! — говорил он и показал другу новый, очень невзрачный экземпляр человеческого существа, уже умевший говорить: «Ах ты чёлът, мазулик плоклятый».

Это был черномазенький мальчуган с вздернутым носом, немного приплюснутым лбом и сердитыми глазенками. Мальчик был сирота, сын чиновника; его отыскал Кряжов где-то в грязи, в людской и боялся, что ребенка не отдадут ему, но оказалось, что не только этого ребенка рады были отдать люди, но предлагали Кряжову еще нескольких таких же безродных сирот.

— Эх, брат, Абрам Семенович, видно, са-

мый дешевый товар безродные дети, — говорил Кряжов своему другу. — Даром старого каталога не дадут, а тут еще кланяются, чтоб человек только взял ребенка. Не угодно ли, говорят, мы вам вот еще двух принесем, так те будут получше... Ишь ты, получше!..

Дочь и воспитанник Кряжова

Маленький Павлуша Панютин сделался любимцем Кряжова и его дочери, немного повеселевшей в обществе нового товарища. Теперь все пошло отлично. Маленькое государство, где Кряжов был скорее последним подданным, чем президентом, благоденствовало. Груня и Паня росли вместе, горячо любили друг друга и прилежно, хотя и не бойко, учились. Росли дети совершенно одиноко. Кряжов, погруженный в свои работы, даже и не замечал, что прислуга ненавидит лишнюю обузу — приемыша, что гувернантка совсем не занимается детьми и читает романы, оставляя воспитанников без присмотра. Характеры детей слагались как-то странно: Груня — божество прислуги — была задумчива, слаба и пуглива; Паня — илот прислуги — был мрачен, горяч и мстителен. Через несколько лет гувернантку отпустили, Паня поступил на казенный счет в гимназию, а к Груне стало ходить еще больше учительниц и

учителей. Особенно мягким и добрым учителем оказался один студент, дальний родственник Кряжова. Он был такой робкий, почтительный и прилежный, что скоро сделался приятелем не только самого добродушного Кряжова, но даже и пугливой, несообщительной Груни. Зато с первой же минуты знакомства Паня взглянул на этого учителя, как на врага. С свойственной ему мрачною злобою следил он за учителем и обличал его перед Груней. Между детьми возникали горячие споры и даже ссоры из-за этого учителя. Не меньшею ненавистью отплачивал мальчику и наставник. Он был не кто другой, как наш знакомец, Алексей Алексеевич Обносков.

По целым часам готов он был слушать рассуждения Кряжова о новых исследованиях и очень часто сам просил советов старика по разным ученым вопросам, как когда-то просил он у латинского учителя советов насчет выбора книг для чтения. Через три года после своего вступления наставником в дом Кряжова Обносков был уже своим человеком в этом доме.

Оставаясь после уроков у Кряжова, Обнос-

ков беседовал с хозяином о различных предметах, волновавших в то время общество. А это была та кипучая пора, когда поднимались новые вопросы и ежедневно появлялись статьи, говорившие на все лады о том, кому нужно дать новые права и кому не нужно, кого надо сечь и кого не надо. Эти разговоры послужили новою причиною для Павла Панютина ненавидеть Обноскова. Обносков это замечал и искал случая дать генеральное сражение врагу.

Однажды, перед своим отъездом за границу, Обносков говорил об этих же животрепещущих вопросах с Кряжовым. Разговор коснулся розог.

— Давно пора было возбудить эти толки о розгах, — говорил Кряжов. — Я никогда не оправдывал жестокого обращения с детьми. Учителя не должны быть палачами.

— Но строгость, Аркадий Васильевич, нужна, — заметил Обносков скромным тоном.

— Ну, конечно, конечно! Без строгости нельзя, — согласился Кряжов, лаская дочь, присевшую на ручку отцовского кресла.

— Мне кажется, наши доморощенные гу-

манисты придают значению розог не тот смысл, какой они имеют на самом деле, — продолжал Обносков осторожно проводить свою мысль. — Эти крикуны, с одной стороны, видят что-то позорящее в розге и, с другой, предполагают в ребенке такой развитый ум, который можно наставить на путь истины убеждениями. Это двойная ошибка. Никто из нас не был опозорен тем, что его секли в детстве, и почти никто не может похвалиться, что он ребенком сознавал необходимость хороших поступков. Иногда он только из страха перед наказанием и не делался негодяем.

— А уж и пороли же нашего брата, — добродушно засмеялся Кряжов, вспоминая свое собственное детство. — Меня инспектор не любил, — я ведь был первым головорезом — так он, бывало, как придет суббота, так и зовет меня, раба божия, — ну, я уж и знаю, бывало, что порка будет... И что же это был за зверь-человек. Небо, бывало, с овчинку покажется... Он меня во едину от суббот так выпорол, что я и из школы бежал...

— Ну, такие звери теперь немислимы; это

просто ненужная тирания, — заговорил снова Обносков. — Но вот я сейчас имел честь вам говорить о наших гуманистах, — вернулся он к своей мысли. — Они признают нелепым действовать на ребенка физической болью, требуют, чтобы его наставлениями довели до хорошего поведения, а между тем они же сами признают несостоятельность поучений и хороших примеров, когда дело вообще касается исправления преступников...

— Э, батенька, вы смешиваете понятия, — прервал его Кряжов. — Поучения недостаточны для исправления преступника, потому что он все-таки будет преступно действовать под влиянием таких обстоятельств, как нужда, неименье работы, сознание неравномерного распределения богатств. Вместо наставлений нужно или уничтожить эти причины его негодности, или пресечь ему путь к преступлению...

— Ну-с?

— Ну, а у ребенка нет этих причин для преступных действий, по крайней мере, школа старается их устранить. Ребенок бывает дурен больше по привычке да по неразвитости.

Он ворует не оттого, что у него хлеба нет, а потому, что он не понимает дурной стороны этого поступка. И ленится он потому, что не понимает, как это вредно для него.

— Позвольте, Аркадий Васильевич, сделать вам возражение, — почтительно перебил Обносков. — Вы, смею вас уверить, ошибаетесь. Ребенок именно потому поступает дурно, что его принуждают к этому окружающие его обстоятельства, так же, как и всякого взрослого преступника. Совершенно устранить их нет никакой возможности, и еще менее есть возможность устранить их вдруг, потому-то наставления, хорошие примеры, ласки, все то, что проповедают гуманисты, просто чепуха и пустяки. Соловья баснями не кормят. Тут нужно прибегнуть к устрашающим мерам. Да!.. Видя, что его богатый товарищ лакомится, ребенок не захотел перенести лишения лакомства, — а вы его накажите, да так накажите, чтобы он понял, что страданье от наказания за проступок сильнее того страдания, какое он испытывал, не имея лакомства. Ребенок видит праздных людей и хочет тоже ничего не делать, сибаритничать, —

а вы накажите его за лень, чтобы он сознал, что лучше прилежно поработать, чем за минуту сладкой праздности подвергнуться тяжелому наказанию. Этим путем только вы и добьетесь чего-нибудь.

— Да ведь то скверно, что у нас наказания скоро переходят в истязания, — слабо защищал Кряжов детей, продолжая скучный для него диспут.

— А! что касается до жестокости, то я первый ее враг, — оживился Обносков. — Мера везде нужна. Жестокость, несправедливость — это гнусные крайности...

— Да, да, справедливость — это первое!

— Ну, кто же станет против этого спорить!..

— Вы сами порете детей или других заставляете их сечь, если они виноваты? — неожиданно спросил шестнадцатилетний Панютин, стоявший в полутьме, за креслом Кряжова.

Обносков вдруг вспыхнул и бросил гневный взгляд по направлению к своему нелюбимому ученику. Тот почти весь был скрыт высокой спинкой древнего кресла ех-профессора и над резьбой спинки виднелся один

немного приплюснутый лоб мальчика с нависшими черными волосами, да сверкали, как два горящие угля, злые черные глаза.

— Какие глупости ты спрашиваешь, — заметил немного смущенный Кряжов.

— Если бы вас нужно было сечь, так я сам бы высек, — засмеялся насильственным смехом Обносков, плохо скрывая досаду.

— Ну, и поплатились, бы своими боками, — спокойно ответил Панютин.

Обносков позеленел.

— Ступай вон, в свою комнату иди! — строго проговорил Кряжов.

Панютин пошел из комнаты, стуча по-мужицки ногами.

— Ишь, других, небось, заставляет сечь, а сам не хочет, боится, что плюх надают, — проговорил он вполголоса.

Некоторые из этих слов смутно долетели до слуха собеседников. Однако ни Кряжов, ни Обносков не сказали ни слова. Молчание было какое-то натянутое.

— Нехороший у него характер, — произнес через несколько минут Обносков.

Груня с замиранием сердца ждала ответа

отца. Отец молчал.

— Вы его сильно балуете, с ним нужна строгость и строгость, — продолжал уже смелее Обносков.

— Папа, он добрый, ей-богу, он добрый, — неожиданно прижалась Груня к отцу.

В ее дрожащем голосе послышался испуг и слезы.

— Голубка, что ты так взволновалась? — изумился Кряжов и обнял одною рукою дочь, склонившую к нему на плечо свою головку. — Велика лучше нам чаю подавать да скажи Павлу, чтобы не дулся.

Груня пошла.

— Чудное, нежное дитя! — прошептал как бы про себя Обносков.

Кряжов с чувством пожал его руку.

— А знаете ли что, Аркадий Васильевич, — вкрадчиво начал Обносков. — Ведь он уж не дитя, у него усики пробиваются над губой... Конечно, это не мое дело, но все же такая близость к девушке... это слишком близкие отношения. Тут опасная игра...

Кряжов изумился и обратил на Обноскова удивленные глаза.

— Что это вы? — покачал он головою. — Они брат и сестра...

— Чужие, Аркадий Васильевич, чужие! И притом обоим идет по семнадцатому году... Вы заметили сейчас это волнение у вашей дочери?.. Это не даром.

— Полноте, полноте! — замахал рукою Кряжов.

— Вы меня извините, но я так ваше семейство люблю, так люблю самого Павла, что... — Обносков засмеялся и потом окончил: — Его не худо бы удалить из дома.

— Ну, нет-с, уж этого-то я не сделаю, — почти рассердился Кряжов, входя с Обносковым в столовую.

— Что, молодой человек, вы, кажется, изволили на меня надуться? — шутливо потрепал Обносков Панютина по плечу, когда все собрались в столовой.

Панютин смотрел исподлобья куда-то в сторону и ничего не отвечал.

— Верьте мне, что я горячо желаю добра молодежи и вам первым уже потому, что вас любят и балуют те, которые дороги мне, — еще раз ласково прикоснулся Обносков к пле-

чу Панютина.

Тот, грубо отдернув плечо, стоял по-прежнему безмолвно и, злобно обкусывая ногти, мрачно хмурил брови. Обносков с веселым и добродушным видом развязно отошел к камину, где поместился Кряжов, а Груня прошептала Панютину:

— Ты злой, злой!

Ей ясно слышалось, как в ответ на эти слова мальчик неприятно скрипнул зубами. У нервной, бледненькой и слабой девушки пробежала по телу дрожь от этого скрежета зубов. Она, стоя у стола, принялась разливать чай. По другую сторону стола стоял Панютин. В глубине комнаты сидели Кряжов и Обносков. Все молчали, — всем было не по себе...

Убранство комнат очень часто заставляет нас угадывать, какие лица появятся в них. Так, кабинет с десятками трубок, с картинками вольного содержания, с соблазнительными статуэтками и с открытым скандальным романом на столе сразу рисует в нашем воображении плотного, пожилого холостяка с довольным видом, масляными глазами и слегка красноватым носом. Так кружева, розовый ат-

лас на мебели, пахучие растения, бронзовые и фарфоровые безделушки заставляют нас искать глазами кокетку, прилегшую где-нибудь на кушетке за плющом, и стоит только выско-чить откуда-нибудь слезливой шавке или предстать нашим глазам колоде карт, чтобы мы не искали хозяйку этого будуара и угада-ли вперед, что этой кокетке уже давно пере-валило за сорок лет. А бедное, сырое жилище, с ободранными обоями, поломанными сту-льями, разве не заставляет ожидать появле-ния зеленовато-бледного, изнеможенного ли-ца? Но редкие комнаты так гармонировали своей обстановкой с лицами своих обитате-лей, как гармонировала столовая Кряжова с собравшейся в ней группой людей.

Кряжов, как все профессора, занимающие-ся археологическими, филологическими или вообще историческими изысканиями, скупал разные древности и получал их в дар как от своих ученых собратий, так и от уважающих его лиц. С годами этих вещей накопилось столько, что его жилище превратилось в му-зей редкостей, и нашлась возможность не громоздить эти редкости, как нечто случайно

попавшее сюда, в беспорядочную кучу, наподобие вещей, сгроможденных в аукционной камере, а можно было рассортировать их со смыслом и вкусом по отдельным комнатам, из которых каждая имела свой характер. Столовый зал напоминал средние века и готическую архитектуру. Он был высок и мрачен; кроме большого окна, всегда полузакрытого тяжелыми темными драпри, падавшими на пол широкими складками, в нем был еще стеклянный просвет сверху. Кресла, стулья и два угольные дивана в этой комнате были массивны и сделаны из темного дуба в средневековом вкусе с остроконечными спинками. Такой же работы буфетный шкаф походил на орган старой немецкой церкви. Камин напоминал собою открытый вход в пропасть могильного, готического склепа и огонь, пылавший в этой пропасти, кажется, служил наглядным доказательством существования того ада, перед которым так трепетали в темные средние века. Несмотря на различие физиономий и лет, гармонировали с этою обстановкой и наши герои. Седой маститый патриарх Кряжов и зеленовато-бледный сухой Об-

носков казались выхваченными из средних веков и перенесенными в наше время личностями Фауста и Вагнера. Худенькое и хрупкое существо Груни, с двумя падавшими за плечами косами, несмотря на некрасивое лицо, напоминало Гретхен, а мрачный, безмолвный Панютин, продолжавший кусать ноготь большого пальца, казалось, только ждал темной ночи, чтобы улизнуть куда-инбудь в лес, либо на большую дорогу, где еще решаются ездить поздней порою неосторожные путники. Огонь, пылавший в комнате, освещал красноватым пламенем лица Кряжова и Обноскова; лица же Груни и Панютина казались еще бледнее от белого света лампы с матовым шаром. Кроме этого освещения наверху, в просвете потолка, виднелся какой-то угрюмый синевато-серый свет вечеряющего дня.

Наконец чай был допит. Обносков простился с хозяевами, горячо пожал руку Груни и ушел. Через день он уезжал за границу...

— Павел, — позвал Кряжов воспитанника. Тот подошел, молча потупив голову.

— Ты меня глубоко огорчаешь своим характером, — заговорил насколько мог строго

старик, вообще не любивший и не умевший читать наставления. — Ты еще почти дитя; люди в этом возрасте должны быть мягкими, добрыми. Если они будут злы уже с этих лет, то что же выйдет из них после? Алексей, может быть, говорил такие вещи, которые могли тебе не нравиться, но нельзя же заставить других говорить только приятное нам и сверх того... сверх того...

Старика начинало смущать упорное молчание воспитанника, он тревожно потер себе лоб рукою.

— И вот, — начал снова Кряжов, — он же подошел к тебе с ласковым словом, а ты плечом-то дернул!.. Это нехорошо! Ты уже ради того должен бы быть с ним предупредительным, что он старше тебя, что он был твоим учителем. Он всех нас любит, ты это должен помнить и не отталкивать хорошего человека...

Панютин слушал с суровою покорностью речи путавшегося старика.

— Да, да, он и тебя любит, — вмешалась Груня. — Ты слышал, он сказал: я вам добра желаю. Зачем же ты не протянул руки, зачем

продолжал дуться на него?

Молчавший в продолжение речей Кряжова Панютин теперь вдруг вспыхнул, как порох, услышав слова Груни.

— Да ты-то что за него заступаешься? — воскликнул он и бросил на нее сверкавший злобою взгляд. — Тебе-то он еще заплатит за это!..

Груня отвернулась.

— Оставь его, папа. Он сегодня не в духе, — проговорила она, обращаясь к отцу, и села к его ногам, придвинув маленькую скамейку.

Панютин, ворча что-то себе под нос, вышел из комнаты. «Лакеишки знают, что он подлец, а она не знает, — бормотал он в своей спальне, швыряя вещи. — Кухарки говорят, что он загубит ее век, а она сахарничает с ним. Все у них милые, добрые, а мне от последней судомойки житья нет!» Панютин толкнул ногою к столу первый попавшийся стул и с шумом опустился на него, облокотившись руками на стол и запустив пальцы в свои взъерошенные, косматые волосы. А в столовой, между тем, еще рассуждали отец и дочь.

— Боюсь я за Павла, — говорил в раздумье Кряжов. — И отчего это у него такой испорченный характер?

— Ничего, папа, он переменится, он умный, — утешала дочь. — Он только Алексея не любит, а ведь с нами он хорош, нас он любит...

— Любит ли, — это еще вопрос, — задумчиво промолвил Кряжов.

Груня вся зарумянилась, сама не зная почему, и почти шепотом, застенчиво, протяжно промолвила:

— Лю-бит!

Кряжов не обратил внимания на стыдливое выражение лица дочери, махнул рукою, как бы отстраняя опасения насчет судьбы воспитанника, и на другой день был по-прежнему приветлив с дорогими сердцу людьми. Груня и Панютин тоже были по-прежнему спокойны, читали вместе книги, радовались переезду в деревню и не разлучались ни на минуту друг с другом. Между ними царствовала примерная братская преданность, полная гармония, тихая нежность. Нередко Кряжов с восторгом смотрел, как из-за леса несутся

к его деревенскому дому легкий кабриолет, где сидела розовенькая от воздуха и быстрой езды Груня, не без страха прижавшаяся к своему молодому другу. У которого сверкали глаза каким-то ярким огнем дикой отваги и страсти...

— Пошли вам бог счастья, милые дети, — ласково говорил Кряжов, встречая их на балконе.

Груня звонко и без счета целовала отца, а Панютин с каким-то недетским, вызывающим улыбку выражением серьезности, крепко и мужественно пожимал руку старика, точно он был рыцарем этой девушки и хотел сказать своим ободряющим рукопожатием этому старику: «Не падай духом, старичина, я уж буду заботиться о ее счастье!»

Смесь детства и мужества, братской любви и рыцарского обожания так и сквозили во всем существе некрасивого, но страстного юноши...

VII

Драма, которую вполне поймут ее герои только впоследствии

Каждое письмо Обноскова, присылавшееся из-за границы к Кряжову, кроме отчетов об ученых новостях, содержало в себе пространные приписки с вопросами о Груне, с поклонами ей. Деловая сторона этих писем с каждым разом все более и более возвышала мнение Кряжова об Обноскове, а теплые слова о Груне заставляли профессора все сильнее и сильнее любить юного ученого. Через год после разлуки Кряжов уже не иначе называл Алексея Алексеевича, как «нашим молодым другом», и постоянно беседовал о нем с Грунею, передавая ей содержание писем и в особенности приписок в письмах «нашего молодого друга». Старику непременно хотелось, чтобы дочь разделяла его восторг перед «нашим молодым другом». Однажды, во второй год пребывания Обноскова за границей, пришло от него одио письмо, отчасти встрево-

жившее, отчасти обрадовавшее старика. Прочитав его два раза, старик бросил свои учебные занятия и долго ходил из угла в угол по своему кабинету, то потирая себе лоб рукою и ослабляя галстук, то тяжело вздыхая, то сладостно улыбаясь старческой улыбкой.

— А знаешь ли, голубка, — говорил ой вечером, лаская Груню, — что пишет нам наш молодой друг?

— Нет, папа, не знаю, — простодушно покачала головой Груня.

— Не знаешь? — плутовато подмигнул отец. — Ну-ка, угадай!

— Право, придумать не могу...

— Наш молодой друг предлагает тебе свою руку, — торжественно объявил Кряжов и сделал такие испытующие глаза, как будто он действительно мог угадать, какое впечатление произведут эти слова на его дочь.

— Мне, папа, еще рано выходить замуж, — просто ответила дочь и прибавила: — мне так хорошо жить с тобою.

— Ну, голубка, вечно со мною нельзя жить, — заметил глубокомысленно отец. — Да я и стар, и слаб становлюсь. Ты не знаешь,

а я чувствую, что мне уже недолго таскать ноги...

— Перестань, папа, что за мысли! — воскликнула дочь в волнении. — Не смей говорить о смерти! Слышишь, я не хочу этого слышать! — бросилась она целовать отца со слезами на глазах и улыбкой на губах.

— Ну, полно! — обнял ее отец. — Взволновалась ты... Ведь не сейчас же я умру. А что я стареюсь, так тут и удивляться нечему: нужно же когда-нибудь и костям дать покой... Таков закон природы, ласточка. Против него ничего не поделаешь... Да, да, голубка, а хорошо бы и мне еще внучат понянчить. Опять бы ребятишки вокруг меня завозились, ползали бы, как ты вот ползала... Славное это было время, Груня! Вспомнилось бы оно мне снова... Я чувствую, что ведь я помолодел бы; жизни мне на десять лет прибавилось бы... А то мы с тобою вот затворились совсем, детского смеха не слышим, день за день как в монастыре проводим... Это плохая жизнь. Нам оживиться надо, встрепенуться надо, чтобы около нас молодые силы кипели, чтобы твое бледненькое личико зарумянилось...

Старик оживился. Груня задумчиво слушала его и не говорила ни слова, в ее голове вертелись роковые слова отца: «Это мне на десять лет жизни прибавило бы».

— Но, может быть, ты его не любишь? — вдруг спросил Кряжов у дочери и снова взглянул на нее испытующими глазами.

— Я никого не люблю, папа, — бессознательно ответила она, не выходя из своего раздумья.

— Что это за ответ? — покачал головою отец. — Так ты и меня не любишь, не любишь и Павла?..

При последнем имени лицо Груни покрылось ярким румянцем. Ни она, ни старик не заметили этого.

— Полно, папа. Ты знаешь, что я вас всех люблю, — сказала как-то печально дочь. — Я не то хотела сказать... Я и Алексея люблю...

— Ну, вот видишь ли, ты и его любишь, а говоришь, что не любишь никого, — радостно поторопился перебить ее отец.

— Я не умею, папа, этого высказать тебе, — сделала нетерпеливый жест рукою Груня, досадуя на себя. — Но знаешь ли, я слышала...

читала в книгах... что если человек любит кого-нибудь, то ночей не спит, думая все о миллом, готов идти на край света, далеко-далеко, — показала рукой Груня куда-то вдаль, — рад душу отдать за милое существо...

— Ну, ну?

— Ну, а я об Алексее никогда так не думала...

— Это зависит от характера, от характера зависит, — заговорил отец. — Ты в меня... Мы с тобой сидни, люди с ленцой, тюфяки... Это уж натуры такие... Вот и я, — сам не знаю, как женился: не гадал, не думал и вдруг взял да и женился... А ведь я любил твою покойную мать... Право, любил!.. Славная она была женщина, добрая, честная!

Кряжов отер слезу, наворачнувшуюся на глаза, и смолк на минуту.

— Ведь вот, тебе и на балах скучно, — продолжал он, — а посмотри на других девушек, они ночей не спят, плачут, если им не удастся в собрании поплясать...

— Что ты это выдумал, — задумчиво улыбнулась Груня. — Кто же это станет мучиться из-за бала?

— Кто? Все, решительно все девушки, за исключением тебя, — утверждал отец. — Им все прыгать хочется, болтать хочется, наряжаться хочется, — ну, а ты этого не любишь, потому что у тебя не такая подвижная натура... Ты более сосредоточенна, внутреннею жизнью живешь... Вот почему ты, голубка, ни о ком и не мечтаешь так страстно, не чувствуешь возможности уйти за кем-нибудь на край света.

— Кроме родных, кроме родных! — поспешила перебить Груня.

— Ну, голубка, и родные-то все твои — один я, — заметил отец.

— А Павел? — воскликнула девушка почти с негодованием на отца за то, что он забыл эту личность. — Ты не считаешь Павла родным?.. Но ведь я и за него, как за тебя, готова умереть, — да, да, умереть готова! — воскликнула она, и ее лицо снова запылало румянцем.

— Ну, конечно, конечно, добрая заступница! Ты знаешь, что я и сержусь на него, браню его, а не могу не любить его... Он мой приемный сын, твой брат... Я сам, может быть, ме-

нее любил бы тебя, если б ты не чувствовала привязанности к такому близкому нам обоим человеку... Жить вместе долгие годы, жить неразлучаясь, и не любить человека могут только черствые, недостойные уважения сердца... Ты, моя ласточка, не такова!..

Груня молчала и не начинала прерванного разговора об Обноскове. Отец вздохнул, видя ее потупленное, грустное лицо.

— Впрочем, голубка, ты не печалься, — заговорил он. — Я тебе не навязываю мужа насильно... Сохрани меня бог!.. Не выходи за Алексея, не выходи ни за кого, если не хочешь. Ты знаешь, ты мне не в тягость. Я не расстался бы с тобой, если бы ты и замуж вышла. Мы виделись бы каждый день... Да, да, непременно каждый день... Мы вместе бы нянчили детей, вместе бы радовались на их игры... Но не хочешь идти замуж, — не выходи! Проживем и так! Что же, ведь мне не привыкать стать жить в могиле своего кабинета, гнуть горб над книгами, не слышать юной зарождающейся жизни... Ведь и в прошлом только ты одна оживляла мой угол, развлекала меня детским лепетом во время отдыха, —

тогда у меня был сплошной отдых, я не чувствовал, что у меня идет работа, я не уставал... Да, прошло это время, и не вернуть его!.. Будем жить мирно, тихо тянуть день за днем, стариться и ждать могилы...

Груня молчала, опустив голову на грудь. По ее щекам струились одинокие слезинки.

— Ради бога, не печалься, — утешал ее опять отец, не замечая, что надрывал ей сердце. — Я не ропщу. Я спокоен. Видишь, я спокоен. Авось еще проживу, авось еще не скоро покину тебя. Ведь собственно обо мне и заботиться нечего. Моя жизнь прожита. Страшно мне только за тебя, как ты останешься одна после моей смерти никому не нужною девушкой!.. Ведь у тебя почти никого и знакомых-то нет... Да, надо тебе сближаться со светом, надо выезжать, рассеиваться... После будет поздно заводить знакомства, а без знакомых жить нельзя девушке-сироте.

— Папа, если бы я вышла за Алексея, — ты был бы счастлив? — задумчиво спросила дочь каким-то надорванным голосом.

— Дитя мое, зачем ты спрашиваешь? Я только тогда был бы счастлив, когда ты была

бы счастлива...

— Ну, а ты думаешь, что я была бы счастлива с ним?

— Дитя мое, если ты его не любишь, то, разумеется, ты не будешь с ним счастлива... Но я вообще говорю о замужестве.

— Я еще никого не люблю из посторонних мужчин...

— Ну, значит, и оставим этот разговор, и оставим, будто его не было, — тяжело вздохнул отец.

Непривычное волнение утомило старика, и он ослабел. В его обрюзгшем лице было заметно какое-то болезненное выражение усталости. Это не ускользнуло от внимания дочери. Она поцеловала отца на прощанье перед сном. Ей показалось, что его поцелуй был холоден, — только показалось, но уже одно это могло доставить этому странному ребенку несколько часов бессонницы. Уединенная жизнь, ненормальное воспитание успели расстроить ее нервы и развить воображение. Кряжов же прошел в свой кабинет и заходил из угла в угол. Вспомнились ему светлые годы детства дочери. Вспоминалась кроткая фигу-

ра Алексея Обноскова и тут же промелькнули лица разных виденных им молодых хлыщей и фатов. Начались размышления о том, кто может скорее составить счастье его дочери, — эти ли блестящие, но пустые господа, или скромный, усидчивый, трудолюбивый домосед Обносков? Показалось старику, что этот человек напоминает его самого, Кряжова. И вот пошли думы о том, был ли он сам хорошим мужем. Совесть не подсказывала и не могла подсказать в этом случае ни одного упрека, напротив того, перед стариком ожила картина смерти его жены и послышались ему снова последние слова этой женщины: «Ты был счастьем моей жизни!» Незабвенные, дорогие слова. Их повторила бы, может быть, и Груня, если бы она была женою Обноскова. Ведь и Груня любит только семейное затишье, ведь и она не будет счастлива с мужем-модником, гулякой, бальной куклой. А только таких мужей можно найти на всяком перекрестке. Обносковы редки... Так думал старик. Часы били двенадцать, час, два, три, шесть, а он все ходил и ходил по комнате. Наконец, он на что-то решился и сел писать от-

каз Обноскову. Взял бумагу, обмакнул перо в чернила и остановился...

— Бедный наш молодой друг, за что я тебя-то обижу резким отказом? — почти со слезами на глазах вздохнул старик. — Нет, подожду, подготовлю тебя к горькой новости... и если бы ты хоть меньше любил ее, меньше бы думал о ней! Все было бы легче... Эх, молодость, сколько ты горя приносишь и себе, и другим!..

И Кряжов стал писать Обноскову, что он еще не говорил дочери о его предложении, что он не хочет вдруг превратить ее из ребенка в невесту, что он ее подготовит к этой новости, что, может быть, и будет успех, хотя он, Кряжов, и не может ничего утверждать наверное, даже и предположений не решается делать, чтобы не обмануться, так как ведь все может случиться, все, — даже отказ... А день, между тем, занялся. Старик вечно проводил дни в спокойном сиденьи за книгами, а эту ночь он не спал и проходил в тревоге по комнате. Это отразилось на его физиономии. Дочь чуть не вскрикнула, увидав его обвисшее, тусклое лицо.

«Это начало смерти!» — промелькнуло в ее до болезненности впечатлительном уме, и орать ей вспомнились роковые слова отца; «Это мне на десять лет жизни прибавило бы».

От внимания отца тоже не ускользнуло, что дочь встревожена, и он удвоил свою нежность к ней. В этой нежности был какой-то грустный оттенок; казалось, старик спешил наглядеться в последние минуты жизни на свое обожаемое дитя. И вид старика-отца, и его ласки отозвались острою болью в сердце Груни. Она поспешила уйти в свою комнату, чтобы обдумать, обсудить все. Занятия отца шли плохо, и он раза три проходил по комнатам, надеясь встретить дочь. Но она не выходила из своей комнаты. Ему начало казаться, что Груня сердится и имеет право сердиться на него. Настал час обеда. Отец и дочь встретились в столовой.

— Маточка, ты не сердись на меня, — ласково и почти боязливо промолвил отец. — Забудь весь наш разговор и будем жить по-старому...

«А! значит, он все об этом думает!» — мелькнуло в голове дочери.

— Папа, папа, дай мне время подумать! — воскликнула она и расплакалась не на шутку.

— Полно, дитя, милая, — уговаривал отец, а у самого радостно билось сердце от обещания дочери «подумать» о замужестве.

Это слово подавало надежду.

С этого дня вопрос был почти решен: отец свободно хвалил Обноскова, чтобы задобрить в его пользу дочь и достигнуть исполнения взлелеянного им плана; дочь признавала необходимость жертвы и даже уверяла себя, что она ничем не жертвует, так как Обносков ей не гадок, а, напротив того, милее всех, решительно всех остальных посторонних мужчин, в число которых не входили только ее отец да Павел Панютин. Действительно, лучшей партии было трудно найти. Выходя замуж за Обноскова, Груня могла быть уверена, что ее прежний образ жизни не изменится. Будет в доме мужа то же затишье, то же спокойствие, будут там появляться те же лица, которые появлялись в доме ее отца, изредка, по-прежнему, они будут ездить в театр, читать какие-нибудь хорошие книги и безмятежно наслаждаться спокойствием и миром. Только

одно отчасти пугало Груню — это слабое здоровье Обноскова. Но и тут она давала себе роль спасительницы и была уверена, что ее заботы и ее любовь сделают ее будущего мужа и здоровым, и бодрым. Это казалось ей тем более возможным, что ее отец говорил, как и он в молодости был и слаб, и болезнен и стал здоровяком только на тридцатом году. Правда, ее любовь к Обноскову не была страстным чувством, но это была какая-то тихая, немного грустная приязнь. Груня, худенькая, бледная, с немного морщинистым лбом, как это бывает у болезненных детей, с большими, как-то вопросительно смотревшими, словно недоумевающими, глазами, была вполне ребенком, несмотря на свои лета. Ее развитие состояло только в кроткой любви, в понимании чужих страданий, которых ей приходилось видеть очень немного; но если бы ее оставить одну, без посторонней помощи и наставлений, то она, верно, не нашла бы себе исхода, не принялась бы ни за какое дело, и просто стала бы плакать и искать того доброго спасителя, под чье греющее крыло можно было бы приютиться ей, пугливой

птичке. Жизнь за воротами ее дома представлялась ей точно такой же, какая шла в этом доме; разницу между своей и чужой жизнью она видела только в том, что у нее есть средства к такой мирной жизни, а другим приходится добывать средства к этой мирной жизни. Значит, главное различие было в количестве труда или денег. Это самостоятельно сложившееся понимание чужой жизни заставляло Груню при возможности помогать первому бедняку, просящему помощи, чтобы дать ему возможность наслаждаться таким же миром, каким наслаждалась она. Этот взгляд еще более укрепился в ней после нескольких уроков истории, прочитанных ей Обносковым. Она слышала от него, как такой-то народ наслаждался счастьем под властью такого-то короля; как потом, под конец царствования этого короля, губительные войны разорили народ, и он стал несчастлив. Но новый король, вступив на престол, заключил мир, довел финансы до цветущего состояния, и народ снова стал счастливым, покуда, под конец царствования этого короля, не началась снова губительная война. Эти губительные войны в

жизни народов казались Груне чем-то вроде болезней, смущающих иногда спокойствие семьи, и она понимала, что если болезнь кончится, то семейный кружок будет еще счастливее, еще теснее сомкнутся между собою его члены. Множество вопросов возникало в ее головке по поводу разных известий, прочитанных в газетах, по поводу разных слухов, доходивших до нее. То она слышала про убийцу, убившего несколько человек, и ей казалось, что этот человек вел бы всегда свою мирную жизнь, если бы у него были деньги или труд, и, несмотря на свое добродушие, она жалела не убитых, а этого преступника. Иногда до нее доходили слухи, что муж кухарки, живущей в их доме, бьет свою жену, и ей казалось, что он делает это именно потому, что у них нет столько денег, чтобы жить вместе, а не служить по разным домам. Целый мир создан был Грунею, и неизвестно, насколько обитатели этого мира походили на Ванек и Анюток, мозолящих ноги на улицах больших городов и деревень, или на Пьеров и Жаннет, красующихся среди босоногой черни в своих бобрах и брюссельских кружевах. Гру-

ня была уверена, что она не ошибается, так как она на своем веку видела тоже немало людей. У разных родственников она видела кузин и кузенов, танцующих во время бала; видела горничных, приветливо и с искреннею любовью целующих ей руку; видела, как ее двоюродные тетушки заботливо составляют разные благотворительные общества и устраивают для бедных лотереи. На театре, правда, она видела иногда и злодеев, но когда опускался занавес, театр потрясали рукоплескания, то она видела, как вызванный публикой злодей превращался в улыбающегося и расшаркивающегося актера, прижимающего руку к своему сердцу в знак любви и благодарности к поощряющим его ближним, и Груня улыбалась, тяжелое впечатление, оставленное пьесой, исчезало, как сон. И потом, ночью, ей снилось, что злодеев нет в жизни, что злодеев только «играют» люди, добрые люди, похожие на ее старую няню, которая иногда так страшно басила, если приходилось в сказке говорить за бабу-Ягу. «Поваляются, покатаются на Ивашкиных косточках!» — чудится Груне в полусне баяющий голос бабы-Яги, и

Груня дрожит от страха, жметесь к няне, а няня смеется так добродушно, по-детски или, лучше сказать, по-старчески смеется и тихо начинает баюкать Груню... Да! да! это не баба-Яга, а няня, добрая няня...

Такое просто сложившееся существо, как Груню, понимали все и звали ее птичкой-певуньей, невинным ребенком, мягким воском. Но никому и в голову не приходило, что если птичка поет, то она хочет, чтобы и все пело вокруг нее, чтобы и солнце светило над нею, чтобы и цветы цвели во всем мире; никто не думал, что невинный ребенок не вынесет без волнения чужих слез, хотя бы их проливал злодей, и скажет: «Надо помочь этому человеку: он плачет, значит, он несчастный». Никто не угадывал, что мягкий воск может отвердеть среди холодности и примет какую угодно форму под влиянием различных давлений со стороны...

К концу недели, решившей участь Груни, Кряжов повеселел: Груня дала свое согласие на предложение Обноскова... Настала суббота. Вечером пришел из гимназии Панютин. Они пили чай в столовой. Кряжов был весел,

шутил, Груня, по большей части, молчала. Настала наконец пора идти спать.

— Останься здесь, — шепнула Груня Панютину.

Кряжов простился с «детьми» и ушел в свой кабинет. Груня проводила его и вернулась в столовую. В доме уже спали. Отворив дверь, Груня приостановилась на пороге, полужакрытая массивною темною портьерой. В полумраке большой комнаты Панютин едва был виден в глубине большого кресла Кряжова. Он задумчиво смотрел на огонь, облокотясь на ручку кресла и опустив на ладонь голову. Его некрасивое, но мужественное лицо было по обыкновению сурово и только едва можно было уловить в этой суровости оттенок грусти. На этой физиономии остались следы всего испытанного в жизни юношей. Грубость и боль от побоев в людской, где он провел первые годы своего существования; тоска однообразного безлюдного затишья в доме Кряжова; озлобление на тайные для всех нападки и щипки прислуги Кряжовых; злопамятное негодование на несправедливости учителей, все это не прошло бесследно

над этой страстной и привыкшей к несообщительности натурой. Груня не переступала порога и, казалось, боялась начать задуманное ею самое объяснение. Наконец, должно быть соскучившись ждать, Панютин поднялся с места. Это заставило Груню войти.

— А, это ты, — промолвил он и пожал ее руку. Они сели у камина. Бог знает почему, ни ей, ни ему не хотелось начинать разговора. Минуты проходили за минутами, и тишина не нарушалась.

— Холодно здесь, — вздрогнула Груня, прерывая тяжелое молчание.

— Такой уж проклятый дом, — угрюмо проговорил Панютин.

Груня, зная, что Павел не любит их старого дома, ничего не возразила и плотнее закуталась в платок. Через несколько минут Панютин встал, придвинул скамейку к креслу Груни и сел у ее ног. Он взял ее руки, начал их греть своими руками и потом прижал к ним губы.

— Меня отец замуж выдает, — проговорила она, не глядя на Панютина.

— Что? — спросил он быстро и выпустил

ее руки.

— Меня отец замуж выдает за Алексея, — повторила она новость.

— Что ты это дразнить меня вздумала, что ли! — вскочил он с места и встал во весь рост перед нею.

— Дразнить?.. Тебя?.. Что это тебе пришло в голову, Павел? — просто спросила Груня и подняла на него глаза: он был бледен, как полотно.

— Дурак! старый дурак! — проворчал он и зашагал по комнате.

Шаги глухо отдавались в ночном затишьи.

— Зачем ты бранишь отца! — упрекнула Груня.

— Погубят они тебя, совсем погубят! — воскликнул он, ходя по комнате и сжимая руки, так что было слышно, как хрустели пальцы. — И зачем ты идешь замуж, зачем соглашаешься!

— Отца убил бы мой отказ...

— Ну, так что ж? ну, так что ж? — строптиво спрашивал он, останавливаясь перед нею и смотря ей прямо в глаза. — А если ты погибнешь, это ничего?.. Молодая, хорошая, и по-

гибнешь! — вдруг бросился он к ней и обвил ее рукою, присев на край широкого кресла. В его голосе слышалось и страстное чувство и рыдания. — Не выходи, любимая, не выходи за него... Ни за кого не выходи, — уже шепотом окончил он.

Груне было как-то страшно то странное чувство, которым было полно впервые в эту минуту все существо Павла, но она чувствовала, что ей хорошо, отрадно сознавать близость этого энергичного человека, слышать его пламенные отрывистые восклицания, видеть эти сверкающие и гневом, и любовью глаза. Ее лицо горело, ей хотелось прижаться к губам этого юноши, покрыть поцелуями это лицо, и в первый раз в жизни ей было стыдно поцеловать этого друга детства, этого названного брата, которого она целовала так же, как и своего отца, при каждой встрече, при каждом прощанье, наедине и при всех. Точно так же новы были для Павла испытываемые им чувства. Он как будто опьянел; казалось, у него кто-то отнимает лучшую часть его существования, казалось, какой-то молот разбивает его сердце и все его надежды. Но какие же

надежды разбивались у него? В чем заключалась его потеря? Ведь Груня не умрет, Груня будет по-прежнему его сестрою, по-прежнему будет обнимать его при встрече... Он сознавал все это, и все-таки его сердце и бушевало, и ныло.

— Если он сделает тебя несчастною, если я когда-нибудь замечу твои слезы или ты скажешь, что он заедает твою жизнь, я убью его, — шептал Павел, сжимая одной рукой талью Груни.

Огонь в камине давно уже погас, лампа едва горела. В неприветливой, мрачной комнате было темнее и холоднее обыкновенного. Груня жалась к Павлу, дрожа от холода и какого-то непонятного страха.

— Да будет проклята эта комната, — угрюмо произнес он, и эти слова мрачно зазвучали и как будто повторились в затишье большого покоя. — Здесь впервые мне сказали, что я нищий, подобранный в навозной яме; здесь от меня закрывали действительную жизнь этими архивными лохмотьями, архивным хламом и архивным сонливым добродушием, добродушием сытости; здесь мне отда-

ли в сестры тебя, заперли меня в одну клетку с тобою, оставили мое сердце прирастать к твоему существу и здесь же оторвали, с кровью оторвали тебя от этого сердца.

Павел, неслышно рыдая, закрыл глаза руками и опустился на колени перед Груней... Вся в слезах, взволнованная, растерявшаяся, рассталась она с своим названным братом, едва смея, боясь угадывать и его, и свои настоящие чувства.

— Ведь он мой брат, ведь он еще дитя, — шептала она, забывая, что это дитя было только несколькими месяцами моложе ее. — Какие скверные, у меня мысли. Ведь это грех нам так любить друг друга, — размышляла Груня.

Устроив свои дела по приезде в Петербург, Обносков женился. Решено было, что «молодые» будут покуда жить у Кряжова, который ради этого события не поехал в деревню, а нанял дачу в окрестностях Петербурга; после юная чета должна была переехать на новую квартиру вместе с матерью Обноскова. Расцеловав Груню, назвав ее тысячу раз ангелочком и душечкой, Марья Ивановна продолжа-

ла гостить у больного родственника и почти не заглядывала даже на Выборгскую сторону, где ее жильцы отдыхали в отсутствие хозяйки. Обносков тоже очень часто проводил время у постели дяди и возвращался к Кряжовым скорее как друг дома, чем как член семьи. Старая жизнь шла по-старому. Все не чувствовали никакой особенной перемены и успокоились, только старик ех-профессор сердился на своего Павла за то, что тот упорно отказался приехать на свадьбу Груни и остался в деревне, куда он уехал вскоре после возвращения Обноскова из-за границы. Иногда старик говорил, что Павел совсем от рук отбился; порой толковал Груне, что неприезд Павла на свадьбу ясно показал, как мало любит их Павел; подчас намекал на то, что вот Павел «других» (под этим словом подразумевался, вероятно, Обносков) упрекал за дурной характер, а сам-то оказался злопамятнее всех (тут, вероятно, был намек на ссору Павла с Обносковым). При всех этих рассуждениях Груня только бледнела и иногда, нахмутив брови, замечала старику, если они были вдвоем:

— Папа, за что ты стал нынче нападать на

Павла?

— Ну, голубка, разве я нападаю? — смутился старик, как пойманный школьник. — Ведь ты знаешь, что я только тебя одну люблю больше, чем его. Мне просто обидно... что он нас бросил в такое время... А любить — я его люблю по-прежнему...

И между тем старик продолжал раздражаться при воспоминаниях о Павле; казалось, что ему непременно нужно, чтобы именно Павел признал и достоинства Обноскова, и возможность счастья в новой жизни как для новобрачных, так и для самого Кряжова. И эти достоинства, и эта возможность счастья признавались всеми, и, кажется, никакого значения не могло иметь отсутствие одного человека среди жарких поцелуев этой вечно льстивой, вечно благодушествующей на чужих пирах толпы гостей, пророчащих блестящее будущее «молодым» и изливающимся в восторгах от красоты невесты и душевных добродетелей жениха. Между тем из всей этой массы народа тревожил семью один этот человек: он был той мрачной тучей на ясном небе, которая одна отравляет про-

гулку веселого общества, заставляя всех торопиться домой до начала грозы; он был единственным сомневающимся в массе верующих и выражением недоверия на своем лице смущал их благоговейные чувства, как живое доказательство возможности неверия.

VIII

Смерть старого Обноскова

Евграфу Александровичу становилось между тем заметно хуже. Однажды вечером, прощаясь с сыном на ночь, он успел украдкой шепнуть ему, чтобы сын пришел к нему в комнату утром в шесть часов и разбудил бы его, если он будет еще спать. Заботливые сестры, несмотря на свое усердное ухаживанье за больным, не заметили этого перешептыванья. Сын не спал почти всю ночь. Дня за четыре или за пять доктор сказал Матвею Ильичу, что больной не проживет и недели. Матвей Ильич сообщил об этом своему любимцу молодому барину, и оба дали об этом знать в Варшаву. Теперь юноше почему-то казалось, что отец непременно умрет завтра, и его мучила мысль, что мать не успеет приехать в Петербург вовремя. Ясное осеннее утро бросало свои лучи в комнату, где помещался Петр Евграфович, когда он взглянул на часы и начал торопливо одеваться. На цыпочках вошел он в комнату отца и подошел к постели. Боль-

ной не спал. Он страшно быстро изменялся в последние дни и был крайне слаб, хотя старался более, чем когда-нибудь, быть бодрым и все толковал о скором своем выздоровлении.

— А, это ты, дитя, — ласково произнес он едва слышным голосом. — Садись... Вот так, ближе ко мне, — говорил он, лаская сына. — Вот мы и одни, — с детски-плутоватою улыбкою промолвил он, точно желая этим высказать, что они успели-таки перехитрить своих надзирательниц.

— Как тебе кажется, любит ли тебя Алексей? — спросил больной.

— Я... я, право, не знаю, — смешался сын.

— Не знаешь? — задумался больной. — Значит, не любит?

— Папа, я не могу этого сказать, — торопливо заметил сын. — Он просто не говорил еще со мною.

Больной промолчал.

— Я это знал... должен был знать, — произнес он, как бы рассуждая с самим собою. — Значит, я умно распорядился. Видишь ли, мне надо сообщить тебе одно важное дело... Возьми ключ, отомкни ящик моего стола и до-

стань там пакет, на котором написан адрес твоей матери.

Сын повиновался и достал пакет.

— Передай это письмо матери, когда я умру, — сказал отец. — Я хотел сперва иначе распорядиться, но пришлось сделать так... Знаешь ли, когда написана бумага, лежащая в этом пакете? А?.. Пять лет тому назад... Мать это помнит... Я был тогда тоже болен... Но она не взяла в то время этого пакета...

— Отец, — начал сын дрожащим голосом, — зачем ты не позволяешь написать матери о твоём положении?

Больной испугался.

— Что ты! что ты, дитя! — воскликнул он. — Ты сам видишь, каково здесь смотрят на тебя... Тебя готовы унижать, готовы выгнать... Вообрази, что то же пришлось бы терпеть и матери. Ещё больше пришлось бы ей терпеть... За что же заставляешь её страдать из-за меня?

— А ты думаешь, ей легче не видеть тебя, не знать истины, приехать сюда, когда будет поздно? — спросил сын и смутился, сказав последние слова. — Или ты, папа, все еще не ве-

ришь, что мы тебя больше всего, больше всего на свете любим!

— Ох, господи! — заметался больной. — Не верю! Я-то не верю!.. Да разве можно это говорить?.. Я просто сам такой слабый, ничтожный человек, что не могу... не могу понять, как бы я вынес на ее месте все то, что ждет ее здесь... Я не верю, не могу понять, что человек ради любви в силах перенести все... Ведь я иногда боюсь.

Больной вдруг остановился, и его взгляд принял какое-то отупевшее выражение. Сын испугался, хотя подобные внезапные перерывы умственной деятельности больного и повторялись нередко в последние дни.

— А? — вдруг спросил отец после тяжелого молчания. — Что ты сказал?

— Ничего, папа.

— Да, да, — потер больной свой лоб, вспоминая прерванный разговор. — Я вот, кажется, говорил, что я боюсь иногда, что ты, юноша, не вынесешь обращения с тобою моих родных... убежишь...

— Полно, отец! — сказал с упреком сын. — Что за странная мысль.

Через минуту он припал своим зарумянившимся лицом к груди отца.

— Я, папа, уже писал ей обо всем, — шепотом произнес он.

— Ну? ну? — насторожил уши отец.

На его лице выразались страх и надежда.

— И она приедет завтра или... или сегодня, — кончил сын, знавший, что мать придет именно в этот едва начинавшийся день.

Отец захватил обеими слабыми руками его голову и покрыл ее поцелуями. Он и смеялся, и плакал, как дитя.

— Ты большой, ты умный, — бормотал он, стараясь шутить сквозь слезы. — Отец из ума выжил... Сын теперь всем распоряжается... знает, что отцу нужно. А то весь век отца под опекой держали... а он молчал... Под опекой!.. — больной закашлял.

В это время в соседней комнате послышались торопливые, но осторожные шаги. Их едва можно было расслышать. Так вот кошки к своей добыче крадутся.

— Спрячь... спрячь... пакет спрячь! — тревожно и испуганно засуетился больной, продолжая кашлять. — Никто не должен знать!..

После смерти отдай... Никто...

Дверь в комнату тихо отворилась, и в нее просунулось озабоченное и улыбающееся заискивающей, сладкой улыбкой лицо Ольги Александровны. При виде юноши, сидящего на постели брата, сестра вытянула свое лицо до безобразия, и в ее глазах выразилось что-то похожее на вопрос: что же это такое значит? Ее подслеповатые, золотушные глаза заморгали от испуга и удивления.

— А вот мы с Петей беседуем, — усмехнулся брат, стараясь придать своему голосу выражение невинности.

— Что же это вы так рано его подняли? Братцу сон нужен, — заметила Ольга Александровна юноше с упреком.

— Нет... я по... позвонил... он и пришел, — поспешил солгать брат. — Я давно не сплю... так соскучился.

— Ах, боже мой, как же это я не слыхала? Вы звонили? Ах, господи, вот уж захочет бог наказать, так сон найдет! — ужасалась сестра и бросила зловещий взгляд на юношу, но он совершенно спокойно продолжал сидеть на постели отца и, кажется, был бы рад, стал бы

гордиться, если бы ему пришлось долго-долго сидеть подле этого слабого, бесхарактерного старика и чувствовать, что он служит утешением и защитой для этой угасающей жизни. Как мелки и пошлы начинали казаться ему все эти своекорыстные люди, а в его душе шевелилось сознание, что истинно счастлив и достоин зависти только тот, кто мог в своей жизни сказать: «Мне удалось озарить блаженством жизнь хотя одного человека в мире!» Вот честная гордость, вот никогда не забываемое наслаждение человеческой души. Прощумит гул вызванных нами рукоплесканий, и сменится он новыми, обидными для нашего мелкого самолюбия, хвалебными криками в честь другого, опередившего нас героя минуты; кончатся наши веселые пиры юношеских лет, и оставят они в наследство одни болезни, да зависть к тем, еще здоровым людям, которые еще могут пировать; окончатся опьяняющие нас победы над врагами, и останутся нам в память о них наводящие грусть и, может быть, вызывающие раскаяние вражеские могилы, но минуты, когда мы были нужнее хлеба человеку, когда мы одни во всем

мире заставляли его забывать все страдания, когда мы создавали, наперекор всем людям и самой судьбе, его счастье, которого не могла отнять никакая сила, эти минуты будут для нас вечной отрадой, вечным источником силы к жизни. Вот что сознавал этот юноша и чувствовал все это так, как можно чувствовать что-нибудь только в невозвратные дни светлой восторженной молодости.

Праздничное чувство счастья наполняло в этот день все его существо. Он не замечал никаких колкостей, щедро расточавшихся на его счет со стороны хозяек дома. Он не замечал холодности Алексея Алексеевича Обноскова, и только каждый звонок в передней заставлял его вздрагивать и заглядывать в прихожую, чтобы узнать, кто приехал. Это необычайно тревожное состояние мальчика и самого больного, постоянно посылавшего своего сына посмотреть, не приехал ли кто-нибудь, не ускользнуло от внимания заботливых хозяек, и они встревожились не на шутку. Им представилось, что братцу очень худо и что братец дал какое-то поручение сыну. Но какое? Этого не могли они угадать и только с

ужасом говорили мысленно: «Господи, не вздумал ли он написать духовную!» Это предположение переходило почти в уверенность, и сестры, крестясь и бросая молящие взоры на образ спасителя, шептали пламенную молитву: «Не попусти, господи, его сделать это дело. Отврати от него эти мысли». За этою молитвою следовало восклицание: «Уж лучше пусть он умрет прежде, чем исполнит это несправедливое дело!»

Они с нетерпением ждали доктора. Наконец доктор явился.

Поминутно отирая глаза и слезливо сморкаясь, окружили доктора две сестры и мать Алексея Алексеевича Обноскова и пустились в расспросы о положении братца. Доктор был человек мягкий и не мог без волнения видеть слез женщин.

— Ничего, ничего, — говорил он, — ваш брат слаб, очень слаб, но, бог даст, он поправится... Вы не отчаивайтесь, не расстраивайте себя... Все зависит от бога.

— Господи, нас убьет, убьет его смерть! — плакали сестры. — Ведь мы всё с ним теряем, доктор!.. Единственного защитника и покро-

вителя теряем...

— Берегите себя, ради бога, берегите, — успокаивал их доктор. — Вам надо теперь сохранять присутствие духа, крепиться...

В волнении вышел он от них и подозвал к себе Петра Евграфовича.

— Вы здесь гостите, — начал доктор, — значит, вы можете понемногу подготовить несчастных сестер больного к ожидающей их потере. У меня нет сил высказать им правду... Они такие любящие, слабые создания. Вы, как посторонний человек, как мужчина, разумеется, хладнокровно перенесете, если что-нибудь случится.

— Разве моему... разве ему, — растерялся юноша, — так худо?

— Разумеется, он едва ли проживет до вечера, — проговорил доктор и удивился, что мальчик зарыдал. — Помилуйте, что с вами? Не стыдно ли быть таким слабым? Вы мужчина, — говорил доктор, почти сердясь. — Что ж остается делать этим бедным созданиям, теряющим в брате все свое счастье, если посторонние теряют голову? Это нехорошо. Вы должны быть тверды. Еще в студенты готови-

тесь, а плачете, как баба! Нашему брату надо поддерживать слабых женщин, а не рюмить...

Доктор, раздраженный слабостью Петра Евграфовича, ушел. Нетерпению юноши теперь не было границ. День был осенний, яркий, солнце освещало все комнаты золотым светом своих лучей. В растворенные окна залы плыл свежий воздух, уничтожавший запах лекарств, которым была пропитана квартира. Юноша долго стоял у окна и все ждал. Каждый звук колес заставлял сильнее биться его сердце. Наконец, к подъезду подъехала наемная коляска. В ней сидела черноволосая женщина, лет тридцати семи, довольно стройная, моложавая и красивая собой. Тип лица был характерный, не русский. Она с озабоченным видом взглянула на окна дома и вдруг улыбнулась радостной улыбкой, увидав юношу. Он послал ей рукою поцелуй и бросился к дверям передней, потом с быстротою молнии переменял намерение и побежал к больному. Несмотря на все его старания, он не мог войти тихо в эту комнату, не мог сохранить спокойного выражения на своем ли-

це; оно было взволновано, его ноги дрожали. Больной торопливо приподнялся на локте в своей постели и, почти задыхаясь, крикнул сыну:

— Веди, веди ее сюда! — ив изнеможении опустил на подушку.

Сын исчез. Обнимая мать и целуя ей то руку, то щеку, вел он ее в кабинет отца, спрашивал ее о здоровье, объяснял, что он кончил экзамены, говорил, что отцу лучше. Это был какой-то хаос отрывочных мыслей, восклицаний, торопливого выражения заботливости, радости и счастья. Они вошли в комнату Евграфа Александровича. При их неожиданном появлении из груди двух сестер и Марьи Ивановны вырвалось только единодушное:

— Ах!

В этом восклицании послышался ужас. Три женщины вскочили с мест и, как бы окаменев, устремили неподвижные глаза на неожиданную гостью. Она не обратила внимания на эту немую, но красноречивую сцену.

— Милый, милый! — целовала она через минуту больного человека. — Не стыдно ли

хворать и не написать даже о болезни?

— Да я... я поправляюсь, — шептал больной. — Я совсем здоров... слабость только... Право, только слабость... Ну, а что дети?.. Таня выросла, поправилась?.. Любимая, дай руку... Вот так... Да тебе неловко, может быть?.. Ну, вот я теперь и дома, и здоров...

— Братец, не говорите так много, вам вредно, — подбежала Ольга Александровна с умоляющим взглядом.

Она уже вышла из оцепенения и усиленно моргала глазами.

— Оставьте нас одних с женою, — обернул больной голову к сестрам. — Слышите?

В его голосе звучали строгость и решительность. В присутствии этой любимой женщины он постоянно овладевал собою и был тверд.

— Братец, вам может что-нибудь понадобится, — начали сестры.

— Оставьте меня с женою... оставьте меня с сыном!.. — настойчиво повторил больной.

— Но они не знают... если что-нибудь понадобится, — попробовали возразить сестры, указав на Стефанию Высоцкую.

— Я вам выйти приказываю, — почти крикнул больной.

Сестры и мать Обноскова вышли с глубокими вздохами и покорностью угнетенных мучениц. В комнате больного начались живые разговоры, но он сам заметно ослабел после необычайного напряжения сил. Он больше слушал, чем говорил, и только улыбался, да притягивал к губам руку жены.

— Вот мы и в своей семье, дома, — рассмеялся он через несколько времени детским смехом, но улыбка его вышла какая-то странная, губы как-то сухо растянулись около зубов. — Бог с ними... сестрами... Не обращайтесь на них внимания... На случай смерти...

— Не станем, милый, говорить о смерти, теперь жить надо, — прервала его жена.

— Жить надо... жить надо! — машинально повторил больной. — Я и жи-ву... жи-ву вполне...

Он помолчал довольно долгое время, находясь в забытьи и слегка как бы бессознательно покашливая...

— Вот жена... вот сын... благослови вас бог!.. — голос больного был тверд и ясен, но сло-

ва выходили из груди с расстановкою, медленно. В звуках было что-то сухое, резкое. Лицо его сохраняло еще выражение счастья и спокойствия, но приняло какой-то матовый, землянистый оттенок. В горле слышалась легкая хрипота, и глаза неподвижно глядели куда-то вдаль, точно им не составляла преграды противоположная стена. Через несколько минут грудь больного высоко приподнялась и, сделав гримасу верхней губой как бы от непосильного напряжения, он вытянулся, словно желая поправиться и принять более удобное положение. А его глаза все по-прежнему продолжали смотреть куда-то в неизвестную даль. Мать и сын переглянулись в испуге. Сын чувствовал, как начинала холодеть в его руке рука отца. Мать сделала движение; сын приложил палец к своим губам и тихо прошептал:

— Тсс!

В комнате можно было расслышать малейший шум. Тишина была полная. Опустив на грудь голову, сидела на постели стройная, еще прекрасная женщина с неподвижным, полным скорби лицом. Около нее стоял с по-

никшей головой задумавшийся юноша, и перед ними лежало холодное, успокоившееся навсегда человеческое существо. Сквозь белые опущенные шторы пробивался беловатый блеск яркого дня и играл по стенам комнаты какими-то бесформенными, смутными и неуловимыми пятнами света и тени. Минуты шли за минутами, и маятник столовых часов, словно сознавая, что он остался единственным живым существом в этой комнате, стучал громче обыкновенного, отчетливо и громко выбивая свое тик-так.

— Не надо ли чего братцу? — смутила это затишье своим ехидно-вкрадчивым вопросом Ольга Александровна, просунув в двери свое желтоватое, золотушное лицо и делая томные, чарующие глазки.

— Ему... ему больше ничего не надо! — воскликнула, поднимаясь с места, Стефания Высоцкая и зарыдала.

Слезы уже давно сдавливали ее грудь, теперь они хлынули при первом произнесенном ею слове.

— Матушка, матушка, не плачьте, — проговорил сын, едва сдерживая свои собственные

рыдания, а у самого по щекам так и лились крупные, горячие слезы. — Проститесь с ним и пойдите.

— Братец, братец! — крикнули сестры и Марья Ивановна.

— Братец, голубчик, кормилец наш, пробудися! — тормошили они на постели застывающий труп, и было что-то страшное в его угловатых движениях.

— Вы, вы его убили! Губители! Убийцы! — пронзительно взвизгнула Ольга Александровна, обращаясь с яростными взглядами и сжатыми кулаками к плачущей подруге и жене покойника.

— Как вы смее! — начал с негодованием юноша, становясь между обезображенной от ярости мегерой и огорченной матерью; но мать, услышав строптивый гнев в голосе сына, удержала его за руку.

— Дитя мое, здесь не место оскорбляться и оскорблять других, — строго прошептала она, так что эти слова слышал только он.

Даже не взглянув на сестер бывшего хозяина квартиры, она поцеловала покойника и вышла под руку с сыном из дома.

— Вон, вон из нашего дома! Развратница, развратница! — бесновалась, теребя свои жидкие желтые волосы, Ольга Александровна и потом снова припадала к трупу брата и тормошила его, впиваясь своими тонкими губами в губы мертвеца. — Братец, братец, убийцы твои твой последний вздох приняли. Не родные руки твои глаза закрыли.

— Тетушка, нужно за полицией послать, опечатать имущество, — проговорил Алексей Алексеевич, являясь в комнату покойника.

— Батюшка, зачем! родной наш, зачем! Никому-то теперь до нас дела нет! — метались тетки в каком-то диком отчаянии, раскачивая головами из стороны в сторону.

— Это необходимо, чтобы после историй не вышло, — объяснял племянник. — Может, у дяди долги есть...

— Какие у братца долги? На чистоту жил, голубчик... другим еще давал... Ой, ой, ой, не стало его у нас, родимого.

— Да мало ли что может случиться... Наследников будут вызывать...

— Все налицо, все налицо! Сироты горемычные! — зарыдали тетки.

— Эх, вы совсем потерялись, — махнул рукой Алексей Алексеевич.

— Да что ты с ними говоришь, батюшка? Распоряжайся, вот и конец весь, — проговорила мать Обноскова. — Ведь надо же имение привести в ясность, чтобы после споров не вышло.

— Конечно! Об этом же и я думал, — сказал Алексей Алексеевич и послал за полицией.

Труп между тем стащили на простыне на пол, и началось омывание...

— Постойте, постойте, колечко надо снять с руки братца... Еще обокрадут тебя, родимого... Ох, голубчик, голубчик ты наш! — рыдала Ольга Александровна, снимая с застывшей руки брата кольцо с брильянтом.

IX

Перед гробом ближнего

Только вступив в свое жилище, почувствовала Стефания Высоцкая вполне, как велика ее потеря. Весь вечер пролежала она на диване, то плача, то сожалея о том, что другие дети не успеют приехать к его похоронам. На следующий день сын обратился к матери с озабоченным! лицом.

— Матушка, ты поедешь туда? — спросил он нерешительно.

— Разумеется, — ответила она.

Сын поцеловал мать, как будто благодаря ее за что-то. И он, и она понимали, что им может встретиться еще много мелких огорчений в том доме, где лежал дорогой для них труп.

В квартире покойного уже шла панихида, когда в ней появились Высоцкие. В комнате начался едва заметный шепот.

— Какова смелость! Вот бесстыдство-то! — волновались девственницы-сестры покойника и мать молодого Обноскова.

— Бедный братец, как его позорят. И после смерти не дают покою, на глаза людям выставляют его грех!

Стефания Высоцкая, стоя на коленях, не замечала ничего и тихо молилась. Но сын, стоя около нее на страже как отважный защитник, все видел, все слышал. В нем кипела кровь, лицо горело ярким румянцем негодования. Святое чувство скорби о смерти отца было нарушено, вытеснено на время грубыми людьми из его сердца.

— Не могу, не могу не высказать! — воскликнула Ольга Александровна, вечное запевало в семейном хоре, и подошла сзади к юноше, дернув его за рукав.

Он обернулся. Панихида уже кончилась.

— Идите сюда, — позвала его Ольга Александровна.

Он пошел за нею.

— Я очень хорошо знаю... Я очень хорошо знаю, что вы лишились всего, что братец кормил, поил и одевал вас, — заговорила она скороговоркою. — Но вы должны сказать своей матери, что ей неприлично здесь быть и плакать при народе. Наша семья всегда, всегда

была честною, и если братец сделал ошибку, то он за нее отстрадал, видит бог, отстрадал, и стыдно позорить его перед людьми, стыдно показывать всем, что он ошибался в жизни...

— Я вас не понимаю, — пожал плечами юноша. — Что вы хотите сказать?

— А то, что ваша мать не должна появляться в нашем доме.

— Моя мать и не будет появляться в нем, когда отсюда вынесут тело моего отца, — серьезно ответил юноша.

— Фью! Нет-с! Ее и теперь не велят впускать сюда. К нам ездят такие люди, к брату ездят графы Струговы, княгиня Валунова, которые не привыкли стоять на одной доске с подобными женщинами.

Юноша вспыхнул.

— Не смейте бранить мою мать! — почти крикнул он, дрожа от гнева, и почувствовал, что чья-то рука кротко прикоснулась к его плечу.

— Друг мой, полно, — произнес тихий голос над его ухом. — Запретить посещать покойника никто не решится, у христиан принято впускать всех в дом, где лежит покой-

ник, и если сюда могут войти нищие, то можем войти и мы.

В этих словах Высоцкой звучало выражение такого холодного пренебрежения к хозяевам дома, что не понять его могли только они одни. Их взбесило еще более то обстоятельство, что Высоцкая, не обращая внимания на них, готовилась уйти с сыном.

— Нищие, нищие! Так они не позорят покойника, а вы его позорите! — крикнула Ольга Александровна, обращаясь к Стефании Высоцкой.

— Какое у вас черствое сердце! — произнесла та невозмутимым тоном.

Высоцкая смотрела на родственниц покойника скорее с чувством сострадания и сожаления, чем с негодованием; казалось, что она стояла настолько выше этих женщин, что ни один комочек грязи, брошенный ими, не мог долететь до нее.

— Тетушка, оставьте их, — проговорил Алексей Алексеевич Обносков, подходя к группе родственников.

— Не могу, голубчик, не могу! Позора братца не могу видеть!..

— Что сделано, того не воротить, — коачил племянник наставительным тоном. — Я вполне понимаю, что вам тяжело, — обратился он исключительно к Стефании Высоцкой. — Вы потеряли в дяде все. Я не могу вас содержать на свой счет...

— Ах, батюшка, да они этого и требовать не могут, — перебила его Ольга Александровна, но племянник не обратил на нее внимания и продолжал свою речь:

— Теперь вам придется жить одним честным трудом, — сказал он, подчеркнув слово «честный». — Бог поможет вам идти по этой дороге... Если у вас не станет средств воспитывать детей, то я готов за них платить в училища, сколько могу, разумеется...

— Ангел, ангел! — воскликнула Вера Александровна, склонная к восторженности, но племянник не обратил внимания и на нее.

— По закону вы не имеете никаких прав на какую-нибудь часть из имения дяди, — говорил он, по-прежнему обращаясь к Стефании и стараясь не глядеть на ее сына. — Но я считаю своим долгом помогать его детям, насколько буду в силах.

— Благодарю вас. Но я от вас ничего не требую, — сказала Высоцкая, удивленная настойчивым желанием Обноскова покровительствовать ей. — Как бы тяжело ни было мое положение, я его перенесу, и вы можете быть покойны, что моя нога не будет в этом доме после похорон вашего дяди. Но теперь не время толковать о наших личных делах...

Обносков пожал плечами.

— Толковать о делах всегда время, — заметил он тихо. — И вы совершенно напрасно даёте обещание не посещать нас. Вы еще не знаете, что такое нужда и труд, и пренебрегать моим предложением не следует. Я не желаю, чтобы дети моего дяди выросли неучами.

— Не заботьтесь о них, не заботьтесь обо мне и оставьте нас в покое, — твердо произнесла Высоцкая. — Я не прошу ни ваших черствых наставлений, ни вашего холодного покровительства.

— Согласитесь сами, что у меня нет никакой причины нежничать, — усмехнулся Обносков, сощуриив насмешливо глаза.

— О, я у вас даже и этого не прошу! — с презрением вымолвила Высоцкая; на Обнос-

кова она смотрела совершенно не так, как на его теток. Он не казался ей жалким, а был просто гадок.

— Но мне будет очень жаль, если вы станете пренебрегать воспитанием детей моего дяди, — повторил Обносков, снова делая ударение на словах, как будто желая внушить Высоцкой, что он хлопочет не о ее детях, но именно о детях своего дяди. — Конечно, я тут посторонний человек. Я не имею никаких прав заботиться о них насильно, против вашего желания. Но, повинуясь последней воле дяди, я сделал это предложение; вы его не принимаете, тут не моя вина. Но помните, что я буду готов помогать вам, если вы попросите помощи. А перед тем, что будет, я умываю руки.

— С этого вы могли начать, — проговорила молодая женщина и, поклонившись нежным родственникам покойника, вышла под руку с сыном.

— Какова? Какова? Она же еще и нос поднимает! — разразились громом восклицаний родственницы. — Ты ангел, Леня, ангел! — восхищались они племянником.

— У-у! У меня так вот и кипело, так вот и кипело в груди, — говорила Ольга Александровна. — Так вот и хотелось ее отделать! Ты ей благодетельствовать хочешь, а она голову вздергивает! Терпелив ты, голубчик, право, терпелив!

— Что же, тетушка, горячиться из-за пустяков? — промолвил племянник. — Право, все эти сцены не нужны. Я поступаю законно, и мне совершенно все равно, как смотрит она на это дело. Она, вероятно, думала, что ей достанется все имение дяди, но ведь я не виноват, что она не имеет на это права.

— Уж ты умник у нас! — воскликнула Вера Александровна.

— Пожалуйста, не делайте никаких сцен, если она будет являться в эти дни на панихиды, — заметил Обносков. — Это ни к чему не поведет. Только лишние волнения выходят.

— Миротворец, миротворец! — пришли в умиление тетки. — Вот к кому послала бы она сына учиться кротости. Руки бы твои целовать заставила, чтобы ты его от гордости-то вылечил, на добрый путь наставил бы. А то, гляди, как голову поднимает полячишка. Зем-

ли под собой не чаает! Ведь ты, Леня, не все видел, что мы от этого негодяя полячонка натерпелись. Ведь он барина из себя такого ломал, что проходу нам не было... Слава богу, что он не нашу фамилию носит, нашего имени не позорит... Уж дойти ему до беды... Повесят его, как пить дадут! Да!.. Видно, мало их перевешали... Братца только не хотелось огорчать, так всё терпели, всё терпели... Вот теперь без всего остались, на одного тебя, голубчика нашего, вся надежда, — зарыдали тетки.

— Полноте, ради бога, не плачьте! — холодно уговаривал их племянник. — Ну что же, кое-как достанет средств жить. Вот приведем все имение в известность, разделим...

— Не обидь, голубчик, сирот беззащитных! — молила Вера Александровна.

— Тетушка, как вам не стыдно, — вяло упрекнул Обносков. — Разве я могу утаить хоть грош, который следует отдать по закону другим?

— Кормилец, заступник наш! — воскликнула тетка Ольга Александровна.

— Однако я сильно утомился, — заметил Алексей Алексеевич, зевая.

— Отдохни, голубчик, отдохни! — засуетились тетки и повели племянника в другую комнату, приловчили ему подушку на диване и уложили его отдыхать.

— Вот колокольчик, позвони, если понадобится, — говорили они, заботливо ухаживая около Обноскова, гордости их семьи.

Обносков закрыл глаза и сделал вид, что желает уснуть. Тетки и его мать на цыпочках вышли в другую комнату.

— Расходы-то какие теперь. Народу-то что набирается, — совещались они между собою.

— Надо бы, сестрица, — говорила Марья Ивановна, почему-то начинавшая царить в доме, где она сперва старалась стушеваться и считала себя гостьею, — надо бы Матвея Ильича из дому уволить. Не надежен он мне кажется. Не стащил бы чего в суматохе.

— Пусть идет к своему Петру Евграфовичу, — воскликнула Ольга Александровна с злобной иронией, — он же его так уважал!

— Да уж, нечего сказать, человек! — негодовала мать Алексея Алексеевича. — Не вы ли его кормили, поили? С детства ведь у вашего батюшки еще служил, а что вы-

шло? — чужим угождать стал. Уж правду говорят, как волка ни корми, а он все в лес глядит. И то сказать, свой своему поневоле брат, благородным людям неприятности делал, а этими, прости господи, угождал!..

Марья Ивановна, должно быть, мысленно употребила какое-нибудь очень крепкое слово и потому попросила прощения у бога за этот грех.

Матвея Ильича, между тем, призвали и с бранью объявили ему, что он может идти на все четыре стороны. Старик не сказал ни слова, ушел в свою каморку, связал в узелок свое мелкое имущество и с этим узелком и палкою в руках вошел в комнату, где лежал покойник. Безмолвно опустил старик на колени, тихо положил три земные поклона, медленно поднялся своим старым телом с пола, поцеловал в холодные губы мертвого барина и тихо, без слез, без упреков, вышел из дома, где он провел долгие годы, перенес тяжкие обиды, утратил здоровье в труде и бессонных ночах, домывался до бессилья, до старости и откуда теперь выходил бессемейным, одиноким, искалеченным и никому не нужным стари-

ком... Это был дворовый, не имеющий угла, дворовый калека, который, как на смех, не умер под ударами подлой судьбы и дострадал до поздней воли. Пес, стороживший двор, ослеп, оглох от побоев, и его выгоняли из дома, чтобы не кормить его даром!.. Если бы мертвецы чувствовали, что происходит вокруг них, то, может быть, именно эта безмолвная сцена прощанья прогоняемого из дома старого слуги больше всего отозвалась бы в сердце Евграфа Александровича: ведь он был таким нежным, любящим существом.

— Куда же выписать вас и чемодан ваш отправить? — спросил старика дворник, качая головой при виде этой дряхлой фигуры. — Где вы жить-то будете, Матвей Ильич?

— У моей барыни, у Стефании Станиславовны Высоцкой, — гордо ответил старик.

Если бы можно было в настоящее время человеку сделаться крепостным, то Матвей Ильич, кажется, сейчас бы закрепил себя, вступая в дом обожаемой им семьи.

Надломленная, измученная Стефания Высоцкая возвратилась домой со своим сыном в совершенном безмолвии; в эти два дня она

еще впервые вспомнила о своих материальных средствах и вспомнила о них только потому, что ее на эту мысль навели другие. Горе было слишком велико, чтобы думать о будущем, сводить денежные счета. Но теперь она очнулась и увидала, что она стоит на краю пропасти. До сих пор ее жизнь текла мирно и хорошо. У нее было всегда довольно средств к жизни. Ей пришлось получить через год после смерти матери кой-какие деньги. Евграф Александрович тоже вносил в свою семью немалую помощь. Она экономничала, как умела, обшивала своих детей сама, учила их первым началам наук тоже сама и могла сказать с чистой совестью, что она была хорошо женою, хорошою матерью и не ела даром чужого куска хлеба. Мало или, лучше сказать, совсем не ценится работа женщины как хозяйки — экономки, как матери — воспитательницы детей, — но это тоже работа, требующая платы. Если муж приносит известное количество рублей, то на них немного приобрел бы он, если бы ему пришлось платить за труд экономке, за шитье детского белья швее, за первоначальное обучение детей гувер-

нантке. Женщина, исполняющая все это честно в доме мужа, может сказать, что она не ест его хлеба, а живет на свой счет. Не вполне еще ясно это для всех, но в жизни встречаются семейства, где сознается и мужем, и женою их равноправность по приносимой ими пользе. Такою семьею была семья покойного Обноскова. Этот слабый по характеру, лишенный силы воли человек был добрым семьянином, хорошим мужем, честным отцом. Он занимал сперва значительное место вице-директора в одном департаменте, потом перешел в качестве директора в одну из акционерных компаний. Его средства с каждым годом делались все более и более, так что Высоцкая имела бы возможность скопить кое-что. Но она была на это неспособна. Евграф Александрович совершенно справедливо называл ее дом «комиссиею для вспомоществования пострадавшим». Действительно, у нее постоянно шли сборы то на пользу какого-нибудь человека, принужденного ехать куда-нибудь за тридесять земель не по своей воле, то в пользу какого-нибудь неизвестно где погибшего смельчака. Она вечно за кого-нибудь

хлопотала, кого-нибудь определяла в училища, что-нибудь устраивала. Бе подвижная до крайности натура требовала деятельности, и никто не удивлялся, когда Стефании Высоцкой приходилось даже уезжать из Петербурга не по своим делам. Но не всегда работала она на помощь ближним; случалось ей с таким же веселым смехом, с такою же энергиею работать и на гибель людей. Какой-нибудь господин, закрученный во взяточничестве и кляузах, бывало, наделает каких-нибудь подлостей в деле тех лиц, о которых заботилась Высоцкая, и она начинает подтачиваться под этого господина. Все возможные средства пускались ею в ход для достижения цели. В этих случаях большую пользу приносили важные друзья Евграфа Александровича, к которым Стефания обращалась с подобными просьбами об изгнании из службы мерзавцев и у которых зато никогда не просила денежной помощи для своих protégés... Теперь Евграфа Александровича не стало, и Высоцкая осталась почти безо всего; она могла просуществовать год или полтора, но не более. Она часто просила без всякой застенчивости для

бедняков, но никогда не попросила бы она помощи для себя. Теперь приходилось работать из-за куска хлеба, копить и рассчитывать каждый грош и все-таки терпеть нужду, не иметь средств дать хорошее образование остальным детям. От деятельности, составлявшей всю цель жизни Высоцкой, приходилось отказаться совсем, заботиться о разных погибающих, собирать на них деньги можно было только тогда, когда у самой Стефании были средства: теперь она не решилась бы делать сборы, потому что и самые честные люди могут быть заподозрены в бесчестности, если они бедны. И сами эти люди становятся страшно щекотливы и отстраняют от себя всякие занятия, при которых их можно заподозрить в чем-нибудь дурном. Путь, на котором Стефания находила защиту для погибающих и отпор губящим, тоже закрывался со смертью Евграфа Александровича. Графы Струговы, князья Валуновы, из которых последний был женат на польке, делали все для своего покойного друга и оказывали глубочайшую симпатию и даже уважение Высоцкой, но теперь ведь и они откажутся от нее.

Она еще боялась сообщить сыну о их общем положении, когда к ней вошел Матвей Ильич.

— А я к вам, матушка-барыня, служить пришел, — промолвил он с поклоном. — Не прогоните старика!

— Полноте, Матвей Ильич, живите у меня, — проговорила с болезненной улыбкой Высоцкая, глядя на эту живую развалину преданного слуги. — Живите, покуда у нас будут средства.

Старик покачал головой.

— Ох-хо-хо! Плохие времена пришли, матушка-барыня! — заговорил он. — Добрый был барин Евграф Александрович, только характеру у них не было. Сколько раз я ему говорил, чтобы сделал распоряжение, так нет! Осетили его эти чертовки (не в этом раю будь сказано), вот и оставил семью ни при чем!

— Не грешите, Матвей Ильич! Покойников грех бранить, — серьезно заметила Стефания Высоцкая и испугалась своих невольно сказанных слов, вспомнив, что за несколько минут пред тем в ее уме тоже промелькнул горький упрек любимому человеку. — Перебьемся

как-нибудь, все пойдет хорошо, — говорила она. — Я работать стану.

— Работать! Матушка-барыня, много ли нонче работой-то наживете!? — говорил старик, качая головой в раздумье. — У вас дети, за ними присмотреть надо. Где тут работать?

Стефания вздрогнула.

— Тяжело мне, Матвей Ильич; с силами я еще не собралась... После все обдумаю.

— Матушка, разве наше положение так нехорошо? — спросил сын, с участием заглядывая в глаза матери.

— Дитя, мы нищими можем скоро сделаться! — заплакала мать.

— Господи! Что же мы станем делать? — воскликнул он, обнимая мать, и стал ее утешать: — Не плачь, милая! Все пойдет отлично, я уроки буду давать, наши ребятишки будут дома у меня учиться, платить будет не нужно... Пстой, пстой! — закричал он, вспомнив что-то. — Как это я забыл! Ах! Боже мой, какой я ветреный. Вот бранить стоит! — говорил он отрывисто и торопливо шарил во всех карманах. — Ведь папа тебе письмо оставил, велел, чтобы я никому не показывал,

кроме тебя... Ах, боже мой, уж не потерял ли я его!.. Нет, нет! Вот оно.

Стефания Высоцкая торопливо взяла письмо. Она читала знакомые ей строки и плакала, пожимая руку сына.

— Голубушка-барыня, да что же с вами? — спрашивал Матвей Ильич. — Успокойтесь, матушка!.. Пойдите я водицы принесу...

— Матвей Ильич, мы грешили с вами, упрекая его, страшно грешили! — говорила Стефания Высоцкая. — Он нас обеспечил, мы будем счастливы... Дети мои, дети, вы не вырастите неучами, не пойдете по миру за подаванием... к Обносковым!..

Старик перекрестился. Стефания Высоцкая преклонила голову на плечо к сыну и долго-долго сидела безмолвно в этом положении, опустив на колени письмо и вексель, оставленный ей Евграфом Александровичем.

— Так я вам, матушка, не буду в тягость? — спрашивал старый слуга.

— Нет, нет, добрый мой, верный старик! Никто из моей семьи не будет мне в тягость, — а вы друг, член нашего семейства, — протянула Стефания руку старику.

Он бросился ее целовать.

Вечер мирно догорел в мирном кружке небольшое го семейства. Все верили в светлое будущее и снова не заботились о грошах, не завидовали участи Обносковых...

На похороны Евграфа Александровича, кроме других значительных друзей покойного, явился и граф Стругов со своим сыном и братом. С графом Григорием Григорьевичем Струговым покойный Обносков вместе вырос, вместе воспитывался в университете и, наконец, вместе служил в обширной по делам акционерной компании «Водяных сообщений в России», где граф был одним из главных директоров. Дошедший до степеней известных, отчасти при помощи своего происхождения, своего образования и своих блестящих способностей и еще более при помощи своей красоты и умения ловко вальсировать, граф Григорий Стругов был еще довольно привлекательным мужчиной, хотя и успел поседеть не от лет, а от тревожно проведенной разгульной в былые годы жизни. Но всему есть конец: вальс вышел из моды и не мог помочь на службе, тогда граф успел вовремя сделаться

набожным, а потому шел все вперед. Теперь он уже не кутил, занимал несколько должностей, состоял попечителем различных богоугодных заведений и членом различных акционерные компаний, одним словом, заглаживал и былые грехи, и былые долги. Спокойствие в манерах, тонкая, не лишенная гордого сознания своего значения и своих достоинств снисходительная деликатность в обращении, склонность к легкой, никого не оскорбляющей, но в то же время меткой насмешливости были отличительными чертами характера графа. Зная в совершенстве французский язык, он редко говорил по-русски, но в его русской речи попадались такие простонародные, не петербургские и не чиновнические обороты, что его принадлежность к числу родовитых бар, «отцов» бесчисленного множества крестьян была ясна, как день. Он более всего старался не быть «выскачкой», хотя и без его усилий никакой граф Стругов не мог бы быть сочтен выскачкой. Вследствие этой скромности он всегда старался становиться в задние ряды во всех многолюдных обществах и, кажется, не замечал, что именно это обсто-

ительство заставляло расступаться перед ним тех, кто стоит впереди, а значит, и обращало еще больше внимания на него, великодушно стремящегося стусеваться и скрыть свою личность за спиною толпы. На пышных раутах он забивался куда-нибудь в такой угол, где его было бы очень трудно отыскать, если бы через четверть часа этот угол не делался таким шумным и тесным, что многие тщетно добивались чести постоять хоть минуту в этом углу...

При появлении графа в комнате, где стоял гроб покойного Обноскова, Алексей Алексеевич тотчас же подошел к почетному гостю и предупредительно попросил его стать на самое удобное место.

— Пожалуйста не беспокойтесь, — ответил граф, — мне совершенно все равно, где стоять.

— Помилуйте, граф, — рассыпался Обносков, — тут постоянно будут сновать мимо вас и тревожить вас посетители.

— А я вот в уголок проберусь, — ответил граф и пробрался в уголок, скромно извиняясь перед теми лицами, мимо которых он пробирался и которых, по его мнению, а не в

действительности, он потревожил.

Обносков сбил всех с ног, посылая гонца за гонцом торопить запоздавших попов, и снова возвратился к графу. Он, кажется, начинал мозолить глаза значительному гостю; это дало повод тому подумать, что Обносков напрашивается на разговор, и снисходительный аристократ счел своим долгом исполнить желание не отходившего от него ближнего.

— Вы, кажется, распорядитель похорон? — спросил граф, чтобы как-нибудь начать беседу.

— Да... У дядюшки не было других ближних родственников мужчин, кроме меня, — ответил Обносков, делая умилительно-почтительное лицо.

— А! так это вы, значит, ездили, как я слышал, оканчивать ученье в Берлин?

— В Гейдельберг, — поправил Обносков.

— Да, да, виноват, в Гейдельберг. Мне так и говорил мой покойный друг... Рано он у нас свернулся, — вздохнул граф. — Прекрасная была душа!

Обносков потупил глаза и тоже вздохнул, услышав эти теплые слова.

— Скажите, граф, — начал он нерешительно через минуту, — вероятно, общество «Водяных сообщений в России» выдаст какое-нибудь вспомоществование родственницам дяди?..

— Непременно, — утвердительно отвечал граф. — Я думал, что вы уже получили деньги на похороны, ему назначена тысяча рублей... Конечно, это небольшая сумма, но что прикажете делать: больше мы не могли выдать... Времена, времена плохие! — приподнял граф плечи.

— Кажется, в компании обыкновенно выдается годовое жалованье, — несмелым тоном заметил Обносков.

— Да, но это не идет в счет похоронных денег. Я уже озаботился, чтобы единовременное пособие было выдано жене покойного.

— Вы, вероятно, введены в ошибку: он не был женат, граф, — быстро перебил Обносков, и его лицо зарумянилось от волнения.

— Ну да, ну да, — повертел граф рукою в воздухе. — Не был венчан... Но это все равно. У них были дети.

— Помилуйте, это совсем не все равно, —

уже совершенно серьезно проговорил Обносков.

— Ну, конечно, конечно, не все равно, — ответил граф совершенно спокойно, но у него слегка покособило лицо, так что посторонний наблюдатель мог бы заметить под маскою этого наружного спокойствия следы подавленной досады. — Но я хотел сказать, — продолжал он, — что покойный мой друг жил столько лет с этой женщиной в гражданском браке...

— У нас, граф, не существует подобных браков, — холодно заметил Обносков.

— Э, боже мой, вы гоняетесь за словами! — нетерпеливо произнес граф, едва не топнув ногою.

— Не за словами, а за идеями, за идеями! Гражданский брак выдумали нигилисты, а это была просто незаконная связь...

— Ну, связь, прекрасно! Вам нравится это слово, возьмите его. Но эта связь продолжалась столько лет и была так серьезна, что ее нельзя считать простым развратом, и та женщина, с которой жил мой покойный друг, имеет право на нашу помощь.

— В этих делах, граф, давность по нашим законам ничего не поправляет, — настойчиво стоял на своем Обносков. — И никто не имеет права отдать этой женщине деньги, следующие наследникам моего дяди, никто!

— Я! — резко проговорил граф Стругов, уже метавший глазами молнии на Обноскова. — То есть наша компания, — вдруг спохватился граф, увидав, что Обносковым подмечено его раздражение, и принял снова свое холодно-спокойное выражение.

— Разве вы, граф, и ваша компания стоите вне общих государственных законов? — едко спросил Обносков.

— Нет-с, как можно! Мы подчиняемся им, как и все другие, — уже насмешливо ответил граф.

— Так как же вы отдадите наши деньги ей?

— Не ваши, а свои. Мы их и за окно можем бросить, — уже совсем весело усмехался граф и смотрел на Обноскова как-то сверху вниз, точно перед ним находилась какая-то маленькая, едва заметная букашка.

— Да ведь эти деньги нам следуют по зако-

ну! — волновался Обносков.

— По какому? — бросил на него насмешливый взгляд собеседник. — Где это вы нашли закон, что компания обязана выдавать годовое жалованье родным ее умерших агентов?

На лбу Обноскова проступил холодный пот; это не ускользнуло от внимания графа; он сохранял спокойствие и смеялся в душе.

— Я, граф, принужден вам сказать, что, по моему мнению, вы просто желаете потакать разврату. Вы хотите покровительствовать тому, что преследуется нашими законами. Я готов все это считать шуткой, так как самое ваше положение в свете не оправдывает такого образа действий. Если бредни какого-нибудь безродного отрицателя брака и законных прав на наследство могут быть только смешны, то ваше поощрение, ваше признание прав любовницы и незаконнорожденных детей на наследство просто опасны.

Граф молчал, точно Обносков шипел где-то очень далеко внизу и его слова не могли долетать до той вершины, где стоял его гордый противник.

— Я, граф, должен вам заметить, — про-

шептал Обносков, задыхаясь от злобы, — что я буду требовать законным порядком.

— Вы? — спросил граф, взглянув сверху вниз прищуренными глазами, и вдруг начал усердно креститься.

Это взбесило Обноскова. Он готов был растерзать противника за эту злую выходку и даже не заметил, что в комнате уже началась служба.

— Я понимаю, что вы стоите так высоко, что я в сравнении с вами... — шипел он, забывая всех и все, кроме шести тысяч пособия.

— Вот вы меня в нигилизме заподозрили, а сами, как кажется, совсем не уважаете святости наших церковных обрядов, — отеческим шепотом заметил граф и добродушнейшим образом с упреком покачал головою.

Обносков опомнился и стал еще зеленее, а граф продолжал усердно молиться.

Отпевание кончилось. Родные стали прощаться с покойником; раздались дикие крики трех родственниц и утешения гостей. Стефания Высоцкая, закутанная в черную тальму, спускавшуюся почти до полу, стояла неподвижно в углу. Она была бледна, как мертвец.

Сын стоял около нее и, кажется, боялся, что она упадет в обморок. Наконец, гроб понесли. Граф Григорий Стругов, его брат и его друзья были в числе несущих. Высоцкая пошла за гробом в отдалении. Она едва переступала.

— Неужели вы до кладбища думаете идти пешком? — спросил ее кто-то по-французски.

Она вздрогнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, и обернулась. Перед ней стоял граф Стругов.

— Ах, это вы, граф, — приветливо улыбнулась она грустной улыбкою. — Кажется, не дойду.

— Так садитесь в мою карету. Сыро сегодня. Я тоже еду с Мишелем, — пригласил граф Высоцкую и указал на своего сына Мишеля, учившегося в гимназии вместе с молодым Высоцким.

Товарищи уже разговаривали между собою. Высоцкая согласилась на предложение. Все четверо стали садиться в карету графа.

— Гляди, гляди! Развратница-то, развратница-то, наша! — высунулись из своей кареты сестры покойника, дергая за рукав задумчиво сидевшего против них племянника. — С

графом села, в его карету села! Хоть бы братца-то, нашего голубчика, похоронить дала, да уж тогда и шла бы на все четыре стороны...

— А-а! — протяжно проговорил Обносков, что-то соображая. — Так вот он отчего ей покровительствует!

— И сына-то, сына-то не стыдится. При нем вешается на шею новому любовнику... Да и он-то хорош! Среди белого дня с публичной женщиной едет, грязью себя марают!

— Э, к ним ничего не пристает! — озлобленно прошептал Обносков и отвернулся в другую сторону.

Х

Очень обыкновенная семейная жизнь

Только через месяц после свадьбы, то есть после смерти и похорон Евграфа Александровича, молодой Обносков переехал от Кряжова и устроился своим домом. До сих пор его жена не чувствовала никакой перемены в своем положении. Только теперь она стала сознавать, что для нее началась новая жизнь. Мать Обноскова поселилась со своим сыном и рассталась как со своею квартирою на Выборгской стороне, так и со своими жильцами. С первых же дней после переезда на новую квартиру она принялась за хозяйство, за мелкие домашние распоряжения, за перебранку с прислугою и выказала явное намерение не выпускать из своих рук бразды домашнего правления.

— Вы уж, цветочек мой, Агриппина Аркадьевна, не заботьтесь о хозяйстве, — говорила она однажды за утренним чаем невестке. — Вам это дело новое.хлопот с ним много. Воз-

ня с людишками только здоровье ваше испортит. Ведь у нас в Петербурге народ мошенник, выжига, у-у какой продувной!..

— Да я, Марья Ивановна, уже занималась хозяйством у отца, — заметила Груня. — Это совсем не так трудно...

— Из больших средств, не спорю, не трудно, не трудно... У вашего папеньки большие средства были, — заговорила частою дробью Марья Ивановна. — Вот у него и хозяйство совсем другое было, а здесь не то, совсем не то. Ваш папенька богач, а у моего сына средства-то маленькие, надо экономничать, по одежке протягивать ножки...

— Да, маменька права, — заметил Алексей Алексеевич. — Тебе незачем попусту хлопотать и возиться с прислугой и обедами.

— Да я и не настаиваю особенно на этом, но просто мне не хотелось бы без дела сидеть, — промолвила Груня.

— Ну, ангелочек мой, дома дела найдется, — утешала Марья Ивановна. — Без дела не останетесь...

— Делайте, как вам угодно, — ответила Груня и стала пить чай.

Все помолчали.

— Вот вы, кажется, и обиделись, — вдруг упрекнула Марья Ивановна.

— Чем же? Я и не думала обижаться, — изумилась Груня.

— Нет, уж я вижу, что вам не по сердцу мое желание!.. Что ж, я не навязываюсь. Вы хозяйка теперь в доме, вам и книги в руки. Была бы честь предложена, а от убытка бог избавил. Я ведь теперь здесь последняя спица в колеснице...

— Полноте, маменька, — недовольным тоном сказал Обносков. — Что тут за счеты, кто старше. Я не желал бы вообще, чтобы кто-нибудь считал себя здесь старшим, — строго заметил он и прибавил: — Хозяйничайте, распоряжайтесь и не обращайтесь ни на кого внимания, делая свое дело.

— Если ты хочешь, я готова, Леня, только, чтобы после претензий не было, что я худо распоряжаюсь или много трачу...

— Кто же это будет претендовать, уж не я ли? — спросила Груня, смущенная всею этою сценою. — Будьте уверены, что я не скажу ни слова, лишь бы Алексей был доволен...

— Алексей! Это вы кого же Алексеем-то величаете? — спросила едким тоном Марья Ивановна. — Уж не мужа ли? Ну, через месяц после свадьбы, кажется, рано бы его так называть. Можно бы и поласковее быть. Ведь это только холопов зовут Алексеями-то.

— Эх! — с досадой махнул рукой Алексей Алексеевич и нетерпеливо начал постукивать ногой.

— И меня-то вот вы все называете Марьей Ивановной да Марьей Ивановной, — не унилась старуха, — А ведь не грех бы и маленькой назвать. Ведь уж как вы там ни думайте, а я все-таки мать вашему мужу. Оно, может быть, по-вашему, по-новому, и не принято уважать старших — ну да ведь вам не с теми вертопрахами жить, которые старших-то в грош не ставят. Нет, голубчик мой, вы со старыми, с честными людьми живете.

— Да что это вы, матушка, левой ногой, верно, встали? — с раздражением заметил Обносков.

Марья Ивановна так и развела руками от удивления.

— Ну, батюшка, от тебя-то я этого не ожи-

дала, — произнесла она и торопливо поднесла платок к глазам. — И то сказать, теперь же на тебе ближе, я третий человек, лишний человек в доме...

Алексей Алексеевич махнул рукою и вышел из комнаты.

— Вот полюбуйтесь, что вы наделали: сына с матерью поссорили, — упрекнула Марья Ивановна невестку. — Сами матерью будете, поймете это... Чужие слезы отольются, рано ли, поздно ли, а отольются...

Груня наморщила свой лоб и сидела совершенно безмолвно, начав вышивать. Ей первый раз в жизни пришлось испытать такую пошлую, такую бесцельную семейную размолвку. Несколько раз у нее наворачивались на язык ответы старухе, но известный такт, свойственный свежим и чистым натурам, не позволял ей вставить какое-нибудь слово в поток этих мелочных придировок. Молодая женщина была, по-видимому, даже спокойна, только игла в ее руке все попадала не туда, куда следовало, и слегка дрожала. Старуха Обноскова перемывала чашки и время от времени бросала злые взгляды на невестку и пока-

чивала головой, видя, что та не обращает на нее внимания.

— Вот вы теперь молчите и дуетесь, — начала снова Марья Ивановна. — Вы в душе-то меня ругаете, а ведь я вам же добра желаю. Вы-то по глупости, да по неопытности что-нибудь при людях скажете, мужа Алексеем, как лакеишку, обзовете, либо мать, как чужую, Марьей Ивановной величать станете, а вас и осудят, и пойдут славить: «Вон они как живут, заговорит про нас народ, как кошка с собакой! У них и имени-то ласкового друг другу нет даже при людях, а уж что же должно быть, как они с глазу на глаз останутся». А худая-то слава бежит... Вы меня благодарить должны, что я вас семейной жизни учу. Ведь и я была молода, и меня учили. Ох, как учили!.. Вы вот и подумайте обо всем, да и поймите, правду ли я говорю; хорошенько подумайте!

Марья Ивановна поставила в буфетный шкаф чашки и вышла из комнаты. Груня вдруг отбросила вышивку и залилась неудержимыми слезами.

— Что с тобой? — спросил Алексей Алексе-

евич, входя в столовую, чтобы проститься с женою перед отправлением на службу.

— Ничего... так, — прерывающимся голосом ответила Груня и закусила губу, стараясь подавить слезы.

— Как же так? Разве можно плакать без причины? — заметил муж. — Нездорова ты, что ли?

— Скажи, за что твоя мать целый час бранила меня? — воскликнула строптиво жена, поднимая свои большие глаза на мужа.

— Э, боже мой, начались дразги! — недовольным голосом сказал Обносков. — Уж где две бабы сойдутся, там и пойдет война!

— Да ты, кажется, считаешь меня виноватою? — изумилась Груня.

— Да, разумеется! Ведь странно же связываться со старым человеком. У нее свои взгляды на жизнь, свои привычки, а ты еще молодая и не выработала себе, не могла выработать убеждений, значит, тебе легче уступить. И вообще советую тебе уважать мою мать; хотя у нее и есть ошибки, как у всякого человека, но она опытная и дельная женщина.

— Да ведь она придирается ко... — начала

Груня, но муж перебил ее.

— Прошу тебя, — сказал он строго, — раз и навсегда прошу не жаловаться мне на нее и не впутывать меня в эти домашние дразги... У меня есть серьезное дело, и мне некогда мирить вас. Да я и не судья в этих историях, потому что насколько я люблю тебя, настолько же уважаю и ее. Ты не думай, что я когда-нибудь из-за тебя вышвырну ее из дому. Это было бы так безнравственно, что ты сама перестала бы меня уважать после подобного поступка... Да и вообще вы, женщины, взволнуетесь, потеряете несколько праздных часов времени, но убытка от этого нет, — а у нашего брата дело есть; если я стану волноваться да тревожиться из-за пустяков, то у меня не очень-то хорошо пойдут вперед мои серьезные занятия.

Опустив руки, стояла Груня перед мужем, и опять какая-то непонятная ей самой сила удерживала ее от возражений.

— Ну, прощай, маленькая плакса! — улыбнулся Обносков и поднял за подбородок лицо жены.

Она отдернула голову назад и нахмурила

брови.

— Ах, ты капризница! — шутливо промолвил муж, игриво скользнув двумя пальцами около груди жены, как это делают с ребенком, когда ему говорят: «А вот я тебя забодая!» — и вышел из комнаты. «Какая она хорошенькая, когда капризничает», — промелькнуло у него в голове, и он готов был снова воротиться к жене, чтобы поцеловать ее, но ему пришлось спешить на службу, а потому это желание и отложилось до более свободного времени.

Груня решительно и быстро отерла слезы и, строптиво швырнув в сторону носовой платок, принялась опять за вышивку. Прошло довольно много времени. Груня продолжала вышивать. Внутреннее волнение замечалось только по излишней быстроте работы; наружность же молодой женщины, похожей на девочку, оставалась невозмутимо спокойною, только лоб морщился более обыкновенного, да изредка закусывались губы, как будто из желания физической болью подавить мучения нравственной пытки. Наконец в комнату вошла Марья Ивановна.

— Что это вы сегодня все утро вышиваете, — заметила она, качая головой.

— А разве что-нибудь другое нужно сделать? — спросила невозмутимо холодным тоном Груня.

— Да ведь вот прачка белье принесла, ну и пересчитали бы все по записке и уложили бы в комод.

— Хорошо, — произнесла Груня тем же тоном и пошла в другую комнату пересчитывать и прибирать белье.

Через четверть часа туда же явилась и Марья Ивановна.

— Вы это как белье укладываете? — спросила она у Груни. — Не пересмотревши?

— Да.

— Ну, это непорядок!

— Значит, нужно пересматривать?

— А то как же? Ну, если прачка-то дурно выстирала, пятна оставила, так это ей и спустить? Нет-с, это не дело! Этак все белье перепортите. Да, надо посмотреть, нет ли и дыр где-нибудь, везде ли есть пуговицы, чтобы потом все исправить.

— Хорошо, я пересмотрю, — отвечала Гру-

ня по-прежнему спокойно и холодно.

— Вот вы говорили, что дела не найдется в доме, кроме хозяйства, а вы если одною штопкою белья займетесь, так у вас день-то весь и уйдет.

Груня молчала.

— Сейчас на рынок ходила, наших там встретила, Ольгу и Веру, — заговорила дружеским и немного таинственным тоном Марья Ивановна, присаживаясь на стул около комода. — Грех, право, с ними да и только! Ха-ха-ха! Сшили это они себе траурные шляпки и, можете себе представить, по моде, как есть по первому журналу. Ну, скажите, время ли тут о моде заботиться, когда брат помер и нужда на носу?

Груня перебирала белье и не отвечала.

— А вы, ангелочек мой, что-то хмурые сегодня такие, уж не чувствуете ли вы чего... знаете, ведь теперь такое время для вас... может, еще и на внука скоро придется порадоваться...

— Я ничего не чувствую, — отвечала Груня и вспыхнула до ушей.

— Так уж не на меня ли вы сердитесь? — с

добродушной укоризной покачала головой Марья Ивановна и, кажется, сама не верила своему предположению. — Грех вам зло помнить! Мало ли что в семье бывает. Час на час не придется. Мы повздорим, мы и помиримся. Нельзя всякое лыко в строку ставить... А вот я вам про себя скажу: у меня сердце отходчиво. И вот с тех пор, как я себя помню, всегда я была такою. Посержусь, покричу, выскажу человеку всю правду, выведу его на чистую воду, а потом и жаль мне его станет. Это бывало и с мужем, когда он запил; чего, чего я не натерплюсь, а ничего, все забуду, как только вот хоть на минутку он от глаз моих скроется. И станет мне его жаль, так жаль, так жаль, что вот так бы и бросилась к нему, моему голубчику, на шею. А ведь уж какой человек-то он был в ту пору, когда пить начал, тиран, одно слово тиран!.. Прежде он ничего, смирный был, выскажешь, бывало, ему всю правду, смолчит, уйдет только, а потом как зачал пить, так аки зверь сделался: и рвет, и мечет, и в драку лезет, ничем, бывало, его не укротишь... А вот ведь все вынесла и в церкви его поминаю, и господа об отпущении его грехов

молю каждодневно... У меня сердце отходчиво, отходчиво... Да, цветочек мой, не должны люди зла помнить, и вы его не помните!

Марья Ивановна нежно поцеловала Груню, а у Груни по телу пробежала дрожь, точно к ней прикоснулось что-то нечистое, отвратительное. Время кое-как прошло до обеда, то есть до четырех часов, когда обыкновенно возвращался Алексей Алексеевич, прикомандированный на время к министерству в ожидании кафедры в университете.

— Ну что, мы перестали капризничать? — улыбнулся он заигрывающей улыбкой жене, как мы улыбаемся детям, которых высекли и потом поспешили простить, чтобы их хмурые лица не тревожили нас и не напоминали нам о нашем вышедшем из границ раздражении.

— Ты видишь, кажется, что я спокойна, — ответила Груня.

— Спокойна и холодна? — пошутил муж.

— У меня такой характер.

— Немножко избалованный? Не так ли?

— Может быть.

— Вот и я еще хочу баловать тебя, — засмеялся он и подал ей коробку конфет. — Это те-

бе, чтоб ты не плакала.

Груню оскорбило, что ее считают ребенком, но она удержалась от всяких объяснений по этому поводу.

— Мерсі, — сухо произнесла она и поставила коробку на стол. — Обед уже подан, пойдем.

За обедом Обносков и его мать говорили о разных семейных делах, в число которых вошли и сшитые по моде шляпки теток Обноскова. Мать была в этот день особенно предупредительна с сыном, как человек, заглаживающий ошибку. Груня сидела молча и очень мало ела. После обеда она ушла в свою комнату.

— Вы, маменька, будьте с ней осторожнее, — сказал сын матери. — Она очень избалована, и с ней надо поступать осмотрительно. Исподволь ее ко всему приучить можно.

— Ах, голубчик, да я ей ничего и не сказала обидного, — оправдывалась мать.

— Да я и не думаю этого, но все же старайтесь ее приучать к семейной жизни незаметно, постепенно. Этим капризным детям в душу не влезешь, никогда не узнаешь, что они

думают. Они привыкли, чтобы все делалось по их желанию.

— Да уж, скажу откровенно, что скрытная она у нас. У-у какая скрытная! Ведь вот и теперь кажется такой спокойной, а я думаю, сердчишко-то так и рвется, так и рвется от злости.

— Ну, гнев уходится. Мало ли сколько раз человеку приходится сердиться в жизни.

— Уж, разумеется, не без того... А только скрытная, скрытная она у нас.

— А все баловством довели до этого. Старик отец ее своей добротой испортил. Всё по ней делали, вот она и думает, что все под ее дудку плясать будут, что в жизни ни сучка, ни задоринки нет.

Алексей Алексеевич отправился к себе в кабинет, поработал, съездил на урок и, довольно поздно возвратившись домой, зашел на полчаса к жене, а потом совершенно спокойно проработал с час или два в своем кабинете, где он обыкновенно спал.

На следующий день Груня вышла к чаю такую же спокойною, такую же бесстрашною, какою была вчера, только почему-то она

вздрагивала при ласках мужа и поцелуях Марьи Ивановны. Марья Ивановна почитала ей еще наставления и встретила в невестке полнейшую покорность и повиновение. По-видимому, невестка сочла своим долгом исполнять все, что ей прикажут, и вошла в роль подавленной узницы, которая не противоречит тюремщикам. Ни Марья Ивановна, ни Алексей Алексеевич не обладали тем деликатным чувством, которое заставляет человека лучше уступить, отказаться от своих требований, чем играть роль угнетателя и видеть собрата, безмолвно и тупо исполняющего из-под палки его волю. Алексей Алексеевич, напротив того, был рад покорности жены, даже поцеловал ее за это. Она не оттолкнула его, но и не ответила ему поцелуем. Он притянул ее к себе и потрепал по щеке. Она спокойно постояла около него, пока он не освободил ее от своих объятий, и отошла прочь, как только раскрылись эти объятия. Сын и мать успокоились совершенно, и Алексей Алексеевич подумал: «Хорошо, что я ошибся. Мне она казалась такою страшною натурой, какие встречаются у подобных развившихся заперти,

нервных девушек. Но она холодна. Это гораздо лучше для честной семейной жизни».

На том и покончились все рассуждения как о характере Груни, так и об устройстве семейной жизни. Пошли дни за днями в убийственном однообразии. Семейные обеды, питье чаю и кофе, время восстания от сна и отхода ко сну, прием гостей в неизменные четверги, ссоры из-за мелочей с глазу на глаз и претящие нежности при гостях, хождение мужа в должность и на уроки и его законные ласки, все это имело свой определенный, раз навсегда неизменный срок и перешло в обряды семейного культа в доме Обносковых. Ничто не было плодом увлечения, плодом внезапно вспыхнувшего желания. Сегодня было похоже на вчера, завтра будет похоже на сегодня и так должно было все продолжаться на долгие, долгие годы, пока бессмысленная судьба не пошлет в дом нового члена — младенца — или не пришибет кого-нибудь из семьи и не заставит действующих лиц разыгрывать на новый лад уже не втроем, а вчетвером или вдвоем, всю ту же пошлую, будничную семейную пьесу. Но есть некоторые

личности, которые видят возможность бороться или, лучше сказать, не могут жить без борьбы с судьбой. Она довольно ясно определит их роли, укажет границы их действий, а они, предназначенные к покорности, к верчению в беличьем колесе, вдруг начинают грубить, воевать, ломают колесо, вырываются на свободу и окончательно путают всех остальных актеров, разыгрывающих с ними одну и ту же пьесу. Эти люди хотят быть творцами той комедии, которую называют человеческою жизнью и которую создает по большей части бессмысленный случай. Такою личностью совершенно неожиданно для близоруких ближних оказалась Груня.

Груне никто не делал в жизни зла, и потому она не могла не возненавидеть человека, который первый сделал ей зло и, сверх того, такое бесцельное и бессмысленное, на какое была способна Марья Ивановна. Но Груня не была приучена предыдущею жизнью к пошлой борьбе, состоящей из мелких нападков, язвительных слов и будничных дразг, а с Марьей Ивановной возможно было или вести именно такую борьбу, или разойтись оконча-

тельно. Находясь в таком положении, молодая женщина стала молча ненавидеть свою противницу и чувствовала, что не пойдет ни на какие сделки и соглашения, не заключит никакого перемирия с нею. Обе женщины жили вместе, но между ними уже с первой стычки лежала целая пропасть, через которую не могла перешагнуть ни та, ни другая. Марья Ивановна не замечала этого и с младенческим неведением усердно разрывала все глубже и глубже эту пропасть, продолжая неумоимо пилить свою невестку и обрывая с ней своими грубыми, грязными руками последние тонкие нити и без того слабой, неуспешной окрепнуть привязанности. Алексей Алексеевич, успокоенный наружным спокойствием жены, не замечал ничего и погрузился всецело в свои серьезные занятия. Никогда не был он так счастлив и так доволен своею жизнью, как теперь. У него были не только надежды на наследство, не только обеды, приготовленные под присмотром матери, не только теплый угол, заботливо убранный, но и молодая женщина, которую он, и только он, мог целовать и ласкать, когда им чувство-

валась в этом потребность. Такая жизнь была полным осуществлением того идеала, к которому может стремиться и стремится на самом деле каждая мелкая обносковская натура. На желтом лице Обноскова стало появляться все чаще и чаще сияющее выражение самодовольства и даже гордости. Видя его, уютно развалившегося в креслах, безмятежно беседующего по четвергам в своем жилище с гостями, слыша его отчасти ласковые, отчасти снисходительные, покровительственные шутки с женой и матерью, можно было позавидовать ему и угадать, что этот болезненный человек скоро поздоровеет среди такого семейного счастья и что не за горами даже и то время, когда он обзаведется кругленьким брюшком и лоснящимися от жира и самодовольства щеками. Бесконечное блаженство стали доставлять Алексею Алексеевичу те минуты, когда в его дом начали заглядывать по четвергам не какие-нибудь голыши, а люди или заслуженные, или родовитые; когда сам генерал Егунов, которому Алексей Алексеевич сделал совершенно неожиданно визит, решился отплатить этот визит своему юному

заграничному знакомому и остался доволен и обносковским обществом и обносковскими разговорами; когда ненавидимые Обносковым старые и молодой графы Родянки, которых Алексей Алексеевич тоже считал своим долгом посетить, тоже удостоили его своим посещением. Не забыл Алексей Алексеевич даже Левчинова, узнав, что один из родственников этого ненавистного ему господина занял видное место в министерстве. Блаженствуя в вечерние часы по четвергам, Алексей Алексеевич нередко проклинал в душе графа Стругова за то, что тот вырвал из его рук и отдал Стефании Высоцкой после смерти Евграфа Александровича шесть тысяч, на которые можно бы прожить еще лучше до получения всего наследства. Эта мысль, впрочем, не высказывалась никогда Алексеем Алексеевичем, хотя он и не упускал случая называть графа Стругова «опасным человеком, нигилиствующим аристократом, нарушающим священнейшие законы государства и потакающим разврату». Окружая себя полезными связями, экономничая, чуть не голодая в течение шести дней, чтобы прикармливать на седьмой

«нужных людей», создавая из них себе каменную стену, на которую потом можно опереться, или лестницу, по которой после можно дойти до степеней известных, блаженствуя сознанием своего упроченного в свете положения, Алексей Алексеевич, как разживающийся мещанин, чувствовал уже некоторую радостную гордость и тогда, когда хвалили что-нибудь, принадлежащее ему. Эти похвалы не могли быть часты, так как его дом не блестел еще особенно или даже какою-нибудь роскошью; но все же похвалы слышались, и вызывал их постоянно один и тот же, по-видимому, самый неблестящий, самый скромный во всем обносковском жилище, предмет. Этот предмет, эта вещь была жена хозяина. Замечая, что на нее смотрят, что ею любуются, он подзывал ее к себе и бесцеремонно целовал ее в лоб, удерживал около своего кресла и, небрежно продолжая разговор с гостями, поглаживал и похлопывал руку жены, которая, как бездушная статуя, стояла около его кресла и на которую он не поднимал даже глаз. Иногда после ужина, вылив пару рюмок вина и оставшись в более интим-

ном кружке, хозяин доходил даже до того, что сажал жену к себе на колени и, по-прежнему не глядя на нее, шутил с гостями, точно желая наглядно доказать им, что она совсем ручной зверек.

— У него совсем буржуазная манера, — говорил, зевая, с гримасой и в нос молодой граф Родянка, проникнутый до мозга костей аристократизмом и презиравший в душе Обноскова, который тоже в душе ненавидел его.

— Просто немецкий гелертер. В Германии у профессоров то же пиво, камераден и бесцеремонные нежности с гаусфрау являются одновременно и без всяких стеснений, — замечал со смехом противный хозяину Левчинов, ненавидевший и немецких профессоров, и немецкую науку, и Обноскова.

— Но она удивительно пикантна! — восклицал со слюнками на губах кузен Пьер. Он ел, пил и любил все, и больше всего любил женщин, а в женщинах, как и во всем остальном, выше всего ставил пикантность.

— Дитя мое, я вижу, что ты вполне счастлива. Теперь я могу умереть спокойно, — говорил трогательным голосом чуть не со сле-

зами на глазах Кряжов, благоговейно целуя свою дочь.

Она, склонив голову, покорно принимала поцелуй и не возражала...

ХІ

Кузен Пьер развиватель молодежи

Мнение, высказанное всеобщим кузеном Пьером насчет пикантности Груни, имело свое основание и было признано верным всеми юными старичками и старыми юношами, посещавшими дом Обноскова.

До замужества Груни на нее никто из мужчин не обращал особенного внимания. Она смотрела девочкой, такой худенькой, не развившейся, даже костлявой девочкой, что ни один из ее знакомых и не подозревал, что она вышла из детского возраста. В обществе она сама постоянно стояла в стороне от взрослых и пряталась в кругу детей. Теперь же эта малютка с миниатюрным личиком и большими вопросительно смотревшими глазами вдруг сделалась женщиной, и те люди, которые не обращали на нее внимания, стали засматриваться на нее и восхищались ею. В этом восхищении не было ничего удивительного. Никакая красавица не в состоянии так привлечь

к себе разных развращенных старичков, изношенных *goués* [1] и пресытившихся юношей, как замужняя женщина-ребенок. Всех этих людей вы встретите на балетных представлениях, ожесточенно аплодирующими какой-нибудь воспитаннице-танцовщице. Она еще не умеет хорошо танцевать, у нее еще угловатые локти и плечи, не округлились колени, плоска грудь, но развратные старички, *goués* и юноши пожирают глазами этого ребенка: он уже выпущен на сцену жизни — значит, его уже можно развращать; пора этой детской неразвитости пройдет быстро, значит, нужно ловить редкий случай. Этот ребенок, может быть, сделается красавицей, но это уже будет обыкновенное явление: красота не редкость, красота продолжается долго. Замужество девушки-ребенка то же самое, что выступление на сцену воспитанницы-танцовщицы. Малютка замужем, значит, можно попробовать развратить ее. И как устоять против этого соблазна? Развратничать с опытной женщиной, развратничать с обольщающей кокеткой, развратничать с циничной камелией, все это так старо, так при-

елось, но вызывать своими любезностями смущение женщины-ребенка, постепенно открывать ей тайны разврата, вести ее, неопытную, трепещущую и робкую, по дороге к пропасти, о! это такое наслаждение для них, тут так много «пикантности». Среди толпы людей, обративших внимание на Груню, одним из первых был, как мы видели, кузен Пьер.

Может быть, читатель спросит: чей кузен? Да ваш, отвечу я, если вы столичный житель и имеете состояние. Если же он не состоит в прямом родстве с вами, то, вероятно, у него есть какой-нибудь друг, такой же, как он сам, кузен Пьер, который уж наверное родственник вам. Кузен Пьер, или иначе Петр Петрович Фетидов, розовенький брюнет с масляными глазами, с пробором посредине лба, несхожий на подгулявшую гризетку в мужском платье, был *enfant terrible et gâté* [2] столицы, и провинция представлялась ему такой злой мачехой, к которой было лучше всего никогда не ездить. Столица глядела на него, как на своего человека, и могла во всякое время дня и ночи безошибочно сказать, что делает ее питомец, о чем он говорит и как он смотрит в

данную минуту. Провинция ничего этого не могла бы даже и вообразить, потому что у нее еще не родилось подобных детей. Но если бы какой-нибудь провинциал увидел впервые кузена Пьера, то он непременно сказал бы: «А ведь я где-то видел этого человека». Провинциал, конечно, ошибся бы, он в провинции не встречал самого кузена Пьера, но видел один его оригинал — последнюю картинку парижского модного журнала.

Действительно, кузен Пьер был: копией картинки, тогда как все остальные смертные бывают оригиналами картин. Это нисколько не мешало ему быть интересной личностью и он пленял сердца тридцатипятилетних женщин, получая в дар рысаков и эгоистки уже на семнадцатом году, когда при окончании ученья в «Лицее» или в «Правоведении», он стал являться в цирках и на загородных гуляньях: неизменным спутником какого-то гусара. С тех пор прошли годы, но кузен Пьер перестал их считать, и потому трудно определить, каких лет он является на сцену нашего романа. Но с семнадцатилетнего возраста он вел регулярную жизнь, аккуратно сменяя ры-

саков, тридцатипятилетних поклонниц, и спутников гусаров.

Он вставал в двенадцатом часу, надевал модный пиджак, пил черный кофе и чистил ногти, пробегал глазами столбцы газет или страницы новых журнальных номеров. Так как газет и журналов много, то кузен Пьер читал во всех номерах понемногу и тверже всего запоминал заглавия статей, чтобы иметь полную возможность основательно спорить, и судить о каждой из них. Потом кузен Пьер делал визиты, гулял по Невскому проспекту или по Дворцовой набережной и в три часа пополудни его можно было застать у Вольфа, Бореля или Дюссо; здесь, с тартинкою в руке, с вброшенным стеклышком в глаз, с сверкающими взглядами, с живыми движениями, он увлекался горячим спором, говоря, как и все его друзья, немного в нос, отрывисто и очень громко о красоте Барбо, о пластичности Петипа, о плохих финансах России, о коварстве Наполеона, о рысаках Матильды, о последних вредных статьях русских либеральных журналов. Оживление было искренно и зажигательно, несмотря на предмет раз-

говора. Толпа, окружавшая кузена Пьера и состоявшая большею частью из богатых студентов, лицейстов, правоведов и гвардейских юнкеров, увлекалась его беседами, овладевала им на остальную половину дня, и потому он обедал в кругу приятелей, ехал с ними в театр, несся на пикник с актрисами или в маскарад и часов в шесть утра возвращался домой, когда уже гасили фонари, чего, впрочем, он не видал, так как в его собственных глазах уже давно погас свет жизни. Только небо да камердинер кузена Пьера знали, как он добирался до постели, как раздевался и как проводил время до двенадцати часов дня, — этой тайны не знал и сам кузен Пьер, по крайней мере на другой день он не помнил вчерашнего дня, как будто этого дня никогда не существовало в его жизни: можно сказать смело, что кузен Пьер был каждый день новорожденным младенцем, не имеющим ничего прошлого и потому пламенно отдающимся настоящему. О будущем кузен Пьер тоже не думал и имел на это очень основательные причины.

— Помилуйте, — говорил он по-француз-

ски, — будущее — это неизвестность. Что же мне ломать голову и подлаживаться к неизвестному? Как ни подготовляйся, а оно все-таки будет ново и поразит неожиданностью. Стараться угадать его — то же, что стараться открыть философский камень или рассуждать о загробной жизни.

Кузен Пьер числился где-то чем-то на службе, может быть, был чиновником по особым поручениям или даже камер-юнкером, впрочем, это — одно предположение; сверх того он был членом покровителей животных, нищенского комитета, миссионерского общества, наблюдателем каких-то приютов, пожертвовал куда-то для чего-то корпию, за что-то заслужил иностранный орден, откуда-то получил какой-то почетный диплом и даже выказал два раза всенародно свою гражданскую деятельность. Однажды он приказал будочнику отправить, куда следует, какую-то нищую с ребенком, просившую подаяния и возбудившую в нем тошноту своею искалеченною на фабрике рукою; в другой раз он призвал городского для взятия в полицию оборванного и истощенного работника, му-

жика, через меру нагрудившего по приказанию хозяина телегу и заградившего остановившимся возом дорогу перед эгоисткою нашего героя. Но собственно служил он обществу на другом поприще: он, консерватор, был, как и большая часть даже самых отсталых людей в наше странное время, пропагандистом, популяризатором новых идей и понятий, хотя каждый серьезный ученый, каждый передовой человек смотрел на него, как на праздношатающегося, и никак не подозревал, что даже кузен Пьер может быть опасным отрицателем. Но это было так. Кузен Пьер отрицал все не потому, что он сознал справедливость отрицаний известного кружка людей, а потому, что он не мог ничего утверждать, за исключением французского языка, на котором он умел отлично говорить или, лучше сказать, *causer romans et chiffons* [3], как он выражался сам. Насмешки и двусмысленные остроты над всеми, и важными, и неважными предметами, лились с его бойкого языка неиссякаемым потоком, и особенно в то время, когда он заставлял за чтением учебников и лекций какого-нибудь своего кузена из лице-

истов, студентов или правоведов. История Смараглова и латинский язык, лучшие произведения поэзии в хрестоматиях и лекции о русских законах или политической экономии, богомольность бабушек и строгость отцов равно делались мишенью для остроумных шуток кузена Пьера, и заучившийся юноша, впервые слыша, что «все это гиль и вранье и ни к чему не ведет в жизни», начинал понимать, что все эти предметы совсем не так серьезны, как они кажутся, и могут быть очень смешны, если взглянуть на них со стороны. Будуарные тайны богомольной бабушки, закулисные похождения нравственного и строгого папаши, нарушение на практике строгих законов, скандальные анекдоты из жизни идеально чистых жрецов искусства, проповедовавших любовь к природе, стремление к свободе и развратничавших где-нибудь на водах, выжав всякими притеснениями последние деньги из своих крестьян, все это ярко умел изобразить кузен Пьер. Он же первый открывал своим шестнадцатилетним кузинам, что они хороши собою и что на свете есть любовь. Он же первый возмущался за-

одно с этими кузинами, развитыми им, если их хотели отдать против воли замуж, и похитил на своем веку двадцать родственниц, конечно, не для себя, но для тайного их брака с кем-нибудь из своих друзей. Подорвав таким образом двадцать раз родительскую власть, он не менее десяти раз явно нарушил крепость супружеского союза, устроив побег чужих жен с посторонними людьми, конечно, в этот счет не входят те бесчисленные случаи, когда побега не совершалось, когда кузен Пьер работал не в чужую пользу, а просто собственными поступками практически доказывал, что он стоит за свободу чувства в замужней женщине. Старухи и старики часто журили за такое поведение кузена Пьера, но серьезно сердиться на него не могли.

— Ты весь в покойного своего отца! — говорили они ему, с добродушной укоризною покачивая головами, и в умах стариков оживало то время, как отец кузена Пьера помог им увести их теперешних жен, а старухам вспоминалось, как отец кузена Пьера впервые практически доказал им всю сладость свободы чувства в замужней женщине.

При этих воспоминаниях сам кузен Пьер казался старикам и старухам не просто сыном столицы, но отчасти и их собственным сыном. Кузен Пьер действительно играл по праву в их кружках роль любимого пасынка нескольких любящих отчимов и нескольких нежных мачех.

В один из четвергов, наговорив сотни любезностей и комплиментов Груне, кузен Пьер сидел и рассуждал в стороне с своими друзьями, Левчиновым и молодым графом Родянкою, о прелестях хозяйки дома.

— Да, она действительно очень мила, — соглашались с ним собеседники.

— Мила! — с увлечением воскликнул кузен Пьер тоном упрека. — Что вы мне говорите: мила! Она просто восхитительна! Эти худенькие, едва развившиеся женщины — огонь! Тут страстность таится, неукротимая страстность. Я ведь кое-что смыслю в этом деле.

— Что и говорить! Специалист по женской части! — усмехнулся Левчинов.

— Смейтесь, смейтесь сколько вам угодно, — хохотал кузен Пьер и выказал свои бе-

лые зубы, — а между тем эта специальность доставляет наслаждений в тысячу раз больше, чем всякая другая специальность. Вот ведь вы, не специалисты по этой части, говорите, что она мила, а я знаю, что она не только мила и наделена страстною натурою, но и вполне несчастлива с трупом своего мужа...

— Несчастлива? — изумились собеседники. — Кто это вам сказал?

— Опытность специалиста, — важно ответил кузен Пьер и опять оскалил зубы. — Да-с, милостивые государи, — балаганил он, — она несчастлива. А из этого следует, что она ищет счастья. Но счастье, в чем бы она его ни искала, найдется только в любви, а если оно может найтись только в любви, то... то... ну, одним словом, надо попробовать, не можем ли мы послужить орудием для ее счастья.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Левчинов. — Вы всегда найдете предлог для волокитства.

— Фи! для волокитства! Какие тривиальные выражения вы употребляете! — воскликнул кузен Пьер, делая шутовски серьезную мину. — Тут не волокитство, а желание осчастливить ближнего, доставить ему то, че-

го недостает в его жизни.

— Нет, кроме шуток, — начал носовым голосом и с зевотой задумавшийся Родянка, — вы убеждены, что она несчастлива?

— Убежден ли я? Да, убежден, клянусь гробами моих отцов! — с комической торжественностью произнес кузен Пьер и, вдруг сощуриив глаза, пристально взглянул на графа Родянку. — А ведь и вы что-то замышляете, вы это недаром спрашиваете о действительности ее несчастья... Ну, что же, вы моложе, вы победите, вам честь и слава.

— А мне кажется, что у нее есть еще более молодые поклонники, — тихо заметил Левчинов, глядевший на кого-то сквозь плющ, за которым они сидели.

— Кто это? кто? — торопливым шепотом спросил кузен Пьер и устремил глаза по направлению в ту сторону, куда смотрел Левчинов.

— Не знаю, какой-то юнец, вон он сидит, — указал Левчинов.

Глаза молодых повес устремились на указанного юношу. Он был бледен, худ, с черными всклокоченными, курчавыми волосами;

его черные глаза впились в хозяйку дома, сидевшую в кружке женщин в противоположном углу комнаты.

— Некрасив! — улыбнулся, зевая, граф Родянка. — Злое выражение и непричесанная физиономия.

— Может быть, такие растрепыши нравятся женщинам: как вы об этом думаете, господин специалист по женской части? — спросил шутливо Левчинов, обращаясь к кузену Пьеру.

— Вот оно что! — глубокомысленно соображал кузен Пьер, уже не слыша вопроса. — Здравствуйте, *monsieur* Поль! — громко проговорил он, выставляя свое цветущее личико из-за плюща.

Панютин — это был он — вздрогнул и, растерявшись, оглядывался во все стороны, чтобы отыскать то лицо, которое назвало его по имени. Казалось, его мысли все это время носились где-то очень далеко. Наконец он увидел, что его манит к себе кузен Пьер.

— А, это вы, Петр Петрович, — поздоровался он, подходя к кузену Пьеру и пожимая ему руку.

— Вы это о чем же так задумались, что даже испугались, когда я вас позвал? — трепал по плечу Панютина кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов.

— Мало ли о чем иногда думается, не все же рассказывать, — отвечал тот.

— Тайна? А ведь в молодости только любовные тайны бывают, значит, вы думали о ней, — подшутил кузен Пьер.

— Вы ошибаетесь, я о ней не думал, — быстро ответил Панютин с румянцем на щеках и совершенно невольно обратил глаза в ту сторону, где сидела Груня.

Повесы засмеялись. Панютин сердито закусил губы, поняв свою неосторожность.

— Ну, как вы теперь живете, что поделываете? — стал расспрашивать кузен Пьер.

— Университет посещаю, — коротко ответил Панютин.

Он не имел никакого желания беседовать.

— Скучаете, я думаю, без сестры?

— Занятия есть, скучать некогда...

— Да, да, конечно! А вот у нее нет занятий, она и скучает. Вы заметили?

Панютин молча кусал губы.

— Как вы думаете, счастлива ли она? — спрашивал кузен Пьер, делая очень серьезное лицо. — Вот мы сейчас спорили об этом предмете. Я говорил, что она не может быть счастлива с трупом супруга, что ей нужен муж молодой, живой... вот, хоть бы такой, как вы.

Панютин снова вспыхнул и сухо заметил:

— Я не мешаюсь в дела сестры. Счастлива или несчастлива она — это ее дело.

— Так, так, — согласился кузен Пьер. — А я полагал, что вы так привыкли с детства друг к другу, что одного из вас всегда должны интересовать дела другого.

Панютина снова передернуло. Кузен Пьер опять стал изливаться в похвалах прелестям Груни. Панютин стоял, как на горячих углях. Он то краснел, то бледнел. Трое повес наблюдали за жертвой своей плоской шутки и продолжали дразнить ее, как дразнят голодного, запертого в клетку тигренка, показывая ему из-за решетки со всех сторон кусок мяса. Дикий тигренок сделал попытку скрыться, его удержали.

— Пойдите, куда же вы бежите? — остановил юношу кузен Пьер и взял его под руку. —

Садитесь. Мы так давно не видались. Поговоримте. Что это вы хмуритесь? Ну, что, на кладбище вашего воспитателя все по-прежнему появляются привидения похороненных мудрецов? Тень Трегубова по-старому ли восстает из своего могильного склепа и приходит во время шабаша осматривать мавзолеи кряжовского погоста? А мавзолеев все прибавляется или ими заставлены уже все углы? Находите ли вы теперь приятным свое пребывание в жилище мертвых? Иногда, я думаю, становится немного скучно?

— По крайней мере тихо, если не весело; заниматься можно, — ответил Панютин и поспешил прибавить: — Но я большую часть времени провожу в университете.

— А, да, в университете, — серьезно проговорил кузен Пьер. — Конечно, там скучать нельзя. Молодые профессора, новые, живые идеи приводят, животрепещущие вопросы поднимают; кружки молодежи составляются; товарищество крепко стоит за своих членов; споры, шум, сходки, заботы об участи бедных братьев, все кипит, волнуется юною жизнью, жизнью дня... Чудное это существова-

ние.

— Нет... да... — начал в замешательстве Панютин. Ему очень хотелось выругать кузена Пьера, очень хорошо знавшего, что в университете уже не было никаких кружков, никаких сходок, никаких новых идей.

Трое повес захохотали дружным смехом. Юноша снова с злобою закусил губы и, обрвав лист плюща, скомкал его в руке; казалось, он хотел бы в эту минуту точно так же скомкать, отбросить и растоптать ногами свою собственную жизнь.

— Что вы ему сказки-то рассказываете? — проговорил Левчинов. — У вас, я думаю, нет ни одного товарища? Вы едва ли знаете кого-нибудь из студентов даже по имени; обратился он к Панютину.

— Да, теперь студенты мало сходятся между собою, — отвечал неохотно Панютин.

— Жаль, жаль, — с сожалением произнес кузен Пьер, продолжая свое, начатое без всякой цели, шутовство. — Ну, да это не беда, поскучаете дома и в университете, так здесь отдохнуть можно, в добром родственном кружке...

— Что это вы, Петр Петрович, с умыслом или... — начал Панютин глухим голосом и не мог сразу подыскать слово, — или по вдохновению дразните меня? — окончил он.

Ему хотелось сказать не по вдохновению, а по глупости, но язык не повернулся на это.

— Дразню? Я и не думал дразнить вас, — изумился кузен Пьер и снова выставил свои блестящие зубы.

— Так что же вы спрашиваете меня о моем житье-бытье? Ну, скверно оно, вы это сами знаете. Да вам-то что до этого?

Панютин сердито встал. Кузен Пьер ласково удержал его...

— Мне, право, жаль вас, — благодушно сказал он. — Вот вы все хмуритесь, скучаете, раздражаетесь, а между тем уходит то лучшее время, когда человеку нужно жить полною жизнью.

Панютин пожал плечами и выказал снова намерение уйти.

— Право, вам надо поближе с обществом познакомиться, там найдутся и друзья, и развлечения.

— На улицу, что ли выйти да прохожих в

друзья скликать? — спросил Панютин.

— Зачем такая эксцентричность? Просто вот заходите ко мне, я вас и познакомлю с молодежью, — сказал кузен Пьер.

Панютин сухо поблагодарил его и ушел.

— Ха-ха-ха! — захохотали Левчинов и граф Родника. — Для чего вы это такую комедию с этим диким зверем разыграли?

— Субъект интересный? — ответил кузен Пьер и выставил свои зубы.

Собеседники пожали плечами, как будто выражая этим то мнение, что не стоило начинать комедии из пустяков. Граф Родянка даже зевнул, выражая этим томившую его скуку. А кузен Пьер очень многозначительно взглянул на них и стал объяснять дело.

— Этот зверек очень сердит на свое положение и очень скучает, — начал ей. — Сверх того, он очень неопытен. Из этого ясно следует, что его легко приманить какою-нибудь забавой к себе.

— Очень нужно нам всяких дураков приманивать, — презрительно промолвил граф Родянка и опять зевнул, точно зевота была задачей его жизни.

— Я не знаю, дурак он или умный, но мне он нужен, — сказал кузен Пьер. — Он, во-первых, мне передаст, любит ли его нареченная сестра своего мужа или не любит, счастлива ли она или нет, а, во-вторых, он передаст своей нареченной сестре, что я интересуюсь ею и жалею ее.

— Так он и станет ей это передавать, если он сам без ума от нее, — лениво заметил граф Родянка, пожимая плечами. — Вы упустили из виду его неопытность. Он разгорячится и все выскажет сестре.

— Какое ужасное коварство! — с комическим ужасом произнес Левчинов и захохотал.

— Это будет целый роман, — тем же скучающим и носовым тоном промолвил граф Родянка.

Кузен Пьер оскалил свои белые зубы.

— А знаете, ведь действительно было бы интересно увидеть первые шаги этого зверька в нашем обществе. Смеху доставило бы много.

— А черт его знает, еще скандал какой-нибудь учинит. Это, кажется, грубая натура, — снова зевнул граф. — Пошло все это и ни-

сколько не весело, — добавил он и помолчал.

— Вы сегодня куда? — спросил он у себе-седников через минуту.

— Не худо бы к мисс Шрам, — ответил Левчинов.

— Идет, — ответили остальные и, распрощавшись с обществом Обносковых, понеслись к мисс Шрам, одной из самых отчаянных наездниц цирка.

У нее уже собралась целая ватага разгульной молодежи. Трое новых посетителей были встречены с восторгом.

— Погодите, погодите, я вам скоро новичка привезу! — говорил кузен Пьер. — Дикаря с островов Тихого океана.

Левчинов и граф Родянка опять пожали плечами, как будто удивляясь странной настойчивости кузена

Пьера, и скоро среди шумной оргии у мисс Шрам забыли обо всей пошлой сцене и пошлых разговорах, происходивших между ними в скучном доме Обносковых.

Но у кузена Пьера не выходили из головы два молодые лица: лицо Павла и лицо Груни. Это были два новых актера, которых он мог

заставить разыграть какую-нибудь комедию, еще не известного ему содержания, но во всяком случае потешную для него. Как всякий специалист, кузен Пьер принимался за новые, относящиеся к его любимому предмету опыты, не зная, что из них выйдет, но наслаждаясь вперед самым процессом этих опытов и возможностью не сидеть без дела. Сверх того, кузену Пьеру давно приелись азбука и зады его специальности; он заметно старел, не по летам, но по усиленной жизни этих лет, и начинал чувствовать, что и дружба с тридцатипятилетними женщинами, и кутежи с наездницами и актрисами, и возня с пресытившимися друзьями становятся крайне однообразными, что в этой музыке он наизусть знает каждую нотку. Ему нужно было что-нибудь новое, выходящее из ряда этого, по-видимому, бурного и разнообразного, но, в сущности, такого же скучного и однообразного существования, как и существования какого-нибудь канцеляриста с вечной перепиской похожих до крайности одна на другую бумаг.

XII

На краю пропасти

Павел Панютин со дня свадьбы Груни не находил себе нигде покоя, тосковал, худел и ходил, как человек, утративший нечто, составлявшее всю цель его существования. Действительно, в Груне он терял все.

С самого детства никто не следил за ним, не указывал ему дороги, не направлял его мыслей. Он рос, играл, учился, скучал, терпел нападки от людей, озлоблялся; его ласкали или бранили, лечили от недугов и наказывали за лень, но ни один человек не сумел или не счел нужным заглянуть в его душевный мирок. Но было одно существо, которое никогда не успокаивалось на том, что Павла тогда-то наказали за лень, и спешило помочь ему приготовить трудный урок или решить непонятую мальчишескую задачу. Это существо не считало прописанного доктором лекарства вполне достаточным для выздоровления Павла, когда он хворал, но оно проводило дни у постели больного, старалось угадать его же-

лания и облегчить его бессонные ночи своими нежными речами, своим желанным присутствием. Все отношения этого существа к Павлу были проникнуты и согреты истинным чувством нежной любви, и потому каждая мелочь из этих отношений оставила неизгладимый след в сердце впечатлительного юноши. Он равнодушно, почти небрежно принимал дорого стоящие благодеяния Кряжова; не умилялся, получая от него хороший стол, уютную и мило обставленную комнату, отличную одежду и другие необходимые для жизни вещи; он как будто считал исполнение всех этих благодеяний обязанностью доброго старика. Но на его глаза наворачивались радостные слезы, он становился весел и счастлив на несколько дней, он прыгал, как дитя, когда доброе существо, пригревшее любовью его сиротствующую душу, дарило ему в день его рождения какой-нибудь ничтожный по цене кошелек своей работы.

— Милая, милая, ты не забыла этого дня! — в восторге восклицал мальчик, без счета целуя руки своего доброго ангела-хранителя, своей названной сестры.

Во время его недугов Кряжов тратил десятки рублей, сзывая нескольких докторов, покупая множество дорогих лекарств, но Павел не благодарил благодетеля за это, точно сознавая, что тот стал бы лечить и собаку, если бы она захворала, и не дал бы ей беспомощно выть от боли. Но едва владея ослабевшими в болезни руками, он протягивал их, заслышав ночью знакомую воздушную поступь, и когда на край его постели садилось легкое, одетое в белое платье существо, тогда ему вдруг становилось и сладко, и отрадно, и, кажется, никакие лекарства не могли помочь ему так, как помогала близость этого дорогого друга.

— Ты моя сестра, ты моя мама, — шептал он, обвивая исхудалою рукою стройную талию девушки.

— Если бы так вся жизнь прошла! — шептал он еще тише, впадая в забытье.

Ему становилось лучше. Кряжов удивлялся искусству докторов, заставляя Павла благодарить их за выздоровление, а глаза юноши, полные выражения святой признательности, обращались совсем в другую сторону и ловили взгляд той, которая одна могла спасти его

жизнь.

Так постепенно в маленьком душевном мирке Павла возникла и развилась эта привязанность. С каждым годом, чем яснее сознавались обиды, чем труднее становилась работа, чем скучнее делалось бесцельное прозябание среди памятников древности, тем более крепла эта привязанность и, наконец, превратилась в страстное болезненное чувство, превратилось в манию, в *idée fixe* [4], поглотившую все мысли, все стремления, все существо юноши. Он мечтал, как будет счастлива, как будет гордиться Груня, если он выйдет из гимназии с медалью, и учился отлично, был первым учеником. Он знал, что Груня любит кататься летом в кабриолете, и старался наловчиться управлять лошадьми. Он полагал, что Груня скоро станет выезжать на балы, и развивал свою ловкость, чтобы она могла сказать, что с ним приятнее танцевать, чем с другими. Он, воспитанный на рыцарских сказках и романах, замечал, что Кряжов дряхлеет, ему казалось, что недалеко время смерти старика, и он заботился о развитии своей физической силы, чтобы быть защитником

Груни. Во всем она — побуждение к деятельности, ее счастье — цель жизни. И никто никогда не заметил этого и никто никогда не указал ему ни других побуждений, ни других целей! И все это делалось им потому, что Груня — любимая и любящая сестра и не более, так по крайней мере полагал сам Павел. Впервые понял он, хотя и смутно, и степень своих чувств к названной сестре и их характер в тот скорбный вечер, когда она объявила ему о предстоящей своей свадьбе с Обносковым. У Павла в этот вечер точно что-то оборвалось в сердце. До сих пор он до того был удовлетворен своими отношениями к Груне, что никогда даже и не думал о каком-нибудь изменении их в будущем. Ни разу не представлялось ему, что Груня выйдет замуж, ни разу не мечтал он, что он сам может быть ее мужем. Он любил так чисто, так платонически, как может любить или, лучше сказать, обожать чистая натура в восемнадцатом году жизни. Но первое слово о замужестве любимой девушки вдруг пробудило тоску, злобу, ревность. Однако ни одной грязной и пошлой мысли не было еще в голове. Ни разу еще не представи-

лось Павлу, что он мог бы стать на место Обйоскова. Нет, ему просто хотелось сохранить прежнюю жизнь, прежнюю сестру, живущую рядом с ним, не считающую родным никого, кроме его, Павла, и старика отца. Но вот приехал Обносков. Первый поцелуй, первая ласка жениха вдруг перевернули все в груди и голове юноши. Он сознал, что братское чувство прошло и заменилось новым чувством, чувством страсти. Начались бессонные ночи с бредом наяву, явилось стремление бежать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы не видеть ни Груни, ни ее жениха, не слышать, не читать о них. «В деревню! в деревню!» — мучительно восклицал Павел, шагая в своей комнате и крепко сжимая руками пылающую голову, как будто из желания сдавить этот мозг, уже богатый юношеским воображением.

Вот и деревня, вся в зелени лесов и полей... Чудные картины бодрой жизни и спокойствия природы встречаются повсюду. Птицы ли в густом лесу поют, пасется ли при блеске яркого дня мирное стадо коров на пастбище, несется ли с веселым ржанием табун лоша-

дей, стуча копытами в вечернем затишье, во всем довольство своей долей, все как будто чувствует себя на своем месте. И среди этой благодати не нашел своей доли счастья только человек. Бедный, оборванный люд, пришибленный с детства судьбою, усиленным трудом добывает свой хлеб. Грязные, мозолистые, тут и там искалеченные руки не отдыхают с утра до вечера от работы. На загорелых, изнуренных лицах, облитых потом, виднеется не довольство, не счастье, но врезались следы тупой покорности и холодной безнадежности... И вот Павел чувствует впервые свое полное одиночество. Безучастный мир и яркий блеск природы не веют на него отрадой. Изнуренный народ вызывает его сожаление, но Павел не понимает, как может обтерпеться человек до такой безропотности, и ему становится дикою эта безмолвно покоряющаяся судьбе масса. Он понимает, между прочим, что и ей показалось бы не менее диким душевное горе, горе сытого, обутого, одетого, полного сил и молодости человека. Они не поняли бы, осмеяли бы друг друга и были бы правы каждый в свою очередь. Итак, полное

одинокчество. Теперь Павла не волнение души, не тоска сосет, не злоба будит от сна, нет, в нем какое-то новое чувство, чувство пустоты. Кажется, все живое смотрит на него без участия или, вернее сказать, совсем не смотрит на него, точно его нет на свете. «А ведь и точно, не будь меня, — на свете ничего не убавилось бы, как не убавилось бы ничего со смертью Кряжова или Обноскова», — думается ему, и он понимает, что эта мысль верна, и что люди правы, не замечая его. Он пробует мечтать о будущем, но мысли не клеятся, и он сознает, что ему не о чем мечтать: не все ли равно ему, что с ним будет, чем он будет? Его самого не манит еще никакая деятельность, да он и не знает, в сущности, какой-нибудь деятельности. Цели у него также еще нет. «Быть доктором хорошо, ну, лечить людей буду; быть адвокатом тоже недурно, буду защищать подсудимых; быть технологом, и это можно, буду строить машины для перевозки, для прокормления людей, и все-таки никому не будет до меня дела, как никому нет дела до Кряжова, до Обноскова, до всех встреченных в жизни личностей». А давно ли у Павла бы-

ли и побуждения, и цель для жизни? Попробовал юноша читать: стихи все воспевают природу, лунные вечера и ночи, описывают восторги дружбы, оплакивают разлуку с ним, славят ее, воспевают блаженство, безумие и муки любви; романы и повести тоже полны прелестями дружбы и восторгами любви; герои имеют друга — они блаженствуют; они имеют милую — цель их жизни достигнута, они на земле видят рай; умирает их друг. — они не находят отрады на земле; покидает их возлюбленная — они умирают. Дружба, любовь, семья, вот все цели жизни, вот все ее мотивы. У Павла не было ни друга, ни милой, ни семьи, он сознавал и без книг, что его цель жизни утратилась, и незачем ему было еще беречь свои раны и подтверждать свое скорбное убеждение. И стоило ли для таких жалких истин писать книги? Он бросил книги, и снова кругом и внутри его была пустота, пустота, одна страшная пустота!

Кто бы вы ни были, мой читатель, вспомните свои юношеские годы и не бросайте камня в моего искалеченного героя, он простое повторение вас самих. И вас в школе на-

учили географии, истории, математике, латинскому и греческому языкам и множеству других наук и языков и выпустили на волю. Для какой цели вы вслед за своими родителями считали пригодными все эти знания? Если вы были пустым юношей, вскормленным страстными к чинам и деньгам людьми, то вы мечтали кончить курс в высшем учебном заведении, сделаться чиновным человеком, приобрести значение в свете и нажать состояние на радость любимым отцу и матери, потом жениться на богатой и прекрасной женщине, зажить мирно и широко, воспитуя детей, — и только. В этом состоял весь пошлый идеал вашей жизни, сытой, мирной, спокойной. Если вы были хорошим товарищем и запаслись с детства двумя-тремя друзьями, то к этому идеалу прибавлялось счастье этих двух-трех друзей. Если у вас, сверх того, уже успела вспыхнуть любовь на школьной скамье, то к идеалу прибавлялось еще одно желание — жениться непременно на царице своего сердца и доставить ей блаженство, равняющееся вашему собственному счастью. Дальше этого не могло идти ваше желание.

Член семьи и не более по рождению, вы могли только желать быть членом семьи и в будущем. Но если слепая судьба отнимала у вас одну за другою все эти немногочисленные личности, тогда что оставалось у вас, кого вы могли надеяться порадовать своим успехом, для кого вы могли желать трудиться? Для чужих, безучастно смотрящих на вас людей? Нет! Изломанные утратами всего близкого, вы опускали в отчаянии руки и проклинали эту безучастную, холодную толпу, а она, состоящая из личностей такого же развития, как вы, или проходила со своими семьями, со своими друзьями, не обращая внимания на вас, или давила вас с помощью этих семей и друзей, швыряя в вас грязью, как в лишнего человека, занимающего клочок земли и частицу богатства, отнятые у нее. Как член своей семьи, вы с колыбели были врагом всех других семей, а эти семьи, в свою очередь, враждебно относились к вам. Никто никогда не разъяснял вам в золотую пору детства, что прежде чем сделаться членом в своей семье, вы сделали гражданином, членом обширной, не умирающей семьи — общества. Толь-

ко оно могло дать средства вашим родителям, за их услуги ему, обзавестись своим домом и воспитать вас. Только оно, а не ваши родители, могло приготовить для вас школу. Только оно могло обещать вам в будущем и чины, и богатство, и возможность семенного счастья. Но для того, чтобы оно могло, не делая несправедливости, дать вам все эти блага, оно требовало вашей службы, вашей немощи, вашей любви к нему, одним словом, всего того, чего требовала и ваша частная семья. Но люди озлобленно ратуют на словах против эгоизма, стремятся убить речами этот неискоренимый, прирожденный инстинкт, и в то же время всеми своими поступками делают в делах этот инстинкт только еще более грубым и бессмысленным, тогда как, направленный ко благу, он мог бы быть началом всякого добра. Дети самых честных людей чуть не с пелен приучаются мечтать о своих чинах, о своем богатстве, о своей благотворительности, о своем счастье с любимым другом, с любимой подругой, с милыми родными; но никогда не научат ребенка тому, что это счастье может явиться только тогда, когда мы заслужим его

от общества, что общество не должно ничего давать нам, если мы ничего еще не заслужили, что даже самая хвалимая благотворительность наша есть только грустное свидетельство нашего непонимания роли гражданина. гражданин не может быть благодетелем, как не может быть семьянин благодетелем своих отца, матери и детей; наша помощь ближнему есть просто служба, ради которой нас не выталкивают вон из общества и считают его членами. Если бы нас научили с пелен любить общество и считать себя прежде всего его членом, то никогда в жизни мы не потеряли бы жажды жить, никогда не осиротели бы, никогда не спросили бы себя: для чего я буду работать? для того, чтобы умереть незамеченным, нелюбимым, одиноким? Не было бы счета нашей родне, не было бы числа нашим друзьям, не было бы границ нашей деятельности и никогда не знали бы мы, что значит скука, отчаянье и бесцельность жизни. Теперь же, состоя на службе, вы видите первых своих врагов в сослуживцах, как в людях, перебивающих у вас выгодное место; делаясь простым работником, вы видите врагов в

ближайших к вам работниках, как в людях, могущих получить от хозяина большую плату, чем получаете вы; являясь проповедником известных идей, писателем, вы топчете в грязь именно тех, кто проповедует ваши идеи: вы видите в нем человека, могущего стать выше вас по своему значению. Служба, труд, идеи — это все только средства для вас достигнуть личного, узенького, подлого счастья для себя и для своей семьи.

Прошло для Павла тяжелое лето, наступила осень и время поступления в университет. Это не было началом студенческой жизни, а просто хождением на лекции, мало интересовавшие Павла и среди которых он узнавал иногда и такие вещи, что «не следует ни под каким видом читать Милля», что «Нимфа Эгерия помогала Нуме Помпилию при составлении законов», что «в петербургской губернии есть годные земли, продающиеся по пятидесяти копеек за десятину», что «смертная казнь необходима» и что «законы составляются для подданных, а подданными называются люди, обязанные повиноваться законам» и т. д. Слушая среди многих полезных

сведений и подобные диковинки, он охладел ради этих диковинок и к полезным знаниям, и скучал. Сотни студентов между тем ходили по университетским коридорам отдельно, поодиночке, как монахи в монастыре, углубленные в созерцание; между ними, кажется, не было и не могло быть ни малейшей внутренней связи. Если где-нибудь сходились три человека, то они спешили тотчас же разойтись, завидев начальство. Общие толки поднимались только по поводу составления литографированных лекций, и эти толки оканчивались резкими и грубыми ссорами, так как дело шло о приобретении лишней копейки бедняками, знавшими, что товарищество не поможет и не имеет возможности помочь им, если они будут голодать. Непривыкший без того к товариществу, Павел при этих жизненных условиях еще менее находил возможности сблизиться с кем-нибудь из студентов. Ему было скучно в этих стенах, среди этой отчужденной толпы, как бывает скучно какому-нибудь юному конторщику в немой, как могила, конторе за перепискою непонятных и противных бумаг, от которых конторщик ви-

дит, может быть, пользу хозяину, но никак не себе. Не веселее было и дома. Единственный дом, где мог Павел встретить общество, был дом Груни. Но именно сюда-то и старался как можно реже заглядывать юноша. Он не сердился на Груню, но ему было тяжело видеть ее, если она казалась счастливой и веселою; ему становилось еще тяжелее, если она являлась опечаленною и несчастною. Да и сама она старалась избегать встреч и разговоров с ним. У нее на это были свои основательные причины. Она боялась разжигать любовь Павла и хотела, чтобы время охладило эту страсть; она смущалась, ожидая расспросов юноши о ее счастье, так как перед этим юношею она не могла ни за что на свете солгать и описать небывалое блаженство своего настоящего положения; она трепетала от страха, что первая откровенная беседа откроет ему в настоящем свете ее скорбную жизнь и отнимет у него возможность спокойно заниматься, подтолкнет его, может быть, на какой-нибудь необдуманый поступок, который без всякой пользы для кого бы то ни было из них сразу может открыть глаза и ее мужу, и ее отцу. Во-

обще в отношениях молодых людей проглядывала какая-то застенчивость и стремление отдалиться друг от друга. И здесь чувствовалась пустота.

В одно из редких появлений Павла в доме Обносковых мы слышали его разговор с кузеном Пьером. Этот разговор еще более уяснил Павлу, как скверно его положение, как важен для него недостаток товарищей и друзей. Но Павел не поспешил воспользоваться знакомством кузена Пьера и не пошел к нему. Он, напротив того, еще упрямее затворился в одной из келий кряжовского монастыря, среди памятников отжившего мира. Пустота в душе и пустота кругом делались между тем все страшнее и страшнее. В одни из дней непроходимой скуки, когда Павел лежал с книгою на постели и не участвовал мыслью в чтении, в его комнату шумно отворилась дверь.

— Вхожу к вам, милый послушник, без позволения игумена, — засмеялся кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов. — За это не будет выговора?

— Нет, — ответил Павел, поднимаясь с кровати и бросая книгу в сторону.

— И выходить из монастыря вы можете, не дожидаясь благословения отца-игумена? — шутил кузен Пьер, здороваясь с ним.

— Могу.

— Ну и отлично, потому что я хочу вас сегодня похитить отсюда. А у вас тут все по-старому, — осмотрелся кузен Пьер кругом: — Все памятники приросли к месту и находятся налицо.

— Куда же им деваться? — с досадою пожал плечами Павел, точно он желал, чтобы все эти древности провалились сквозь землю.

— Да, да, куда им деваться! На обыкновенные кладбища хоть воры забираются, воруют разные бронзовые крестики, а ваш монастырь даже и от воров-то каменной стеною отгорожен. Однако одевайтесь и поедем.

— Я сегодня, право, не расположен никуда ехать...

— Вздор, вздор! — зачастил кузен Пьер. — Уж вы потому должны ехать, чтобы загладить свою невнимательность ко мне: я вас звал к себе, а вы в течение двух недель не хотели найти свободной минуты на посещение и даже скрылись из дома Обносковых, чтоб

не видать меня.

— Право, я этого не имел в виду, — начал с смущением Павел, совсем не привыкший к шуткам кузена Пьера.

— Пожалуйста, не отговаривайтесь, — с поддельною серьезностью говорил кузен Пьер. — Но, видя, что вы не являетесь туда для избежания встреч со мною, я, конечно, мог прийти к тому заключению, что мне должно оставить дом Обносковых, так как посторонний человек не должен быть причиною разрыва между близкими родственниками. Согласитесь, что вы должны убедить меня, что вы не из-за меня не бываете у родных.

— Поверьте мне, — начал оправдываться Павел, совершенно не понимая, насколько серьезности и насколько шутовства заключалось в речах кузена Пьера.

— Ну, ну, отговорки в сторону и одевайтесь! — командовал кузен Пьер. — Я сяду спиною, чтобы не стеснять вас.

Кузен Пьер действительно уселся спиною к Павлу. Тот стал одеваться. Но пробыть пять минут в одном и том же положении было не в характере кузена Пьера, а потому через ми-

нугу он не только сидел лицом к Павлу, но даже мешал ему одеваться, стоя перед самым его носом и с жаром объясняя ему, что проводить молодые годы в такой обстановке, в таком одиночестве нелепо и непрактично, что нужно жить полной жизнью и знакомиться с тем обществом, которому скоро придется служить. Затем следовали описания какого-то блестящего маскарада, далее речь перескочила к кобыле графа Родянки, помявшей какую-то нищую на Невском, от этой кобылы был сделан скачок к одной заезжей наезднице, которую подавали где-то во время десерта au naturel. Наконец, Павел, стыдившийся одеваться при кузене Пьере, красневший от цинизма его рассказов, был одет.

XIII

Продолжение предыдущей

— Куда же мы поедем? к вам? — спросил он, выходя из дому.

— Нет, в цирк. Сегодня бенефис мисс Шрам. Прекрасное создание. Грация какая, сила в ногах, просто чудо! — восхищался кузен Пьер, садясь вслед за Павлом в роскошные сани с медвежьей полостью.

Бородатый толстый кучер едва успел застегнуть одною рукою эту полость, как нетерпеливый рысак рванулся с места и понес путников, взметая снег, по гладкой зимней дороге.

— Чудная лошадь! — вырвалось невольное восклицание у Павла.

— А вы любите лошадей? — спросил кузен Пьер.

— И лошадей, и быструю езду, — ответил Павел, любуясь рысаком и вспоминая свои летние катанья с Грунею в деревне.

— Черты русской широкой природы, — вскользь заметил кузен Пьер, оскалив зубы.

Павел молча наслаждался поездкой. Морозный, зимний вечер, блеск фонарей, неистовые «пади» бойкого кучера, мелькание экипажей и ярко освещенных магазинов — все это представляло какую-то дикую, не лишенную непонятной прелести картину. Наконец, сани сразу остановились у освещенного подъезда цирка среди густой массы извозчиков, карет, пешеходов и надрывающих горло полицейских и жандармов. Кто-то подскочил отстегнуть полость саней кузена Пьера, помог ему выйти, распахнул перед ним дверь; в коридорах солдаты, хранящие верхнюю одежду публики, низко раскланялись с кузеном Пьером и сняли на ходу его пальто; буфетчик спросил его о здоровье; какой-то волтижер, еще одетый в собственное пальто сомнительной новизны и сомнительного достоинства, с заискивающей улыбкой пожал милостиво протянутую ему руку кузена Пьера.

— Не забыли-с, что сегодня бенефис мисс Шрам, — осмелился он, улыбаясь во весь рот, заметить ломаным русским языком.

Кузен Пьер ответил ему что-то по-английски, на что волтижер дал ответ на ломаном

английском языке. Кузен Пьер сказал на это какую-то французскую фразу и получил исковерканный ответ на этом же языке. Затем последовали две немецкие фразы, из которых одна была сказана неправильно.

— Десятью языками владеет и все десять подлые, — заметил кузен Пьер Павлу, поворачиваясь спиной к волтижеру.

— Кузен Пьер! Фетидов! Петр Петрович! — раздались со всех сторон восклицания, и Павел вдруг был отрезан от кузена Пьера толпой блестящей молодежи.

Тут были военные мундиры, статские щегольские пиджаки, треугольные шляпы с невообразимо шикарно загнутыми кверху носами, красные и зеленые воротники, офицерские эполеты и юнкерские погоны, стеклышки в глазах, *rinse-nez* на носгах, блеск мишуры и газовых огней, шум сабель и оглушительный вой и визг гадейшего из самых гадких оркестров; французские полированные фразы и петушьё пение клоунов, пискотня наруганных наездниц, одетых еще в свои платья, и ржанье коней в соседней конюшне, запах *bouquet de l'Impératrice* и вонь навоза, матуш-

кины сынки и конюхи, свежесть едва начинающейся розовой молодости и морщины гнусной, истасканной в разврате старости. Толпа волновалась, сходилась и расступалась в широком проходе между ареной и занавесом в конюшни, и потому было видно, что она здесь своя, что все ее члены — члены одной семьи и принадлежат к цирку, а не к той терпеливо и тупо сидевшей публике, которая купила себе места, чтобы полюбоваться, как люди за ее деньги ломают шеи для ее потехи. Эта публика впивалась глазами в наездниц и наездников, рассматривая подробно этих голодных смельчаков, готовых искалечить себя из-за куска хлеба; для этой публики отважные смельчаки были какой-то диковинкой. Но не обращала никакого внимания на штуки этих смельчаков та толпа «своих людей цирка», среди которой очутился кузен Пьер и за которой стоял Павел. Эта толпа только подавала сигналы глупой и не посвященной в тайны публике, когда надо хлопать и когда следует хранить молчание. Это клакеры, платящие большие деньги за право хлопанья. Это кормильцы и поильцы голодной стаи ба-

лаганных кривляк. Это жалкие остатки прежних владельцев крепостных актеров и актрис.

Павел был ошеломлен этим шумным, блестящим и непривычным для него зрелищем и не мог сразу опомниться, к тому же у него почти под ухом проклятый оркестр гремел и визжал, заливаясь персидским маршем. Мужественные трубы и литавры, казалось, силились заглушить бабий визг пискливых скрипок, а скрипки, в свою очередь, наперерыв друг перед другом старались взвизгивать, как можно резче и чаще, точно это был шабаш ведьм, не слушающих басовых приказаний сатаны замолчать.

— А где же мой юный друг? — очнулся кузен Пьер и, увидав Павла, представил его толпе своих друзей. — Охотник до лошадей, — отреккомендовал он.

— А до наездниц? — спросил кто-то носовым голосом.

— Все придет, все придет своим чередом! — успокоил кузен Пьер.

К Павлу протянулась рука графа Родянки.

— А ты заметно стареешь, — насмешливо шепнул кузену Пьеру Левчинов. — Начина-

ещь делаться наставником и покровителем юношества.

— Что делать, что делать! — воскликнул с ироническим добродушием кузен Пьер. — Надо что-нибудь новое, свежее, вы все стали до крайности однообразны, повыдохлись и приелись.

— Это значит платить тою же монетою, — засмеялся Левчинов.

— Господа, чур сегодня не вызывать Маньку! — обратился кто-то в толпе к окружающим. — Маньку надо проучить. Она ласковее, когда ее проучат.

— За себя ручаюсь. Я сегодня буду аплодировать только юному Банье. Да здравствуют юноши и их свежесть! — воскликнул кузен Пьер.

— Пойдемте в буфет, теперь дура Лорен будет трясти свои старые кости на старой кляче, а потом Феликс будет ломаться, — проговорил кто-то раздражительным голосом.

— И черт их дергает высылать таких уродов ребят, как Феликс, или таких старых ведьм, как Лорен! — заметил кузен Пьер. — Кому они нужны!

Толпа, с громом сабель и шумом речей, хотя и брани против распоряжений цирка, двинулась в буфет через конюшни, где готовлялись волтижеры и украшались лошади.

— Сейчас начинается, — заметил, раскланиваясь, содержатель цирка своим дорогим посетителям.

— Что начинается-то? — ответили ему. — Скелет вашей Лоренши будут волочить по арене? Толстый живот и кривые ноги вашего слюнявого Феликса будут показывать зевакам?

— Пра-о, к вам по-адочные люди пегестанут ездить, если вы так будете состаа-лять афиши.

Содержатель цирка, привыкший понимать язык клоунов, понял и эти произнесенные в нос и исковерканные слова и униженно раскланялся, постарался подобострастно улыбнуться и робко заметил:

— Что делать, что делать! Хороших сюжетов мало и они капризничают, не хотят себя утомлять. А надо как можно более номеров для афиш. Публика ценит продолжительность представлений.

— Ка-а-кая публика? Эта-то? — с презрением кивнули в толпе головами по направлению к массе, терпеливо ожидающей представления. — Много она принесет вам доходу!

— Ду-аки эти ди-ектога цигков, — говорил кто-то в толпе. — Не понимают, что все эти ка-а-мелии никогда не заглянули бы к ним, если бы представления длились всю ночь, но не было бы нас. А с гайка сбог невелик.

Павел остался между тем на своем месте и не пошел в буфет.

Первые два нумера прошли вяло: протаскала по арене разбитая кляча Фанни такую же разбитую клячу Лорен, и обе пошли отдыхать в свои стойла, и, вероятно, стойло Фанни было гораздо лучше, уютнее и теплее стойла Лорен, давно приютившейся среди обносков и хлама старых тряпок в грязной каморке, не то гардеробной, не то кладовой в богатой квартире мисс Шрам, у которой Лорен занимала место среднее между горничной и — как бы это прилично выразиться — секретарем в юбке, объявлявшим поклонникам мисс Шрам, что нужно сделать, чтобы добиться знакомства юной повелительницы. После

старых кляч Фанни и Лорен на арене показал свои действительно кривые ноги и действительно толстый живот, облеченный в трикотажного цвета, Феликс. О! лучше бы он никогда не облакался в трико, лучше бы никогда не появлялся на арене со своими вывихнутыми ногами! Он поломался, погнулся по-змеинному, потряс во все стороны тысячу раз своею большой головой, как привязанным на нитке узлом ненужного тряпья, потом скрылся и под рукоплескания райка выбежал снова, перекувырнулся десять раз в навозной земле арены и встал в позу летящего амура, оставив одну кривую ногу назад, выпятив вперед живот и поднося с лакейскою ловкостью правую руку к губам, что должно было означать благодарственный воздушный поцелуй публике со стороны этого милого младенца. После такой любезности милый младенец легко повернулся на одной кривой ножке и убежал, снова вызвав новые рукоплескания райка. Лицо этого невинного младенца тотчас же изменилось, как только за ним задернулась занавеса. Там он обернул голову по направлению к публике и, искривив свое невинное ли-

чико уродливой гримасой, высунул язык. Воспользовавшись удобным случаем, ему кто-то из милых малюток цирка подставил ногу, и Феликс грохнулся на землю. Завязалась драка. В это время выводили лошадь для мисс Шрам, и берейтор очень бесцеремонно и дружески хлестнул своим бичом по невинно забавлявшимся малюткам. На лице одного из невинных младенцев осталась розовая от выступившей крови полоса.

Начался плач, но шум сабель и говор заглушили эти хныканья и прекратили сцену; за лошадью мисс Шрам из-за занавесы выпала толпа конюхов и молодежи; между этими членами семейства цирка порхнуло воздушное, коротенькое газовое платье, усеянное камелиями, и легкие ножки, обтянутые в шелковое трико, резво помчали по направлению к коню мисс Шрам, рассыпавшую во все стороны воздушные поцелуи рукоплещущей публике.

— Бра-о, бра-о! — неистовствовала толпа клоунов и кутящей молодежи. — Бра-о!

Клоуны коверкали язык для возбуждения сильнейшего смеха в публике своим полней-

шим унижением и исключением себя даже по языку из человеческого общества; блестящая молодежь коверкала тоже свой язык, но только из чувства сознания своего достоинства, не позволяющего говорить языком людей.

— Без буфф, — радостно шепнул кузен Пьер, помещаясь возле Павла.

От кузена Пьера пахло шампанским.

Кузен Пьер продолжал делать свои замечания, одно циничнее другого, но Павел уже не слушал его и впился глазами в носящуюся по арене мисс Шрам.

В этой, еще прекрасной, хотя и не первой молодости, женщине было действительно какое-то безумное, бесшабашное и опьяняющее ухарство. Она неслась по арене, щелкая бичом и прерывистым диким криком подстрекая лошадь, неслась с такою быстротою, как будто за ней гналась стая голодных и бешеных волков, и у нее самой была тысяча жизней и все одна другой ненужнее, одна другой постылее. Вся масса кровожадно приковалась глазами к этому летающему в воздухе существу. Только гиканье берейторов и мисс

Шрам да хлопанье бичей нарушали тишину. Вдруг какой-то клоун зазевался и не успел продернуть полотна, через которое прыгала мисс Шрам, и она на всем скаку слетела с лошади на землю. Павел вскрикнул и вскочил... Но в ту же минуту мисс Шрам снова неслась на лошади и, погрозив пальцем неосторожному клоуну, снова кричала прерывающимся, диким голосом, и цирк оглушали неистовые рукоплескания одуревшей, опьяненной толпы дикарей. Казалось, что сотни обитателей сумасшедшего дома собрались сюда устроить свой бешеный шабаш. Какой-нибудь африканский дикарь, привыкший к самым звероподобным кривляньям, удивился бы при виде этого безумного ломанья цивилизованной толпы. Но каково было бы его удивление, если бы он мог понять, что на эти ломанья бросаются десятки тысяч образованными людьми? Но мы присмотрелись к этому безумию и давно потеряли способность удивляться чему бы то ни было.

— Чего вы испугались, юноша? — промолвил рукоплещущий кузен Пьер. — Это часто бывает. Беды большой нет. Декольтирует на

минуту свои ножки, вот и все.

Но хладнокровие и уверенность мисс Шрам уже были потеряны. Строптивая и раздражительная, она смотрела гневно, с ее лица исчезла приветливая улыбка, и глаза сверкали злобой; в ее ноге чувствовалась легкая боль, но скачки наездница не прекращала. Еще было сделано два круга, на половине третьего круга мисс Шрам снова зацепилась за обруч и полетела, но уже не на арену, а по направлению к бенуару; стукнулась коленями о барьер, перекувырнулась в воздухе и без чувств упала под ноги какого-то офицера. Неосторожный клоун с обручем в руке тоже покатился в ложу и всей массой своего тела стукнулся о голову другого господина, сбив с него шляпу. Мисс Шрам не вставала; ее подняли и повели под руки к конюшне, хотя лучше было бы ее нести, так как ее ноги не двигались. Часть публики двинулась к конюшне, но туда допускали только «своих людей», в число которых попал и Павел по протекции кузена Пьера, а остальным говорили, что «все пустяки», что «последствий не будет». На арене уже кувыркались и пели петухами клоу-

ны... Через четверть часа мисс Шрам под крики «бра-о» раскланивалась публике.

— Вы так испугали этого молодого человека, что он крикнул и чуть не упал в обморок, — заметил ей кузен Пьер, указывая на Павла и скаля зубы.

— Thank you! [5] — мелодическим голосом произнесла она и дружески сжала на ходу руку юноши.

Он воротился на свое место в восторге.

— Если вы не выгоните этого мерзавца, я отказываюсь ездить, — говорила между тем мисс Шрам содержателю цирка за занавесой злобным голосом и с искаженным от гнева лицом.

Человек, названный ею мерзавцем, стоял, понутив голову. Его лицо было худо и старо и разрисовано зеленой, красной, желтой и черной красками. В этом положении он был похож на какого-то голодного черта в отставке и казался тем смешнее, чем жалостнее было выражение его лица. Плач шута всегда вызывает смех. Около него стоял оборванный и тоже худой мальчуган — его сын. Дома лежала больная жена и копошилось еще четверо де-

тей.

— Мисс Шрам, я штраф внесу, — проговорил он жалобным тоном.

— Что мне в вашем штрафе? — сердито ответила она и скрылась в толпе клоунов и своих поклонников.

— Сходи к Лоренше, авось, устроит дело, — сказал кто-то поймавшему в опалу клоуну.

— А штраф ты все-таки внесешь, — сурово произнес содержатель цирка. — Без этого уж не обойдется, любезный друг! Пользы не приносите, а только гадите! Кому ты нужен? Кто тебе аплодирует? Как ни раскрашивай свою харю, а все на одра похож. Смотреть гадко! Тьфу! Ты думаешь, публике нужна такая старая сволочь, как ты?

Клоун стоял, понутив голову; он сам признавал в душе, что он давно уже не слышал рукоплесканий себе, что он давно пережил ту пору, когда его дарили, когда его приветствовали, когда он мог являться перед толпой с природным румянцем на молодых, покрытых первым пухом щеках, в полупрозрачном шелковом трико, возбуждая восторг зрителей своей фигурой Аполлона! Теперь он был похож

на поросшую мхом, отвратительную руину, полную гнильи, летучих мышей и червей, мозолящую глаза зрителя среди прелестей новых, сверкающих свежестью и красотой зданий.

А представление шло своим чередом. Крики «бра-о» не умолкали. Клоуны выделывали свои невообразимые штуки, присяжные посетители, «свои люди цирка», громко выражали свои мнения. Кузен Пьер разжигал своего юного ученика и нового друга своими замечаниями насчет удалых наездников и наездниц. Павел не мог преодолеть своего увлечения красотой лошадей и отвагой людей. Для него, для новичка в этом месте, было что-то одуряющее во всей этой массе разнообразных впечатлений. Его душу волновали то страх за наездников, то восторг за удачное окончание трудных прыжков, то удивление перед пламенным оживлением артистов, то иногда проскальзывало живое чувство грусти за унижение человека. Но каковы бы ни были все эти чувства, они все приводили к одному результату — к опьянению. Оно усилилось еще более, когда в антракте Павлу предложили

бокал шампанского; когда кто-то подошел к нему со словами: «паа-зольте закутить паа-пи-осу!» и начал восхищаться артистками, рассказывая, что они еще пламеннее вне цирка; когда мисс Шрам в мужском охотничьем платье стала танцевать ирландский танец на натянутом канате, то поднимаясь на воздух, то садясь на эластический канат и сразу поднимаясь с него снова на воздух, — Павел пожирал глазами эту пламенную, черноволосую и черноглазую женщину и не мог оторвать от нее взоров, когда она на время оставалась и, пронзая насквозь зрителей своим взглядом, с минуту, не смигнув, мрачно глядела жгучими глазами исподлобья на кого-нибудь из них. Казалось, в эту минуту она выбирала свою жертву и ставила себе задачей смутить эту жертву одним своим медленным, пронзающим, жгучим взглядом. Один этот взгляд вызывал бешеные рукоплескания, а мисс Шрам, только натешившись вполне смущением избранной жертвы, только наслушавшись досыта рукоплесканий, прояснилась улыбкой и снова порхала по канату. Павел не мог сдерживаться и неистово

рукоплескал ей. Ему казалось, что страсть, кипевшая в нем самом в памятный для него скорбный вечер у Кряжова, должна была именно так отражаться на его лице, и ему чудилось, что мисс Шрам так же, как он сам, тщетно жаждет любви и, может быть, страдает. Когда представление кончилось, кузен Пьер промолвил Павлу:

— Ну, вы довольны?

— Да, — ответил бессознательно Павел.

— Здесь по крайней мере не скучно и нет вялости. Черт знает, как отупляют человека скука и вялая жизнь. Я пригласил бы вас и на пикник с нами, но на первый раз с вас довольно... А то послушали бы, как поет мисс Шрам английские песни и как танцует джиг. Чудо! Это огонь женщина!.. Ну, да время не ушло; увидите еще!

Павел стал прощаться.

У подъезда стояло несколько троечных саней, и около них толпилась, хохотала и шумела буйная масса блестящей молодежи и раздавались веселые и звонкие женские голоса. Все ждали только мисс Шрам, чтобы тронуться в путь; кони давно уже храпели от нетер-

пения. Вдруг среди этой суматохи и этого шума Павел услышал за собою смелый и скорее юношеский, чем женский голос; этот голос напевал одну из элегических наивных песен Бёрнса. Павел настолько знал по-английски, чтобы понять простые и трогательные слова этой песни. Он обернулся, перед ним стоял стройный юноша, с немного откинутой назад головой и вьющимися черными кудрями.

— Бра-о, бра-о! Мисс Шрам! Мисс Шрам, вас ждут! — раздались крики у саней, и юный певец шаловливо, с громким смехом, вскочил в сани.

Все заговорило, захохотало, в воздухе раздался свист разгульных троечников, прозвучало ржанье коней, голос кузена Пьера произнес: «Прощайте, Поль!», шаловливый юноша-певец крикнул: «Adieu, my poor boy!» [6], и через миг кругом Павла все было тихо, темно и безлюдно, а в его ушах все еще звенел веселый хохот и серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!» Ему чудились блестящие огнями загородные залы богатого отеля, танцы, веселье, беззаботный хохот, стройный юноша-певец с жгучими, впивающимися в душу глаза-

ми, и среди этого веселья и шума слышались серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!» У Павла шумело в голове шампанское, его билата лихорадочная дрожь, то бросало в горячечный жар; с трудом дотащил его на своей хромой кляче ночной извозчик до дома, с трудом добрал он до своей мрачной, безмолвной, похожей на могильный склеп комнаты, с трудом улегся он в холодную постель, тоскливо стараясь уснуть и заглушить эти неотступные, благословляющие его на сон и в то же время отгоняющие сон серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!»

Отныне долго не будет он знать спокойно-го сна!..

XIV

Домашний ад и случайное перемирие

Груня все чаще и чаще стала подумывать об объяснении со своим мужем насчет отношений к ней Марьи Ивановны и выжидала удобной минуты. Ей становились невыносимы нападки свекрови, и она еще верила отчасти в возможность как-нибудь уладить дело с мужем. Но, прежде чем она успела привести в исполнение свое намерение, в их доме случилась неожиданная тревога, отвлекшая еще более внимание Алексея Алексеевича от его жены и ее положения. Он случайно узнал о поданном ко взысканию векселе в пятнадцать тысяч, данном Стефании Высоцкой покойным Евграфом Александровичем. Расстроенный и раздраженный вернулся Обносков домой, узнав эту новость. Его лицо вдруг пожелтело более обыкновенного, губы дрожали и кривились какой-то неестественной улыбкой.

— Каково! — улыбаясь, говорил он задыха-

ощимся от злобы голосом, обращаясь к матери и жене. — Высоцкая представила вексель, подписанный дядею. Пятнадцать тысяч требует.

— Да она взбесилась, что ли! — неистово воскликнула Марья Ивановна, всплеснув руками. — Кто это ей их даст? Вот нашла дураков!

— Да как же вы не дадите-то? — с негодованием прохрипел сын и засмеялся каким-то глухим смехом.

— Да ведь ты, батюшка, законный, единственный наследник всего имущества дяди.

— Ну, что ж из этого? Законный наследник! А что я наследовать-то буду? Много ли останется имущества за вычетом пятнадцати тысяч?

— Да ты уж и впрямь не хочешь ли уплатить ей эти деньги? — изумилась мать.

— Да поймите вы, что у нее в руках законно написанный вексель!

— А ты скажи, что она украла его. Ведь я образ со стены сниму, к присяге пойду, что она его украла. Она с сыном и придушила братца и выкрала, верно, бумаги.

— Да что вы говорите? Это не сохранная записка, а вексель, вексель! Понимаете ли вы? Тут никакой речи не может быть о воровстве. Украла или нет, а все-таки уплатить по нем деньги нужно.

— Что же мы делать-то будем? Беззащитные мы горемыки! Господи, за что ты на нас испытание посылаешь? — хныкала Марья Ивановна, ломая руки.

— Я думаю съездить к ней, образумить ее... Ведь она грабит законных наследников... Должна же у нее быть хоть капля совести, — говорил Обносков, совершенно теряя рассудок и самообладание.

— Мне кажется, Алексей, — вмешалась Груня, — что тебе и хлопотать не о чем. Слава богу, что дядя так честно распорядился и не оставил нищими законных наследников.

— Ты с ума сошла? Дура! — с гневом сказал Алексей Алексеевич и, плюнув, вышел из комнаты.

— Да вы это кого законными наследниками-то называете, матушка? — воскликнула Марья Ивановна, отирая торопливо слезы.

— Детей дяди и его жену, — ответила Гру-

ня.

— Господи! До чего мы дожили! — всплеснула руками Марья Ивановна. — Вы бы стенто постыдились! Публичную женщину женой называете, незаконнорожденных выкидышей законными детьми признаете! И хоть бы кто-нибудь чужой это говорил, а то говорит родная, по закону венчанная жена... Не вы бы говорили, не я бы слушала!.. Да вам муж-то что? Пешка? Вы на чей счет-то живете, что его деньгами не дорожите? Уж не на свой ли? Нет, ваш милый папенька баловал вас, холил, а капитала, небось, за вами не дал. «Я, говорит, буду ежегодно давать на содержание», — пискливо произнесла Марья Ивановна, должно быть, подражая басу Кряжова, и плюнула. — Ишь какой добрый! Нет, а ты дай весь капитал, весь капитал дай, а на одном содержаньи не отъезжай! Старый надувало! Скрыга поганый!

— Марья Ивановна, я долго терпела, — заговорила Груня взволнованным и дрожащим голосом, — но теперь терпение лопнуло. Все-му бывает конец. Вы ежедневно придирались ко мне, я молчала. Но с некоторого времени

вы стали делать намеки на то, что я ничего не принесла за собою, бранить моего отца... Вы сами знаете, что это гнусная ложь, что вы и мой муж живете, большего частью, на деньги, выдаваемые моим отцом. Я об этом напоминаю вам затем, чтобы вы не смели более упрекать меня и бранить моего отца.

— Ах, матушка, расхвасталась своими деньгами, — с пошлой иронией развела руками Марья Ивановна. — Да что ваши деньги? Тьфу! Плюнуть и ногой растереть. За Леню и не такую бы нищую отдали, как вы. Нашли бы мы и получше невесту.

Груня с отвращением взглянула на свою свекровь.

— Если бы я не уважала себя, то только в таком случае я могла бы говорить с вами, — промолвила она. — Но я еще уважаю себя и считаю невозможным препираться с вами вашим же площадным языком; другого же языка вы не понимаете и не поймете. Но замечу вам раз и навсегда, и прошу вас это понять и помнить, что мы не можем жить вместе...

— Ну, матушка, не с сыном ли меня разлучить думаете? — перебила Марья Иванов-

на. — Так ошибаетесь, ошибаетесь! Дудки! Далеко кулику до Петрова дня. Не видать вам этого, как своих ушей без зеркала. Не выжить вам меня отсюда.

— Я и не говорю, что я непременно вас выживу, — холодно ответила Груня. — Я утверждаю и повторяю только одно то, что вместе мы жить не можем.

— Так уж не вы ли думаете мужа бросить? — крикнула Марья Ивановна, хлопая себя по коленям.

— Не знаю, что будет. Но вместе с вами я жить не могу, — ответила Груня.

— Погодите, погодите! Дайте Лене с делами справиться, тогда он вас научит, как нужно его мать уважать, — грозила Марья Ивановна.

— Я Алексея еще плохо понимаю, — сдержанно промолвила Груня. — Но, во всяком случае, или он сам не станет меня учить уважению недостойной женщины, или я не стану учиться этому. Таким вещам не учат. Уважение заслуживается людьми.

— Скажите, пожалуйста, какая умница. Обо всем говорит, как расписывает! — хлоп-

нула себя еще раз по коленям Марья Ивановна.

Груня с омерзением отвернулась и ушла в свою комнату. Ей было отвратительно это грубое и пошлое создание. Бедную женщину давили сотни мыслей. Она не могла ничего сообразить и прежде всего старалась успокоиться. Но это было не так легко сделать в Обносковском доме. Марья Ивановна не оставила невестку в покое и явилась через час к ней снова.

— Хоть бы лампаду-то затеплили, — заговорила свекровь укорительным тоном, вставая на стул, чтобы достать лампаду. — О боге бы больше думали, так дурь и не лезла бы в голову. Вспомнили бы, что сегодня суббота, люди ко всенощной идут. А у вас и мысли-то о господе нет, богоотступница!

— Ступайте вон из моей комнаты, — вскопчила Груня со своего места и указала на дверь стоящей леред образом на стуле свекрови. — Чтоб ваша нога никогда не была здесь. Слышите!

— Да вы хоть греха-то побоялись бы, поглядели бы, за каким я делом здесь стою, — про-

говорила Марья Ивановна, не сходя со стула и держа в руке лампаду.

— Говорят вам, идите вон! Не то я людей позову, дворников позову и велю вас вытащить отсюда силой, — вышла из себя Груня, сверкая большими глазами.

Марья Ивановна впервые услышала такие страшные звуки в голосе человеческом и струсила. Она вышла. Груня замкнула дверь на ключ. Минут, через десять Марья Ивановна постучалась снова в дверь.

— Отворите, — промолвила она довольно мягким тоном.

— Вам сказано, что вас сюда не будут пускать, — ответила ей Груня.

— Да мне лампаду надо поставить. За что вы на бога-то сердитесь?

— Не нужно мне никаких ваших лампад. Идите прочь! — крикнула Груня, и снова в ее голосе послышались страшные ноты. Это не был жидкий, полудетский крик, но слышались полные и твердые звуки гнева.

— Господи, да что же это такое? Светопреставление начинается, что ли? Раззрат, безбожие, беззаконие. Сын на мать, жена против

мужа идут, — вопила Марья Ивановна. — Вы лампаду-то возьмите, я ее на окно здесь поставлю, — продолжала она немного погодя. — Вы богу угодите, а он, творец наш небесный, вас не оставит.

Груня не трогалась с места и оставила лампаду теплиться на окне.

Алексей Алексеевич Обносков несся, между тем, к Стефании Высоцкой. Он совершенно не верил в успех своей поездки, не был ни сколько уверен в ее необходимости и все-таки ехал. Его била лихорадка, душила злоба, и ему нужно было сорвать на ком-нибудь эту злобу, высказаться до конца и уже тогда начать размышления о необходимости примирения со своей судьбою. Он хитрил теперь даже с самим собою и уверял себя, что его поездка должна иметь благие последствия, что должна же быть и у Стефании Высоцкой совесть, которая не позволит ей ограбить законных наследников и пустить почти по миру двух сестер покойника. Возбуждение было так сильно, что Обносков храбрился всю дорогу и струсил только тогда, когда в его руке уже дрогнул колокольчик у дверей Высоцкой.

В эту минуту Алексей Алексеевич готов был вернуться домой и отложить визит до другого времени, но дверь отворилась. Перед Обносковым появилось приветливое морщинистое лицо сгорбленного старика, через минуту с этого лица пропал всякий признак приветливости; оно вдруг приняло то грубое выражение, на какое способны только старые лакеи из крепостных; спина старика выпрямилась, голова поднялась.

— Кого вам? — сурово спросил Матвей Ильич, это был он.

— Высоцкую, — ответил Алексей Алексеевич и боком прошел мимо заслонившего дорогу старика. Он сам сбросил с себя пальто и выказал явное намерение пройти в комнаты.

— Да вы это куда? — остановил его Матвей Ильич. — Надо прежде доложить. Спросить: желают ли принять... А то — на! Без доклада прямо в горницы прут! Какой это такой порядок! — ворчал старик и пошел из передней в комнаты, захлопнув дверь у самого носа Обноскова.

— Старая бестия, лягается! — прошептал Алексей Алексеевич, ходя по передней нетер-

пеливой походкой.

— Ну, вот, доложил, — заворчал Матвей Ильич, снова являясь пред гостем и садясь в угол, где он до того что-то портняжил.

— Ну, что же велели сказать? — спросил Обносков в ярости.

— Что?! Видите, дверь открыта, — ну и ступайте, — ответил старик, не обращая на него внимания, и заворчал что-то себе под нос.

Под влиянием этой сцены у Алексея Алексеевича прошла минутная трусость, и на место ее явилось дерзкое желание быть грубым до последней степени и выместить на ком-нибудь проглоченную обиду. Он вошел в простую, но уютную гостиную. Перед ним, почти на середине комнаты, стояла Стефания, спокойная, прекрасная, без всяких гримас и признаков волнения. Она молчала.

— Здравствуйте, — скороговоркой пробормотал Обносков. — Меня привело в ваш дом только дело... Вы подали ко взысканию безденежный вексель, выпрошенный вами у дяди.

Стефания молча слушала, ее лицо оставалось по-прежнему спокойным. Глядя на нее в эту минуту, можно было подумать, что эта

женщина сумеет владеть собою на каком угодно допросе.

— Вы, вероятно, нехорошо понимаете, что вы делаете, — заговорил снова Обносков, отчасти удивленный этим бесстрастным спокойствием. — Требовать не свои деньги — вообще низко; но если притом они отнимаются у законных наследников, то подобному поступку трудно приискать название.

Стефания все молчала и слушала. Обносков вышел из терпения.

— Что же вы молчите? — спросил он ее.

— Что же мне отвечать? Вы выражаете свои мнения, я их слушаю, — улыбнулась Стефания невозмутимо-холодною улыбкою.

— Я совсем не затем приехал, чтобы высказывать свои мнения, — с досадою вымолвил Алексей Алексеевич, взбешенный этой улыбкой.

— Но куда ваши слова имели именно этот характер, — заметила Стефания.

— Я очень слаб, мне тяжело объясняться стоя, — произнес с одышкой Обносков и с злобной иронией прибавил: — Я сяду, хотя вы, кажется, и не желаете этого.

— Мне совершенно все равно, — равнодушно сказала Стефания и первая опустилась в кресло.

Обносков тоже сел. Оба помолчали. Он измерял ее яростными глазами, она же смотрела просто и невозмутимо спокойно — казалось, что ей очень удобно сидеть на мягком кресле и слушать гостя. Так как Стефания не изъясляла никакого желания начать беседу, то ему снова пришлось заговорить первому.

— Вы должны отчасти знать, — начал гость, — что у моего покойного дяди, кроме меня, прямого наследника, было две сестры. У этих женщин нет ничего, они почти нищие. Вся их надежда заключалась в помощи брата и в тех деньгах, которые могли достаться им после его смерти. Состояние дяди оказалось, против всяких ожиданий, гораздо менее, чем мы думали. Я не стану упрекать в чем-нибудь вас, хотя я знаю, что вы были главной причиной, уменьшившей состояние дяди. Но этого не поправишь... После его смерти осталось имущества столько, что если уплатить вам деньги по взятому вами векселю, то в остатке получится почти нуль; если же вычесть из

этого остатка следующую мне часть, то сестрам покойного достанется просто несколько рублей.

По лицу Стефании скользнула едва заметная усмешка при упоминании об этом вычете законной части Алексея Алексеевича из имущества, равняющегося нулю.

— Эти две несчастные женщины, плохо образованные, не привыкшие к труду, — продолжал гость, — останутся нищими. И причиной этого будете вы. Загляните в свою совесть. Не должны ли пробудиться там стыд и раскаяние. Вы — любовница, извините за название, но вы добровольно принимали его, живя с дядей; ваши дети — незаконнорожденные, — чьи они — это не наше дело, — и вы берете деньги, грабите их у законных наследников, пуская последних по миру. Это такое позорное преступление, это такой несмыслимый грех, перед которым человек не может не краснеть в своей душе.

Стефания спокойно полулежала в кресле и упорно продолжала молчать.

— Вы, кажется, хотите сыграть со мною комедию, — раздражился Обносков, — хотите

отмолчатся, вывести меня из терпения и выгнать вон своим молчанием?

— Что же я буду вам отвечать? — снова спокойно спросила Стефания. — Вы опять выражаете только свои мнения, я их слушаю. Ваше дело такого рода, что вам приходится ограничиться именно одною этою ролью. Вы понимаете, что другого исхода для вас нет.

— Вы так думаете-с? — едко спросил Обносков, разозленный тем, что Высоцкая сразу поняла и бесплодность его разговоров, и характер его роли. — Но положим, что я только и могу делать в этом деле одно — высказывать свои мнения. В таком случае, мне хотелось бы слышать ваше мнение.

— Мое мнение высказано гораздо раньше вашего, — равнодушно ответила Стефания.

— Да вы всё молчали! — увлекся Обносков и не сразу сообразил сущность ответа Стефании.

— Да, теперь я молчала, потому что высказалась уже прежде, подав ко взысканию вексель, — улыбнулась Высоцкая.

Обносков позеленел и, вскочив с места, заходил по комнате.

— А! Так вы смеетесь над нами! — заговорил он в гневе. — Прекрасно! Вы думаете, что мы так оставим это дело? Вы полагаете, что мы не станем требовать судом своих денег? Нет-с, я последний грош отдам, чтобы показать вам, что у нас любовницы и незаконно-рожденные дети не могут ни при каких условиях грабить законных наследников. Вы думали, что вы нашли выход обойти закон? Вы хотели насмеяться над этим законом, жили без венчанья с человеком, грабили его, чтобы заставить общество поклоняться вам и уважать вас за деньги; дураки даже называли вас, любовницу, женою этого человека; потом вы вынудили его дать вам вексель, и теперь вы опять хотите торжествовать, пуская по миру законных наследников и показывая всем, что и разврат может торжествовать над честностью и беззаконие над законностью. Но вам этого не удастся, слышите вы, не удастся!

Обносков, весь покрытый потом, искривленный от злобы, опять бросился на стул и тотчас же вскочил снова.

— Кто же вам мешает действовать судеб-

ным порядком, а не раздражать себя кричаньем здесь? — почти с участием спросила Стефания своего измученного гостя.

Гость сжал кулаки и снова тяжело опустился на стул, облокотившись на стол и стиснув голову руками.

Стефания неторопливо встала и позвонила. Вошел Матвей Ильич.

— Матвей Ильич, подайте господину Обноскову воды, — обратилась она к старику и, тихо наклонив голову, прошла мимо гостя в другую комнату.

Матвей Ильич подал воду. Обносков молча выпил. Теперь он был похож на ослабевшего ребенка. Его можно было заставить делать что угодно.

— Прикажете нанять извозчика? — спросил Матвей Ильич довольно мягким голосом и с невольным сожалением покачал головой, глядя на это вдруг осунувшееся лицо с мутными глазами.

— Да... ехать... больше нечего делать... — бормотал Обносков, как пьяный. — Нужно было!.. — треснул он кулаком по столу, не докончив своей фразы.

Стефания, между тем, вошла в свою комнату, и ее лицо приняло вдруг озабоченный вид.

— Что с тобой, матушка? — спросил ее старший сын, знакомый читателю. Теперь он уже был студентом Технологического института.

— Надо будет съездить к Обносковым, — сказала она и потерла в раздумье свой лоб рукою.

— К Обносковым? — изумился сын.

— Да, к сестрам покойного твоего отца, — продолжала мать и потом прибавила каким-то тоном удивления: — Вообрази, они чуть не остались нищими. У отца оказалось совсем не такое большое состояние, как все думали. Надо будет успокоить этих несчастных женщин.

Сын помолчал.

— Матушка, — начал он нерешительно через минуту. — Должно ли и полезно ли помочь им? Они много сделали тебе зла.

— Что же? Мстить? — спросила мать с упреком в голосе.

— Нет, нет, — отрицательно покачал головою сын. — Но они вредные женщины.

— Они нищие и будут еще вреднее, если им не помочь, — промолвила мать. — Они привыкли держать себя чопорно, жить без труда и порядочно одеваться. Если у них не будет средств, они пустятся в разврат или станут обирать других, отнимая кусок хлеба у бедняков своими происками.

— Они и теперь отнимут хлеб у бедняков. Их долю ты могла бы отдать другим...

— Но я не могла бы тогда иметь влияния на них.

— Ты думаешь их исправить?

— Нет, но для сдерживанья их у меня будут в руках средства.

Сын замолчал.

— А я уж думал, — начал он снова уже веселым тоном, — что ты к этому подлецу хочешь ехать, — указал он на ту комнату, где был за минуту Алексей Алексеевич.

— Да, он подл и вреден, — с отвращением произнесла мать и потом весело засмеялась. — Глуп он невообразимо!

Сын тоже засмеялся и нежно поцеловал руку матери, точно благодаря ее за что-то.

В доме Алексея Алексеевича шла уже в это

время суматоха. Хозяин был привезен домой совсем больным и с трудом дотащился до своей постели. Его била лихорадка, душил кашель, во всем теле чувствовалась непомерная слабость.

— Леня, голубчик, что с тобой? — всплеснула руками Марья Ивановна.

— Пошлите за доктором! Я умираю! Дышать трудно! — прошептал больной и закрыл глаза.

Марья Ивановна бросилась из комнаты, послала за доктором, выругала за неповоротливость кухарку и, захватив с вешалки из передней что-то из верхнего платья, кажется, салоп, бросилась в комнату сына. Здесь она прикрыла его принесенной теплой одеждой и снова побежала чем-то распорядиться. Груня еще ничего не знала. Наконец приехал доктор, новые хлопоты, новая беготня. До ушей Груни достиг весь этот шум, она позвала горничную и спросила о его причине.

— Барин умирает-с! — отвечала горничная. Груня побледнела и поспешно отправилась в кабинет мужа.

— Поздно, поздно пожаловать изволили, —

прошипела Марья Ивановна.

Груня вздрогнула.

— Как? — воскликнула она и бросилась к постели мужа. Он, тяжело дыша, спал.

Видя, что он жив, Груня с негодованием взглянула на Марью Ивановну, перепугавшую ее.

— Полюбуйтесь! Хорош? — шипела свекровь. — Вы всё довели его до этого. В семье-то радостей нет, так не поздоровеешь.

— Здесь не место ссориться, — шепотом заметила Груня. — Вам надо заботиться об его выздоровлении, а не добивать его огорчениями... Надеюсь, что эта потеря тяжелее всего отзовется на вас.

Груня вышла.

— Уж на ком же больше, как не на мне! — воскликнула Марья Ивановна, и вдруг ее воображению представилась возможность смерти Лени. Что тогда делать? Опять нищета, опять содержать студентов-жильцов, прокармливать себя подаяниями благотворителей? «Господи, спаси его и сохрани! Услышь материнские слезы», — шептала она, глядя на образ и мысленно сравнивая настоящее свое

сытое довольство с пережитой нуждой. Ей стало страшно за свое будущее. Но мало-помалу она начала понимать, что ее настоящее довольство только отчасти и очень мало зависит от жалованья Лени, которое прекратится с его смертью; она начала сознавать, что главный источник этого довольства заключается в деньгах, выдаваемых отцом Груни, что часть этих денег стала бы выдаваться и ей после смерти сына, если бы она была в хороших отношениях с невесткой. Прошлого нельзя воротить, но можно управлять своими отношениями к людям в настоящем. Сойтись с невесткой, ухаживать за ней, подделываться к ней стало теперь целью Марьи Ивановны. Казалось ей, что все надо перенести, что надо кошке поклониться в ножки, только бы обеспечить свое будущее. Тяжелая, бессонная ночь прошла для нее у постели умирающего сына. Не менее тягостную ночь провела и Груня в своей комнате. Она не молилась, не плакала, подобно свекрови, она даже не содрогалась при мысли о смерти мужа. Нет, какое-то страшное чувство боязливой радости было в ее душе при мысли о смерти этого че-

ловека, и Груня даже не стыдилась этого чувства. Только теперь она поняла, что ее связь разорвана не только со свекровью, но и с мужем.

Однако у нее не стало сил не пойти в комнату этого чуждого ее сердцу человека. Она говорила себе, что надо ходить даже и за чужими больными, а тем более за теми, с кем нас связали законные узы брака.

— Голубчик, ангел мой кроткий, вот и вы пришли сюда, — воскликнула Марья Ивановна, встретив на другой день Груню в комнате Алексея Алексеевича.

Груня изумилась этому приветствию.

— Простите вы меня! — всхлипывая, говорила свекровь. — Наделала я вам в жизни неприятностей!.. Вспыльчива я, а вы сердиты, вы неуступчивы... Если бы вы хоть раз приласкались ко мне, так я бы ножки ваши целовала, как собачонка за вами бегала бы... Ведь я горя в жизни натерпелась много, меня жизнь испортила... Разве я виновата, что мой карактер таков?.. Забудьте вы все старое. У одра смертного люди сходятся, врагам прощают. А ведь это сын мой умирает, — зарыдала Ма-

рья Ивановна, — сын мой.

У Груни дрогнуло сердце, но она не шевелилась с места.

— Простите меня, грешную, глупую! — еще раз простонала Марья Ивановна и быстро поднесла к губам руку невестки.

— Что вы, что вы делаете! — закрыла лицо руками Груня и впервые зарыдала какими-то истерическими слезами. — Зачем это люди жить не умеют друг с другом, зачем они губят друг друга, когда и в их сердцах есть и любовь, и нежность! — восклицала она и тихо поцеловала свекровь.

Молодое, неопытное существо было растрогано, потрясено голосом матери, рыдающей у постели умирающего сына... Сыну не стало в эту минуту легче, но горячо любящая мать успокоилась: у нее явилась надежда избавиться от нужды даже и тогда, когда он помрет...

Настало затишье и перемирие в обносковском семействе. Все дружно хлопотали о выздоровлении больного, совещались, проводили вместе вечера, дружески говорили между собой, не скупилась на поцелуи, и никто не

думал заглянуть в свою душу и прямо спросить себя: изменилась ли хоть какая-нибудь существенная черта в их характерах и убеждениях? Полюбили ли они друг друга и может ли быть естественным этот мир, если ничто внутри примирившихся личностей не изменилось? Этих вопросов не делал никто: одни по расчету и подлости, другие по неопытности и доверчивости.

XV

Во время выздоровления Алексея Алексеевича Обноскова

Алексей Алексеевич поправлялся медленно.

Долгие дни, проведенные в постели, в одиночестве, не прошли для него даром и внесли еще более желчи в его и без того желчный характер. По целым часам во время болезни размышлял он о недавних событиях, возмущивших мирное течение его жизни.

То представлялось ему, как граф Стругов, аристократ по рождению, консерватор в душе, оказал покровительство «развратной женщине», назвал ее любовную связь гражданским браком и отнял для нее деньги от законных наследников. То вспоминалось ему, как его дядя, человек постоянно уважавший законы, сумел обойти закон в пользу своих незаконнорожденных детей и, не имея сил и смелости написать духовное завещание, все-таки передал большую часть имущества этой

же развратнице. Все это будило злобу Обноскова, но еще большую злобу пробуждала в больном та мысль, что и граф Стругов, и покойный дядя, и наконец, эта низкая женщина, видимо, насмеялись над ним, над честным человеком, стоявшим за свои законные права. «Одни хитры и ловко работают для достижения своих преступных целей, — думал Алексей Алексеевич, — другие по своей слабости потакают им, третьи же без всякого сознания роют яму тем принципам, за которые они стоят и должны стоять по своему положению в свете. Как посмотришь со стороны, то подумаешь, что и дядя стоял по убеждению, а не по жалкой слабости, за гражданский брак; подумаешь, что и граф Стругов признает в принципе, а не в виде исключения, право незаконнорожденных детей на деньги законных наследников. И ведь не сознают подобные дураки, что значат исключения, что значат примеры в подобных делах. Если бы они сознавали это, то они сами испугались бы своих поступков. Ведь чем чаще открываются подобные лазейки, чем больше надеются найти их наши противники, тем смелее они дей-

ствуют. Сегодня выйдет счастливо из дела одна Стефания Высоцкая, завтра явятся десять таких Высоцких. Да и страшнее всего то, что все эти Струговы не по неосмотрительности, не по необдуманности так поступают, нет! Это на них дух времени отразился. Теперь они мягче стали смотреть на то, против чего воевали и еще воюют сами. Прежде, сколько бы ни жила развратная женщина с человеком, она все-таки оставалась в их глазах любовницей, развратницей, а теперь, извольте видеть, давность связи в подобных делах смывает, по их мнению, пятно. Дураки! Да эта давность, эта продолжительность связи делает пятно только более ярким, более несмываемым... Тут уже не может быть оправдания в минутном заблуждении, в минутном увлечении, а это просто сознательное попрание законов государства и нравов общества... Дух времени, дух времени, да будет он проклят! Скоро честному человеку нельзя будет жить на свете среди иезуитски хитрых противников и до глупости слабых и неосмотрительных сторонников. Теперь нужно бороться, теперь или никогда...»

Характер Алексея Алексеевича, несмотря на свою желчность, вялый по природе и заметно клонившийся к самодовольному добродушию под влиянием наслаждений нового строя семейной жизни, стал теперь заметно живее и — если можно так выразиться в этом случае — воинственнее. Действительно, Обносков начал чувствовать теперь не одну потребность копошиться в канцелярии министерства, собирать материалы для исследования разных древностей и изредка шипеть на жизнь, но ему хотелось бороться и воевать с обществом, идущим, по его мнению, к пропасти под влиянием духа времени. Презирая с давних пор всех газетных и журнальных болтунов, он стал теперь чувствовать потребность пустить в свет несколько шипящих статей по тем или другим современным вопросам. Насмехаясь постоянно над нашими ораторскими излияниями на разных торжественных обедах и собраниях, он теперь мечтал о первой возможности произнести где-нибудь и от своего лица какую-нибудь речь. Такое тревожное состояние духа немало поддерживалось в нашем герое и нашептываниями

его матери. Да и сами текущие события как общественной, так и его собственной жизни были не такого свойства, чтобы он мог успокоиться: наставала пора дележа имущества.

— Леня, как же ты теперь с тетками-то разделаешься? — спрашивала Марья Ивановна сына, сидя однажды в его кабинете.

— Понятно, как разделаюсь: дам им все, что им следует по закону, — ответил сын.

— То-то! А я уж думала, добрый ты мой, что нам придется все им отдать, так как твою-то часть захватила эта мерзавка...

— Что вы выдумываете! — раздражился Алексей Алексеевич. — Она не мою часть захватила, а нашу общую, и если от этого уменьшилась моя доля наследства, то точно так же уменьшилась и доля теток... Им почти ничего не придется, ну, да мне не из чего благодетельствовать. Пусть на нее и плачутся, если им мало достанется!

— И-и, батюшка, что за мало! На первый раз станет. Проживут кое-как; руки, слава богу, есть, надо ведь и потрудиться, не все же за чужой спиной на свете жить. Бог труды любит!..

— Что они там будут делать, это не мое дело, — отвернулся Обносков от матери и взял книгу, чтобы прекратить разговор.

— Ну, занимайся, занимайся, я тебе не стану мешать, — проговорила мать и на цыпочках вышла из комнаты.

Сестры покойного Евграфа Александровича пришли просто в ужас, узнав, что им достается из имения «братца» такая малая часть, на которую нельзя жить ни при какой экономии. Со слезами на глазах и мольбою в голосе явились две девственницы к племяннику просить помощи. Они немного опустили крылья в последнее время и были более кротки, чем в недавно прошедшие времена, Призрак нужды заставит присмиреть хоть кого...

— Поймите, что я рад бы всей душою помочь вам, — говорил им Алексей Алексеевич, — но мне самому жить нужно, у меня семья... Вы получили законную часть, так же как и я, никто из нас не виноват, что наши части так малы... Если мы можем на кого-нибудь пенять, так это на покойного дядю, да на ту, которая ограбила нас всех.

— Проклятая! проклятая! Она нас обобра-
ла, по миру пустила, — воскликнула Марья
Ивановна. — И вы, сестрицы, кругом виноват-
ты!..

— Мы? — всплеснули руками от удивле-
ния сестры.

— Да, да, вы... Не могли отвлечь от нее
братца! — упрекнула Марья Ивановна. — Вот
и были бы теперь все и богаты, и счастливы.
А то, на-ко, жили весь век с братцем, а не мог-
ли узнать, к кому он ходит, в кого деньги са-
дит... Вы только подумайте, что он ей при
жизни-то передавал?

— Да что же мы могли сделать, сестрица?
Братец все так тайно делал, мы и мешаться в
его дела не смели, — заплакали сестры.

— Не смели, не смели! — передразнила их
пискливые голоса Марья Ивановна. — А вы
разве не могли его в руках держать? Где так
остры, а на это ума не хватило!.. Да на что же
и женщина на свет создана, как не для того,
чтобы мужчину в руках держать? Да дай-ка
им, мужчинам-то, волю, так что же после это-
го и со светом-то случилось бы? В разор разори-
лись бы все... Нет, нет, уж вы-то кругом вино-

ваты, только дрязги умели заводить, а дела делать не умели.

— Грех вам, Марья Ивановна, нас обижать, — проговорила слабодушная Вера Александровна.

— Это, видишь, потому, что мы бедны стали, — едко заметила уже начинавшая сердиться Ольга Александровна.

— Ну да, бедны, а вот эта-то мерзавка теперь и смеется над нами по вашей милости да по вашей слабости, — кричала Марья Ивановна. — По миру пойдете — гроша не подаст!

— Ну, это вы не подадите, а она подаст, — раздражительно ввернула сестра Ольга.

— Она... она... вот и теперь хотела нам помочь, — хныкала совсем растерявшаяся сестра Вера, — да мы на Леню надеялись.

— Что-о?.. Да вы ее где это видели? — изумилась Марья Ивановна.

— Она к нам заезжала, — ответила меньшая сестра.

— Да, матушки, так вы вот как поступаете! — хлопнула себя по коленкам Марья Ивановна и вся покраснелась от гнева. — Так это вот какая механика-то подведена была! Вы

это, значит, стакнулись с ней! Уж и вексель-то братец не по вашей ли милости ей выдал?

— Что вы! что вы, сестрица! — молящим тоном воскликнула перепуганная Вера Александровна.

— Да чего тут: что вы! Все, все теперь ясно, как день; это вы Леню-то ограбить хотели, втроем пятнадцать тысяч разделить задумали!.. Ай да роденька! Отлично!.. Ну, не ожидала я этой подлости от вас!

— Оставьте, маменька! — сердито заметил Обносков, все время ходивший в нетерпении по комнате. — Что вам за охота вечно начинать истории!

— Нет, батюшка, не оставлю, и ты мне уж в этом деле не мешай, потому что не успокоится моя душенька, пока я этим низким девкам всей правды не отпою! И нечего тебе нас слушать, потому что дела у нас свои и мы женщины, а ты мужчина и ничего этого не понимаешь! — отстранила Марья Ивановна своего сына.

Он пожал плечами и вышел. Сестры тоже изъявили видимое поползновение скрыться

от раздраженной родственницы.

— Стойте, стойте! — удержала их Марья Ивановна. — Вы это так улизнуть от меня хотите, голубушки. Нет!.. Так это как же она к вам приезжала? Зачем?

— Ах, Марья Ивановна, да что вы к нам пристали? — грубо промолвила Ольга Александровна. — Почему мы знаем, зачем она приезжала? Приехала, говорит: я вам помочь хочу, вот и все!

— Помочь! Скажите, пожалуйста, какие нынче благодетельницы есть! Так прибегут с ветру — мы, говорят, помочь вам хотим!.. Да статочное ли дело, чтобы она помогла вам, если бы вы во вражде весь век прожили? Ну, где это видано?

— Да чем же мы-то тут виноваты, сестрица? — произнесла Вера Александровна.

— Ах, лицемерки! ах, лицемерки бездушные! — всплеснула руками Марья Ивановна.

— Да что вы, в самом деле, раскричались на нас! — вышла из себя Ольга Александровна. — Мы вам не позволим браниться, потому что мы много горя перенесли от вас и без того, а больше переносить не станем. Вы бы

хоть постыдились, старую нашу хлеб-соль вспомнили бы, вспомнили бы, как мы братца упрашивали вам и вашему сыну помочь!

— Да вы обязаны, обязаны были это делать. Ведь мой сын-то родной племянник был вам, ведь он наследник дядин был. Вот чем упрекать вздумали! А вы думаете, мне сладка была ваша хлеб-соль? Слезами я обливалась, унижением перед вами каждый кусок покупая! Бог да Леня знают, что я слез пролила, видя, как вы мной помыкаете, как вы меня от братца заслонить хотите.

— Грех вам, грех это говорить! — воскликнули сестры разом. — Вы сами нашептывали братцу на нас, мы вас с ним ни минуту одних оставить не смели... Вы и нас ссорили; мы только теперь, в горе нашем, узнали, как вы наговаривали нам друг на друга.

— Да вы сами одна другой бока мыли. Откуда бы я узнала всю вашу подноготную, как не от вас самих! — кричала Марья Ивановна.

— Пойдем, сестрица, пойдем скорее! — прошептала Вера Александровна, дрожа всем телом.

— А-а! К своей сообщнице пойдете! Погоди-

те, погодите, еще развратничать научит! Так все три вместе и живите. Отлично будет! — кричала Марья Ивановна вслед удаляющимся сестрам. — Вы, Вера Александровна, еще не стары, если подрумянитесь немного... Певчему-то своему глазки опять начнете делать. Ведь вы к Троице-то недаром ходите, всё против клироса становитесь!.. Теперь, небось, не придете к нам денег клянчить!..

Долго еще не умолкал и лился неудержимый поток брани и сальных намеков раздраженной Марьи Ивановны. Все надувательство, все обоюдное лицемерие, все тайные сплетни, все низкие интриги, склеивавшие до этой поры в тесный союз мирную и любящую обносковскую семью, поднялись теперь с своего дна, как грязная и отвратительная липкая почва в стоячей воде пруда, внезапно возмущенного и приведенного в брожение набежавшею на него бурей. Эта буря уничтожила и сорвала покров ярких, но почти не имевших прочного корня цветов и рыхлых листьев болотных растений, плававших на поверхности и служивших внешним украшением спрятанной под ними грязи. Родствен-

ная любовь, уважение к старшим в семье, заботы о младших и слабых ее членах, снисходительность к ошибкам тех или других стоявших в обносковском союзе лиц, все эти цветы, как оказалось, питали здесь свои непрочные корни соком корыстолюбия, ловких сплетен, лицемерного самоунижения, стремления каждого члена в свою очередь высосать последнюю каплю жизни из всех остальных членов-союзников. Теперь членам обносковской семьи не оставалось возможности прикрывать цветами лицемерия свою грязь: она всплыла наружу и была в глаза. Оставались два пути: нужно было или отречься навсегда, очиститься, по возможности, от этой грязи, или щеголять ею, хвалиться ею, говорить, что эта-то грязь и должна составлять настоящую подкладку жизни.

Ольга и Вера Обносковы стояли теперь друг перед другом почти нищими, то есть такими созданиями, которым нужнее всего сходиться в тесный союз, и вдруг они узнали, что каждая из них в свою очередь была виновна перед другою в мелких сплетнях, в мелких интригах. Им было совестно взглянуть в глаза

друг другу, им было совестно за себя в душе. Только теперь они поняли всю бесцельность своих грязных поступков, своей поддельной преданности своим родственникам, своих безобразных нападений на неизвестную им женщину, которая одна протягивала теперь им руку помощи. Они чувствовали, что они втянулись по уши в эту грязь, что в их душах почти нет незагрязненного места, что они еще не могут вполне честно относиться одна к другой. Но они уже раскаивались, они уже как-то стыдливо, но искренно ухаживали одна за другой. Они понимали, как добра опозоренная ими женщина, но какое-то бессознательное чувство стыда не пускало их идти к этой женщине, пресмыкаться перед нею, лгать ей о своем раскаянии и выпрашивать у нее куски хлеба своим унижением. Они видели, что лесть на этом пути дала бы им средства к существованию, и все-таки не шли на этот путь. Жалкие создания не знали, хорошее или дурное это чувство, но покорились ему...

Совсем в другом положении стояла Марья Ивановна. Она терпела в течение всей своей

жизни нужду и не понимала значения честного труда. Ей приходилось по необходимости с каждым годом все глубже и бессознательнее втягиваться в этот омут, где она видела все свое спасение. Она окунулась в него до такой степени, что у нее даже не было никакой потребности выйти из него теперь. Казалось, что эта женщина родилась в этой грязи и вне ее не видела жизни. Разругавшись с «сестрицами», она по целым дням распространялась о том, какие они подлые, какой дурачина и филия был их брат, сколько она перпелась горя от них, как они продавали на каждом шагу одна другую, как Верка в каждого военного певчего влюблялась, как Ольга всем домом вертела и Веркой командовала, как теперь они с Степанидкой Высоцкою «гулять» будут, одним словом, все, что может быть грязного в закулисной жизни каждой человеческой семьи и личности, то было на языке Марьи Ивановны. Алексей Алексеевич, Груня, кухарка, дворник, все равно годились, по мнению Марьи Ивановны, на роль слушателей, и число их все росло и росло.

С странным чувством вслушивалась в эти

речи Груня.

Тысячи мыслей и вопросов осаждали ее голову.

«Неужели могут люди в течение всей своей жизни лицемерить и уж не лицемерит ли теперь Марья Ивановна и передо мной? — спрашивала она себя. — Честно ли я делаю, что поддаюсь ее ласкам, презирая ее в душе? Но что заставило ее вдруг примириться со мною? Неужели необходимость жить на мои деньги?.. Но я-то для чего примирилась с нею наружно? Для того, чтобы избавиться от волнений, от правдивого объяснения человеку, что я с ним не могу жить, что я его не могу уважать и любить? Это подло!.. Но что же за женщина эта развратная Высоцкая?.. Неужели и она ради каких-нибудь видов предложила помощь двум ненавистным ей и ненавидящим ее женщинам?.. И как может она так спокойно, так равнодушно переносить свое постыдное положение, за которое ее клеймит и должно клеймить все общество?.. Я хотела бы увидеть ее. Я никогда не видала еще таких наглых женщин... Однако за что же я браню ее? Ведь я ее еще не знаю, я слышала о ней

только от тех людей, которых я не люблю и не уважаю. Так, но она развратница, это-то я знаю наверное... Развратница? Почему? В чем ее разврат?.. Это просто, может быть, несчастная ошибка». — Груня совершенно терялась под наплывом этих вопросов. Разврат и честность, беззаконие и законность представлялись ей теперь чем-то смутным и иногда доводили ее до странных, неразъяснимых парадоксов: «Я, остающаяся верною нелюбимому мужу, с отвращением позволяющая ему ласкать себя ради своего брака с ним, — честная женщина; а Высоцкая, обожавшая в течение всей своей жизни одного человека, остававшаяся верною ему даже без всякой внешней принудительной причины, — развратница. Алексей и его мать, не любившие покойного своего родственника, связанные с ним чисто случайными узами родства, — законные его наследники; а его любимые дети, часть его самого, — незаконные грабители чужого имущества». Вот чего не могла разрешить в своем уме неопытная, мало знающая условия жизни Груня...

Время, между тем, летело все вперед и впе-

ред. Однажды Груня гуляла и встретила с Верой Александровной Обносковой. Та сухо поклонилась Груне и холодно спросила ее о здоровье.

— Слава богу, я здорова, — равнодушно ответила Груня и с участием спросила, как живет сама Вера Александровна и ее сестра.

Груню давно тяготила мысль, что эти жалкие девушки терпят нужду по милости ее мужа.

— Ничего, живем кое-как, — ответила Вера Александровна. — Конечно, теперь не то, что было при братце... Но, дай бог здоровья Стефании Владиславовне, она нас не оставляет.

— Вы с ней видите? — изумилась Груня.

— Как же не видаться-то? Что же стали бы мы делать без ее помощи?.. Вот уж не родная, не знакомая, а лучше всех родных и знакомых!.. Сама отыскала нас, приехала, утешила и помощь оказала... Загладит она свои грехи перед богом своею добротою...

Груня задумалась.

— Однако, прощайте, меня сестрица ждет дома, — промолвила Вера Александровна и хотела идти; Груня удержала ее.

— Позвольте мне зайти когда-нибудь к вам, — сказала она дружеским тоном родственнице.

— Милости просим... Что ж, вы не виноваты, что ваш муж так дурно поступил с нами. Вы меня извините, а уж ему я по гроб, по гроб этого не прощу...

— Поверьте, мне самой очень совестно за него, — поспешила заметить Груня. — Если бы я могла что-нибудь сделать...

— Что уж можете вы сделать! Я думаю, в ежовых рукавицах вас самих держат. Знаю я вашу свекровь-то и мужа вашего знаю, — махнула рукой Вера Александровна.

Груня покраснела, но не заступилась за близких ей людей, как заступилась бы она за своего отца или за Павла Панютина.

Через неделю она посетила сестер покойного Евграфа Александровича. Они жили в довольно уютной, но очень маленькой квартире. Обе сестры приняли довольно чопорно, но вежливо свою молодую родственницу. Разговоры шли о разных предметах, но часто как-то неловко обрывались. Видно было, что какая-то черная кошка пробежала между

женщинами и им было как-то неловко сидеть рядом друг с другом. Нередко Груня краснела, упомянув имена свекрови или мужа; еще чаще прорывалась строптивая Ольга Александровна бранью против этих лиц, на что сентиментальная Вера Александровна постоянно замечала, указывая на Груню:

— Полноте, сестрица; им неприятно слышать подобные вещи.

Уходя от родственниц мужа, Груня готова была дать себе обещание не заглядывать более к ним, но какое-то непреодолимое и непонятное любопытство увидеть Стефанию влекло ее туда. Через несколько времени она сделала новый визит к двум сестрам и застала их за работою. Они шили детское белье.

— Что это вы шьете? — спросила она, рассматривая работу.

— Стефания Владиславовна просила помочь ей сшить белье на детей, — ответили сестры.

— А я думала, что это какой-нибудь посторонний заказ.

— Нет, где же найти сразу заказы, а эта работа и нетрудная и выгодная.

— Она вам платит?

— Конечно... Вот не навернется ли у вас работа, так дайте нам... Теперь времени-то свободного много...

— Ну, ведь у вас и прежде было немного работы, — заметила Груня.

— Да работы-то не было, но зато, бывало, то сами ходим в гости, то к нам кто-нибудь придет... Отлично мы при братце жили, — вздохнула Вера Александровна и отерла слезу.

— Да, отлично жили, все гости да гости, а теперь никто вот и не заглянет, когда объесть да обпивать нельзя, — с желчной иронией ввернула Ольга Александровна и сердито дернула иглу, так что у нее оборвалась нитка.

— Это все урок... Бог это посылает, — заметила смиренно меньшая сестра.

— Ну, уж кто там ни посылает, а людишек вдоль и поперек узнали, — еще раз сердито пробормотала старшая сестра и снова рванула нитку. — Не дай бог вам никогда горе узнать, — обратилась она к Груне.

— Чужая душа потемки, — прошептала

Груня. — Жаловаться не стоит, никто не поможет...

— Уж конечно!

— Нет, сестрица, это грех говорить, — заметила младшая сестра. — Вот и нам помогла же Стефания Владиславовна.

— Много ли таких-то! — рассердилась Ольга и передернула свою работу.

За этими словами полился со стороны Веры Александровны поток благословений Стефании, а Ольга Александровна опять прорвалась бранью на мужа и свекровь Груни, за что получила замечание от сестры. Еще два, три визита были сделаны Грунею родственницам мужа; она дала им какую-то работу и мало-помалу сошлась довольно близко с младшею из сестер, хотя и не открывала ей своей внутренней жизни — подобные признания и жалобы были не в характере Груни. Черная полоса, разделявшая этих людей, с каждым днем все более и более бледнела и становилась незаметною... Но желанной встречи с Высоцкою все не было.

Наступил день рождения Ольги Александровны. Груня тревожно ожидала этого дня,

точно готовилось для нее какое-то необычайное событие. Наступил и он... В маленькой квартире двух сестер собралось небольшое общество: двое, трое из старых знакомых да семья Высоцкой. Все были довольно веселы, — и Груня, услышала смех гостей уже при входе в квартиру родственниц. Ее встретили радушно и отрекомендовала знакомым. Начались разговоры; Груня вмешивалась в них, делала свои замечания и очень зорко наблюдала за каждым словом, за каждым движением Высоцкой, точно это было какое-то особенное существо. Высоцкая была, по обыкновению, проста, весела, спокойна, но она не обращала ни малейшего внимания на Груню. Два два Груня прямо обратилась к ней с какими-то вопросами и получила односложные ответы. Ее немного удивила и задела за живое такая, по-видимому, ничем не заслуженная холодность, близкая к невнимательности. После завтрака Высоцкая уехала, очень вежливо, но холодно поклонившись Груне и даже не протянув ей руки. В душе молодой женщины закипело чувство негодования. Она была оскорблена, что перед нею, перед

честною и чистою, держит так высоко голову это падшее создание. Но в то же время молодая женщина не могла не сознаться, что в этом падшем создании много привлекательной грации, беспечной веселости и подкупающего прямодушия, хотя все эти обаятельные качества сразу исчезали, как только это падшее создание обращалось лицом к Груне, и заменялись выражением спокойной, бесстрастной холодности.

— Скажите, пожалуйста, Высоцкая, кажется, не любит меня? — спросила Груня Веру Александровну, уловив удобную минуту, когда они остались вдвоем.

— Нет, милочка, ангелочек, она всех любит, она добрая, — сентиментальничала по старой привычке младшая Обноскова.

— Зачем вы говорите неправду? — пристально посмотрела Груня на ее смущенное лицо с моргающими глазками. — Она не любит меня?

— Да... то есть, душечка, она не вас не любит... она вашего мужа не любит, — конфузясь, объясняла Вера Александровна.

— Но чем же я виновата, что мой муж ду-

рен? — спросила Груня, нахмутив брови.

— Ну, полноте, милочка! Ах, какие вы, право, строптивые! — увивалась Вера Александровна, желая ускользнуть от ответа.

— Нет, однако... Она, верно, говорила вам что-нибудь по этому поводу, — настаивала Груня.

— Ах, да ведь это сплетни будут, если передавать... — мялась младшая Обноскова.

— Какие же это сплетни? Мне очень нужно знать, как она смотрела на меня, чтобы не напрашиваться напрасно на встречи...

— Вы не сердитесь на нее, она добрая...

— Но что же она говорила? Что я виновата в том, что мой муж дурен? Что я его в руках держать не умею? — насмешливо спрашивала Груня.

— Нет... Она... Ах, да вы рассердитесь!.. Она говорит, что с дурным мужем может жить только дурная жена, — совсем растерялась слабодушная Вера Александровна и еще более заморгала глазами.

— У нее совсем извращенные понятия! — холодно произнесла Груня, вставая с места.

— Вот вы и рассердились!.. По глазам ва-

шим вижу, что рассердились, — слезливо шептала младшая Обноскова, целуя Груню.

— Нисколько! Эта женщина, несмотря на свое доброе сердце, просто жалка, — холодно ответила Груня.

Это свидание с Высоцкой и разговор с Верой Обносковой могли отбить навсегда в молодой женщине охоту продолжать начатое знакомство, и Груня действительно решилась не напрашиваться на встречи с Высоцкой и готова была при случайном свидании с нею поднять также гордо и высоко свою молоденькую, почти детскую головку.

«Передо мной ей нечем гордиться, — думала Груня: — я чище и честнее ее... Я не жила с посторонним мужчиной и не убегу от законного мужа...»

XVI

Внутренний разлад

Чем заметнее поправлялся Алексей Алексеевич, тем более охладевала Марья Ивановна к своей невестке, видя, что беда миновала их семью, и не имея сил продолжать мирную жизнь. Груня не могла не заметить этой перемены, так как переход от ухаживанья к нападениям был довольно резок и не походил на случайные семейные недоразумения, которых было немало и во время болезни Алексея Алексеевича. Случаев для придирок к невестке находилось всегда довольно: то свекровь сердилась, что невестка неизвестно куда отлучается иногда из дома, то она злилась на ее холодность, то просто упрекала ее за вялость и нерадивость характера. В один прекрасный день эти мелкие нападения перешли в серьезную сцену и не остались бесплодными. Началось, по обыкновению, с пустяков: Алексею Алексеевичу попался в руки разорванный платок, и он заметил жене, что надо поаккуратнее смотреть за бельем. Этого было

вполне достаточно для Марьи Ивановны, чтобы начать бурную сцену, как только ее сын ушел в должность.

— Вы и за мужем-то ходить не умеете! — проговорила она, обращаясь к Груне. — Вам до него и дела нет. Он трудится, он работает, а вы живете себе барыней и ни на что внимания не обращаете. Болен ли он, здоров ли, вам все равно, в вас и перемены никакой не заметишь. Точно рыба, прости господи, какая! Вам бы вот статуем быть, комнаты украшать собою!

Груня с безмолвным удивлением выслушала эти неожиданные комплименты.

— Дивлюсь я, право, на вас, — продолжала свое пиление свекровь. — Ни ссорами, ни ласками ничего из вас не поделаешь... Я-то, дура, думала: ну, вот, у нее муж при смерти лежит, авось, она одумается, авось, к семье привяжется, так нет! куда! То же самое вижу, что и прежде... И куда вы это из дому стали бегать? Каких таких знакомых нашли?

— Кажется, я не обязана отдавать вам отчет, куда я хожу, — вспыхнув, заметила Груня.

— А кому же и отдавать отчет, как не мне? — воскликнула Марья Ивановна. — Кажется, мне Леня-то сыном приходится, недаром меня матерью называли, мне его честь дороже всего...

— Что же это вы, подозреваете меня в чем-нибудь? — с невольным отвращением спросила невестка.

— Кто вас знает? Вы рядитесь, за вами ухаживают, вам комплименты разные говорят, а голова-то у вас молодая да ветреная, так ведь и бог знает, что вам на ум взбредет.

— Да кто же это за мной ухаживает здесь? — пожала плечами Груня.

— Мало ли кто! Да вот хоть бы Петра Петровича, например, взять, — прошипела Марья Ивановна и зорко посмотрела злыми глазами на невестку. — Разве вы думаете, что никто не замечает, как он за вами увивается да что-то нашептывает вам?.. И с чего вы с ним при мне по-французски говорите? Верно по-русски-то нельзя этого говорить?.. стыдно замужней женщине позволять чужому мужчине ухаживать за собою, а ведь он вам чужой, хоть вы его и называете родственником. Эта-

кой-то родни не оберешься!

— Так вы убеждены, что я его люблю? — усмехнулась горькой улыбкой Груня.

— Ну, матушка, если бы я убеждена-то в этом была, так я не так бы с вами заговорила! — угрожающим тоном произнесла свекровь. — А я только предупреждаю вас, говорю, что вам не след разговаривать с подобными подлипалами.

— Как же это я не стану с ним говорить, если он бывает у нас в доме? Скажите лучше Алексею, чтобы он не принимал его.

— Вот-с как! Ради вас гостей не принимать, знакомств не заводить. Ну, это уж непорядок! Нет-с, каждая женщина сама себя должна соблюдать. Муж приводит кого хочет, а она себя соблюдай. Так и отцы наши жили и нам так жить велели.

Груня усмехнулась, хотя ей давило грудь от волнения и негодования.

— С чего это вы, матушка, смеетесь-то? Уж не надо мной ли? — воскликнула Марья Ивановна.

— Над вами, — с презрением ответила невестка и пошла в свою комнату.

Это было ее единственное убежище, ее единственная защита в этом доме.

— Да ты это что выдумала? А? Что ты задумала? — кричала ей вслед свекровь, выходя из себя от необузданной ярости. — Уж не завела ли и впрямь какие-нибудь шашни на стороне? Да я тебя тогда со свету сживу!.. А, смеется! надо мной смеется!.. Да так прямо и говорит, что надо мной. Да ты где этой храбрости набралась? погоди, погоди, я тебе, голубушка, крылья-то пообшибу!

Вечером в тот же день Марья Ивановна прошла в кабинет Алексея Алексеевича и долго разъясняла ему, что он должен, наконец, взять жену в руки и присматривать за нею.

— Ты-то, Леня, такой слабый, хилый, а она все здоровеет, — говорила Марья Ивановна жалобным тоном, — так за ней нужен глаз да глаз. Ей молодежь-то голову вскружила похвалами, а надеяться-то на нее нельзя...

— Что это вы, маменька, какие глупости выдумываете! — сердито заметил сын и взялся за книгу, надеясь этим обыкновенным приемом прекратить беседу с матерью. Но она, против своего обыкновения, не замолчала,

увидав, что сын хочет читать.

— Нет, батюшка, я ничего не выдумываю. Уж какая я выдумщица! — проговорила она с горечью. — А только она теперь все одна по гостям ходит...

— Не сидеть же ей все дома одной.

— То-то и плохо, что ей дом-то опостылел. Другая бы жена, видя, что муж для нее целый день горб гнет, сидела бы дома да, старалась бы, как бы для мужа родное гнездо уютить, а у нашей-то этого и в мыслях нет. Ты в должность, а она за дверь, а, между тем, на нее засматриваются...

Лицо Алексея Алексеевича вдруг омрачилось, что-то как будто укололо его в самое сердце.

— Да кто же засматривается? — нетерпеливо спросил он и отложил книгу в сторону.

— Мало ли кто!.. Ты за Петром Петровичем-то наблюдай, за ним смотри, — шепотом произнесла мать и боязливо оглянулась во все стороны, как будто боясь, что кто-нибудь их подслушивает. — Ухаживает, ухаживает, — протянула она. — Уж я эти подходы-то знаю. Сама...

— Тьфу! Этого только недоставало! — произнес с гневом и досадою Алексей Алексеевич. — И что вам за охота постоянно смущать мое спокойствие?

— Да как же, Леня, голубчик, о ком же мне и заботиться, как не о тебе? Ведь ты родной мне. Хуже, если чужие на смех поднимут да пальцами на тебя указывать будут... Ты думаешь, мне легко, что тебя обманывают?..

— Да разве вы уже знаете что-нибудь? — вскочил с места Алексей Алексеевич.

Он был страшно бледен. Его маленькие калмыцкие глаза впились в лицо матери, точно он хотел прочитать на этом лице все сокровенные мысли этой близкой ему женщины. Но оно было невозмутимо.

— Наверное, батюшка, ничего не знаю, но смотрю за ними, в оба смотрю, — ответила мать.

Алексей Алексеевич махнул рукою и большими шагами заходил по комнате в страшном волнении. Впервые он понимал, что за чувство может испытывать человек, когда ему угрожают отнятием его старой собственности, его достоинства. Марья Ивановна следи-

ла за сыном с скорбным участием, умиленными и сострадательными взглядами, полными той совершенно своеобразной материнской любви, на какую была способна Обносксва.

— Вы у меня целую ночь покоя отняли! — желчно упрекнул ее сын, на минуту остановившись перед нею.

— Бедный ты мой, бедный! — жалобно промолвила она, качая с сожалением головой. — Не понимают люди, как ты их любишь. Вот теперь одна весть о их глупости да ветрености тебя на целую ночь расстроила, а что было бы, если бы ты-то вовремя не узнал об этом, да вдруг дождался бы того, что они по глупости да по ветрености и грехов натворить успели бы?.. Не ночь бы тогда тебе они отравили, а всю жизнь твою драгоценную!

Еще довольно долго распространялась Марья Ивановна убаюкивающим тоном о негодности людей и следила за тревожно шагающим по комнате сыном нежными глазами. Наконец, она обняла его и ушла в свою спальню, где набожно опустилась на колени перед образами и начала свои обычные молитвы за сына.

Но сыну не спалось.

«А что, если мать не все сказала мне, что она знает? — думалось ему. — Меня целые дни дома нет, я некрасив, я слаб, а она молодая, хорошеет с каждым днем, кругом разная молодежь вертится, книжки разные под руку попадают, долго ли закружиться голове! Да ведь нынче и в моде бегать от мужей!.. — Я, скажет, миленький, ошиблась, я тебя не любила, мы не сошлись характерами, и я уйду с другим... Коротко и ясно!.. Нет-с, со мной этого не сделать!.. Я этого не допущу, не позволю!.. Впрочем, что я!.. И с кем она уйдет!.. С Петром Петровичем?.. Вот глупости! Он волокита, но он не увезет чужой жены, не навяжет ее себе на шею... От него можно ее предостеречь... Эх, если бы я мог не принимать подобных негодяев! Да ведь ему весь город родня, связи у него... Связи! Связи! Будь они у меня самого, так я бы на порог не пустил этой сволочи, всех этих Петров Петровичей!.. Но надо поговорить с нею, поговорить с нею надо...» Походив с час по комнате, выпив два стакана воды, Алексей Алексеевич прошел в комнату жены.

— Что у вас там опять вышло с матерью? — спросил он жену.

— То же, что и всегда выходит у меня с нею, — ответила Груня недовольным тоном. — Она придралась ко мне без всякой причины и разбранила меня.

— Но... — начал Алексей Алексеевич.

— Позволь, — перебила его Груня. — Ты от кого узнал, что между нами произошла ссора?

— Мать сказала...

— А-а! Так ты ей позволяешь говорить про меня, и только я не имею права говорить тебе про нее? Или ее сплетни не мешают твоим серьезным занятиям?

— Да ведь нельзя же.

— Пожалуйста, не оправдывайся! Я это так заметила, чтобы знать, в каком положении я стою в этом доме.

Груня отвернулась от мужа.

— Послушай, Груня, ты сегодня какая-то странная, — промолвил Алексей Алексеевич, удивленный тоном Груни, от которого веяло холодом и в котором слышалась необычайная твердость. — Я не хочу передавать тебе,

что говорила мне мать, но замечу только одно: веди себя осторожнее и не играй с огнем. Ты...

— Ах, это идет речь насчет подозрений!

— Да, но я им не верю; ты должна понимать это, — произнес Алексей Алексеевич и пытливо взглянул на жену.

— И очень умно делаешь, — сухо ответила она.

— Ты настолько честная женщина и настолько знаешь обязанности жены, что...

— Пожалуйста, избавь меня от школьных наставлений, — резко перебила его Груня. — Я никого не люблю, я ни с кем не кокетничаю, и, значит, об этом нечего и говорить.

— Но, знаешь, люди видят иногда то, чего еще и нет, и выводят...

— Я тебе сказала, что об этом нечего говорить! — почти крикнула Груня и встала с своего места. — Неужели все вы так тупы, что не можете понять, как вы оскорбляете женщину разъяснением ей ее обязанностей? Или ты считай меня честною женщиной и никогда не учи меня моим обязанностям на этом пути, или прямо признай, что я одна из тех, ко-

торые могут пасть, и тогда принимай свои меры и не толкуй о своей вере в мою честность.

Лицо Груни пылало негодованием, она как-то чересчур горячо отстаивала себя от подозрений мужа. Алексей Алексеевич и обрадовался, и растерялся от этой неожиданной вспышки. Он вдруг увидал, что его жена принадлежит к разряду тех женщин, которые выше всего ставят исполнение своего супружеского долга, и ему стало совестно, что он мог, хотя в течение минуты, подозревать ее и сомневаться в ней. Снова он был готов благодарить судьбу за то, что у его жены холодная, а не страстная натура. Почти совершенно успокоенный, ушел он и лег спать, нисколько не думая о том, что его жена, может быть, не уснет во всю ночь после этой сцены...

При всех своих обширных и, может быть, для чего-нибудь, необходимых знаниях Алексей Алексеевич все-таки был плохим психологом и совершенно не знал человеческого сердца. Он восхищался теперь тем, что его честная жена так горячо приняла к сердцу его несправедливые подозрения, и не раздумывал о том, что эта вспышка была, может быть,

результатом начала той внутренней борьбы, вследствие которой человек переходит от старых убеждений к новым, и тем горячее отстаивает свои старые убеждения, чем сильнее побивают их против его воли жизненные факты. Действительно, Груня переживала именно такую пору внутренней ломки: все ее прежние, освященные преданием и обычаем, отношения к близким людям, видимо, побивались фактами жизни. Она начинала сознавать, что, слепо поддавшись желанию отца, она погубила себя, и что-то шептало ей, что подобная покорность была в этом случае нелепостью, что отец, может быть, и даже наверное, не умер бы, если бы она не вышла замуж за мало известного ей человека, а что она наверное зачахнет теперь с тоски и горя под гнетом вечных раздоров и при отсутствии любви. Она, как мы видели, уже задавалась вопросами о том, честны ли ее хорошие отношения к нелюбимой свекрови, честен ли обман, и жизнь опять подсказывает ей, что обман не может быть честным и что, насилуя свои чувства, она ничего не выиграет, а только сделается игрушкой в руках своей против-

ницы. Не утешительнее был вывод из размышлений об отношениях к нелюбимому мужу, и стоя на этом опасном и скользком пути, уже нередко спрашивала Груня у себя: «Для кого же я жертвую собою, своею молодостью, своим счастьем, своею жизнью? Для отца, который выдал меня замуж ради своих старческих причуд? Для мужа, которого не люблю? Для свекрови, которую ненавижу? Нет, нет, не для них! Но я сделала ошибку, и мой долг переносить ее последствия», — горячо заключила Груня, отстраняя какие-то другие мысли, а в голове без ее воли возникали роковые, опасные вопросы: «Но признавать неисправимыми последствия ошибки, — не фатализм ли, не глупость ли, не сонливость ли это? Последствия всякой ошибки могут быть пресечены, по крайней мере, человек должен к этому стремиться. И что за ад был бы на земле, если бы не было возможности исправлять хотя отчасти прошлые заблуждения и прошлые ошибки? Но что же делать? Уйти от мужа, порвать все связи, сделаться предметом переговоров, сплетен, произвести скандал, являться в обществе с ярлыком бе-

жавшей от мужа жены, развратницы, быть выкинутою из порядочного круга? Не будут ли эти публичные мучения страшнее тех закулисных дразг и ссор, от которых я хочу спастись? Теперь, по крайней мере, никто не смеет сказать, никто не смеет подумать, что я бесчестная, никто не смеет наложить на меня тень подозрения. Да, да, в этом и только в этом осталось мое счастье!..»

Так думалось Груне в те дни, когда на нее внезапно посыпались упреки свекрови, упреки за стремление кокетничать с Петром Петровичем. Груня улыбалась, слушая эти подозрения, Груня глядела спокойно, но внутри у нее словно что-то оборвалось: казалось, что у бедняка сжигают последний, единственный угол, где он надеялся найти спасение и приют от непогоды. Груня могла еще владеть собою при разговоре с ненавидимой ею свекровью, но когда муж высказывал ей намёки на те же подозрения, то она стала с ожесточением отстаивать это последнее шаткое убежище, в котором она видела единственную награду за все свои жертвы. Ей хотелось в эту минуту застраховать себя перед целым светом от гряз-

ных подозрений и крикнуть всем людям: «Поймите вы, что я страдаю, но переношу страдания потому, что я честная женщина!» А что, если у нее отнимут и имя честной женщины? Если и ее заклеят клеветой, как клеят бесчестных женщин? Во имя чего будет она тогда исполнять свой долг и терпеть все муки за свою прошлую ошибку? Во имя собственного сознания своей честности? Но в том-то и горе, что у Груни уже подрывалось жизнью и это сознание, и она сознавалась перед собою, что она лицемерит и лжет на каждом шагу: лжет перед мужем, выказывая ему любовь, лжет перед свекровью, с отвращением отвечая на ее поцелуи, лжет перед целым светом, говоря о довольстве своею судьбою. «...Но почему же не они все, а я одна должна страдать? — строптиво спрашивала себя Груня, все глубже и глубже разрывая перед собою эту бездонную пропасть сомнений. — Неужели я одна совершила эту ошибку, а они были правы?» «Нет, — отвечала она себе, — отец также виноват; он мог понять, что я не люблю Алексея, я ему говорила об этом; он просто исполнял свою прихоть, вы-

давая меня замуж, и погубил меня. Алексей тоже не любил меня так, как должно любить жену, он выше меня ценил и ставил свою мать; он знал, что я неопытна, что наши характеры несходны, но он гнался за смирной девочкой, за игрушкой, за ребенком, за деньгами и хотел просто приобрести рабу, а не жену-подругу, он тоже виноват. А Марья Ивановна, — боже мой, да разве может быть не виновата эта низкая женщина, отравившая с первой минуты моего вступления в этот дом и мое счастье, и мой покой? За что же они должны быть счастливы, а я должна быть несчастна? За что же они должны терзать меня, а я обязана покоряться? За что я одна являюсь жертвой, а они палачами?»

У Груни кружилась голова от этих проклятых, безысходных вопросов, дум и сомнений, но она бодро, настойчиво шла им навстречу и не старалась закрыть перед ними глаза. Она забыла все окружающее и жила теперь этою лихорадочною внутреннею жизнью. Люди и мелкие события внешней жизни мелькали перед нею, как смутные тени в китайском фанаре. Отец, Павел, книги, всё, всё забылось

ею. Постоянно рассеянная, постоянно задумчивая, она пропускала мимо ушей и любезности гостей, и брань свекрови, и даже, не замечала, что муж иногда следит за нею то тревожными, то ревнивыми глазами. Ей было тяжело жить в этом омуте, но разорвать внешнюю связь с мужем она не решалась: отдаленная от него по своим чувствам, она жила под одной крышей с ним и холодно играла роль его жены. Еще ничто не манило ее из этого дома. Она видела и за его стенами то же горе, ту же безрадостную, одинокую, отрезанную от всех и бесцельную жизнь для себя. Она даже не решалась строить планы какого бы то ни было счастливого существования, возможного за стенами этого дома, как будто там была безлюдная, неприветная пустыня.

Время тянулось убийственно медленно и вяло. Дни были похожи, как две капли воды, один на другой. Все чаще и чаще нападала свекровь на невестку; все угрюмее и подозрительнее делался Алексей Алексеевич, тревожимый странною задумчивостью жены, и не на шутку начал он ревновать ее ко всем людям, которые ухаживали за нею. Иногда он

делал ей сцены... Эта ревность была так заметна, что о ней уже говорили посторонние.

— Вот мещанство-то; даже скрыть не умеет, что жену считает принадлежностью своего имущества, — с презрением замечал своим носовым голосом граф Родянка.

— Немецкие профессора не любят, чтобы посторонние даже заглядывали в их книги, а уж не то, что читали бы их, — хохотал Левчинов.

— Надо его побесить. Это презабавно, когда он становится зеленым, — скалил свои белые зубы кузен Пьер и подсаживался к Груне.

— Я боюсь и подходить к вам, кузина. Ваш муж смотрит на всех такими ревнивыми глазами, что становится жутко, — смеялся он.

— Вы ошибаетесь: он очень хорошо знает, что ревность тут не у места, — холодно и равнодушно замечала хозяйка.

— Да ведь это чувство невольное. Хорошеньких женщин мужья ревнуют ко всем, а подруги этих хорошеньких женщин завидуют им, подозревая их в маленьких шалостях.

— На эти подозрения прежде всего нужно иметь право, — вспыхивая, но так же холодно

произносила Груня.

— Помилуйте, кузина, какие тут права? Молодость, красота, милое *far niente* [7], немножко скуки, и вот вам неизбежная почва для романа, — осклаблял свои зубы кузен Пьер.

— Ну, не неизбежная!

— Уверяю вас, что неизбежная. Рано ли, поздно ли, но он начнется, и, право, лучше начинать рано, чем поздно...

— И лучше поздно, чем никогда? — улыбнулась хозяйка скучающею улыбкой.

— Последнего я не добавил, потому что считаю роман неизбежным в жизни молодой женщины. Разница в том только, что одни романы делаются популярными, а другие хранятся только для двух-трех заинтересованных лиц, как недосягаемые сокровища.

— Кузен, у вас все так смотрят на женщин?

— Все, кузина.

— Очень жаль.

— Почему же? Разве лучше было бы, если бы на них смотрели, как на бездушных кукол, продающихся с аукционного торга в крепостное владение тем или другим господам му-

жьям? — усмехнулся кузен Пьер.

— Но ведь не всегда же женщина продается, иногда она идет замуж и по любви...

— Да, да, это бывает... Но, кузина, свет всегда сначала задает себе вопрос: могла ли быть любовь между такою-то и такою-то личностями? И потом, получив отрицательный ответ, делает свои предположения насчет предстоящего романа.

— Свет очень любит мешаться в чужие дела, — сердито проговорила Груня и взяла со стола альбом с визитными карточками.

— Люди — братья, кузина; значит, их дела не чужие, а свои свету, — засмеялся кузен Пьер, выставляя свои зубы.

У Груни вертелся на языке довольно щекотливый вопрос: «А про меня что говорят?» Но она удержалась от него, взглянула на играющего в карты в смежной комнате мужа, сутуловатого, худого, некрасивого и желтого, и мысленно решила, что про нее свет говорит, что она не могла, не может и никогда не будет любить своего мужа. «Значит, тоже подозревают в разврате. Да как же и не подозревать, когда сам муж дает право на эти подо-

зрения, не выпуская меня из виду, делая мне сцены... Хотела бы я знать, есть ли хоть один человек, который считал бы меня чистою и честною?»

Груня снова впала в раздумье...

XVII

Жизнь Павла

Так проходил и кончался для Груни второй год ее замужней жизни. Всегда задумчивая и тоскующая, она не могла никому поверить своих тяжелых и безвыходных дум. Только сентиментальная Вера Александровна считала своим долгом мягко и нежно обходиться с Груней; но эта необразованная, очень слабая по уму и характеру девушка внушала молодой женщине скорее чувство снисходительной жалости, чем ту горячую привязанность и уважение, которые необходимо нужно питать к человеку, чтобы сделать его своим поверенным. Все остальные люди смотрели на Груню или холодно, или враждебно, или были сами настолько слабы, что не могли дать ей ни дельного совета, ни твердой опоры. Правда, был один человек в мире, который понял бы ее и искренно разделил бы ее горе, пошел бы на борьбу за нее, но именно от этого человека она сама старалась по возможности стоять в стороне. Этот человек был Павел

Панютин. Такое насильственное отчуждение от любимой личности стоило Груне также не малой внутренней борьбы, и еще большая боль пробудилась в ее сердце, когда она стала замечать, что и сам Павел начал все реже и реже посещать их дом. Бросая тайно зоркие взгляды на Павла, молодая женщина заметила в последнее время значительную перемену в своем любимце. Он уже давно перестал быть ребенком и застенчивым, едва вступающим в жизнь юношею; он стал развязнее, был более ловок; его прежняя угрюмость и угловатость пропали совершенно. В его одежде, во всей его фигуре появилась какая-то неуловимая изящность, в его голове роились широкие планы и в речах слышалось стремление ловить минуты молодой жизни: он переживал свой праздник — молодости годы. Иногда он даже решался подсмеиваться над Груней и говорил ей:

— Не понимаю я, как может человек киснуть в своем углу, когда в жилах молодая кровь кипит, когда жить каждым нервом хочется, когда знаешь, что второй молодости не будет.

— Нельзя же веселиться, когда веселья нет, — вскользь заметила Груня.

— Надо отыскать его! — отвечал Павел. — Уж, по-моему, лучше закружиться, опьянеть от жизни, чем заснуть непробудным сном. По крайней мере, хоть будет чем помянуть молодость. А то иные только тем и помянут молодую жизнь, что продавливали они весь век в своем углу свое место, ели, пили до отвала, да высиживали праздную скуку.

— Этих людей жалеть надо, а не смеяться над ними, — заметила Груня, — потому что, верно, они не из любви к праздной скуке, а только по необходимости подчинялись ей.

— По необходимости! Вот вздор говоришь! — смеялся Павел. — Развлеченье всегда найдется. Один работу найдет, если он ее любит, да такую работу, что день для нее мал будет! Другой в кутеже завихрится, если ничего лучшего жизнь не дает, и птицей промчатся его молодые годы! Третий, если ему своя среда надоела, может взять котомку за плечи, палку в руки, да идти от постылых людей смотреть на другие земли, на другие народы, да учиться, как люди иначе на свете

живут. — Походит, посмотрит, а глядишь, скупа-то и устанет шагать за ним по пятам.

— Ты который же путь выбрал? — несмело спросила Груня, а у самой сердце от чего-то сжалось.

— Всего понемногу хочу попробовать. Сперва поработаю, да покучу, а там палку в руки, котомку на плечи и поминай как звали, — махнул рукой Павел и засмеялся. — Здесь оставлять будет нечего, пойду за границу.

— На это нужны средства...

— Глупости! Немцы в Америку и без средств уходят, да богатеют...

— Иные и погибают...

— Ну, так что же, что погибают? Их и дома задавили бы; так уж лучше гибнуть там, где и просить о помощи не имеешь никакого права... Тяжелей гибнуть дома, слыша, как смеются, да, может быть, тебе же яму роют ближние...

Груне хотелось что-то заметить, но ей было трудно высказать желанное слово.

— А вот мы, — продолжал Павел, поддаваясь своим заветным мечтам, — потому и си-

дим на месте, потому и высиживаем праздную скуку, что всё боимся со своим насиженным гнездом расстаться. И не то, что уж куда-нибудь в Америку боимся ехать, нет! Просто в глубину России боимся уйти. К Петербургу приросли...

— Еще бы не прирасти, здесь все родное, — промолвила Груня с грустью.

— Могилы?.. Что мне в них?

— Ну, есть и живые люди из ближних... Я думаю... и у тебя есть что-нибудь дорогое здесь...

Груня чуть не заплакала.

— Конечно, конечно, — задумчиво промолвил Павел. — Но что я могу сделать для дорогих лиц?.. Отец живет в своем кабинете и не умрет от тоски обо мне, имея около себя твое любящее существо... Ты... ты замужем, счастлива; для тебя не может быть большой потери в том, что я не стану являться раз или два в месяц в твоём доме... Да и сколько сил убивается даром только потому, что мы пришиты к своему семейному кружку, что мы дальше его ничего не знаем и не видим. Мы затаились в своей дороге, тащимся по грязи; нам

надо проветриться, набраться новых сил, новых понятий, и, может быть, тогда откроются для нас новые пути, новые не грязные, не — скучные дороги...

— Это все мечты! — вздохнула Груня.

— Может быть, может быть! Но и все началось с молодых мечтаний: Робинзон или Гус со своими друзьями, протестанты или социалисты шли проповедовать свои доктрины, все было плодом восторженных мечтаний, вдохновений великими идеями!.. Чтобы что-нибудь сделать, нужно лихорадочно любить минуты и рисковать жизнью. Или будь она такою, какою мы желаем ее, или пропадай совсем!

Груня задумчиво покачала головой и ничего не ответила Павлу; ей было тяжело думать, что он в один прекрасный день придет к ней, весело пожмет ей руку и скажет: «Прощай, я уезжаю отыскивать себе счастья!»

Но что же он делал, как проводил свою молодую жизнь покуда?

С того памятного дня, когда кузен Пьер свез его в цирк, в образе жизни Павла произошло много перемен. Во-первых, Павел не на

шутку увлекся на время отважною мисс Шрам и непременно хотел познакомиться с нею; во-вторых, у Павла сперва явилось много так называемых шапочных знакомых, к которым он стал ходить в гости и которые посещали иногда и его. Это была по большей части молодежь, лишенная всякого серьезного дела и старающаяся убить как-нибудь свое время и угомонить кипящую кровь. Кутежи от скуки, кутежи от избытка сил, кутежи от праздности, обусловленной обеспеченным положением, вот тот путь, на котором тратилась молодость этих людей, и, может быть, не они одни были виноваты, что для них не нашлось лучшего и более честного занятия. Павла давила та же скука, мучил тот же избыток молодых, еще не початых сил, и он иногда был рад забыться среди буйного кружка кутящих юношей. Но у него не было больших средств для постоянных кутежей с ними и было много гордости для того, чтобы кутить на чужой счет. Это обстоятельство дало его образу жизни совершенно своеобразный характер. Павел, чтобы не отказывать себе ни в чем, стал искать работы: уроки, переводы, это

все не выпускалось им из рук. Труд, лихорадочно совершаемый с каким-то смутным желанием забыться и утомиться до истомы, кипел и поспевал в течение нескольких недель, а там вдруг Павел задавал себе праздники и в каком-то опьянении летел куда-нибудь на пикник за город, на какой-нибудь чересчур свободный бал. Такая жизнь не могла принести пользы его здоровью, и иногда во всем его теле чувствовалась истома, у него ломило кости, ныла грудь, тогда он заваливался у себя дома и «отсыпался», по его собственному выражению. Таким образом, проходил ли период работы, кутежа или «отсыпанья», а опомниться все-таки не было времени, да Павел, кажется, и боялся этого пробуждения, боялся той пустоты и безлюдности, которые давили его в предшествовавший год.

Подобное существование могло окончательно загрязнить его в нравственном отношении. С первого же пикника он мог попасть в когти мисс Шрам, на которую он так заглядывался в первое свое посещение цирка. Но эта женщина, вечно вплывавшая в свои фразы слова всех известных ей языков, это суще-

ство, изображавшее на своей физиономии оттенки всех известных ей чувств, этот клоун женского рода, одетый то в шотландский, то в балетный, то в женский, то в мужской костюмы, изображавшее собой то невинную девочку, то едва возмужавшего мальчика, одним словом, эта мисс Шрам любила прежде всего деньги, деньги и большие деньги, а потому могла заигрывать, могла любезничать с Павлом, но не могла приковать его к себе и протащить за собою в омут мошеннических игр и возмутительных оргий, покупаемых на занятые, украденные, добытые всеми неправдами и подлостями деньги. Обыкновенно степень любезности этих женщин прямо указывает на степень близости ласкаемых ими людей к долговому отделению или к подлости и преступлению. Застрахованный своим материальным положением от этой опасности, Павел нашел себе спасение и в чистоте своей натуры, еще не загрязненной нашею столичною жизнью. Цинизм новых знакомых, рассказывавших Павлу со смехом возмутительные биографии всех тех личностей, на красоту которых глядел юноша, любопытными гла-

зами, — этот цинизм сразу оттолкнул Павла как от описанных личностей, так и от самих рассказчиков. Под прилизанной внешностью рассмотрелась грязная подкладка. Видя, как эти люди пляшут, слыша, как они острят и хохочут, Павел не мог удержаться от молодого, легко возбуждаемого смеха, но какое-то неприятное ощущение являлось в его сердце, когда эти люди слишком близко и фамильярно прикасались к нему. Ему в эти минуты хотелось сказать им: «Стойте подальше, вы мне и так видны, а больше мне ничего не надо». Он мог быть наблюдателем, мог случайно стать действующим лицом, но не мог вполне втянуться в этот круг. Приезжая домой с пикников, он бросался на постель, старался скорее уснуть и на следующий день лихорадочно принимался за работу.

Кряжов, сидя в своем кабинете, ничего не знал о поведении своего воспитанника и был очень доволен, когда слышал, что тот дает уроки и занимается переводами. Иногда старик добродушно распространялся в обществе даже о том, «что нынче славная, трудящаяся молодежь, что, правда, у нее много разных

непригодных к жизни идей, но что это все перебродится, осядет, когда пройдет молодость, и не пройдет только привычка к труду, к усидчивым занятиям».

— Вот хоть бы и мой Павел, — доходил добряк до желанной цели разговора, — денег я ему даю довольно, позволяю своею рукою брать, все у него есть, знает, что я ему и капитал оставлю, мог бы жить без труда, так ведь нет! Работает, работает, так что я иногда журую его, советую поберечь себя и не утомляться. Ведь даже худеет, право худеет!

Все приходили в изумление от достоинств Павла, а Кряжов гордо потирал руки и самодовольно улыбался: вот, мол, какого человека я воспитал!.. Он с каждым днем привязывался все сильнее к своему воспитаннику. И не мудрено. Выдав замуж Груню, Кряжов отчасти обманулся в своих надеждах; он думал, что его дочь и зять будут постоянно пребывать в его доме, но вышло совсем иначе. Марья Ивановна не согласилась жить в доме Кряжова «под надзором», как выражалась она, а Алексей Алексеевич, имея много занятий, не мог каждый день ходить с женою к старику в гости.

Таким образом, старик остался один и скучал. При встречах с Грунею радости было не больше: она не жаловалась на судьбу, говорила, что ей хорошо живется, но была грустна, молчалива. Старик потирал лоб, снимал шейную косынку, начинавшую душить ему горло, и не мог ничего выдумать для развлечения своей дочери и для разгадки ее сердечных тайн. При таком положении развязность и веселость, явившиеся в характере Павла, были чистою находкою для старика. Он хохотал над выходками и проделками юноши, иногда даже добродушно позволял ему трунить над собою и замечал только при этом:

— Что с ним поделаешь, всех на смех поднимает! Таков уж паренек уродился!

Час, два, проведенные Кряжовым с воспитанником, успокаивали его на целый день. Иногда старик, сидя в своем кресле, мечтал вслух, как он поедет с Павлом за границу.

— И Груню хорошо бы взять с собою? — в виде вопроса говорил он.

— Отчего же бы и не взять, возьмем, — утвердительно решал Павел. — В студенты ее определим, — смеялся он.

— Ну, вот ты балясничаете, а я не шутя говорю, что ей надо рассеяться, — серьезно говорил Кряжов.

— Надо, надо, батюшка, — уже задумчиво и грустно замечал Павел.

Кряжов вздыхал, но Павел вдруг начинал смеяться, представлял, как изумится Трегубов, когда узнает, что они едут за границу, как он сам захочет ехать с ними и как его не пустит туда его старая ключница, которую он все-таки впервые в жизни надует, вылезет ночью в окно и уедет с чужим паспортом. Затем следовала не менее интересная история о путешествии обманутой ключницы вслед за Трегубовым за границу... Старик смеялся...

— Славный малый ты у меня, и как это ты так вдруг развернулся, — ласкал иногда старик воспитанника, удаляясь в свой кабинет.

Все неровности вспыльчивого характера юноши прощались теперь стариком, и он скорее умолкал сам, чем настаивал на усмирении этой «горячей головы»... Так жили эти два младенца на жизненном пути — один, едва вступая на этот путь, другой, подходя по нем к близкой могиле...

Добряк Кряжов был прав, считая Павла добрым и честным человеком. Но не таким считал его Алексей Алексеевич Обносков. Давно уже привык он относиться с ненавистью к молодому человеку и следил зорким глазом отъявленного врага за ненавистным ему «мальчишкой». Бог знает, была ли эта ненависть следствием тайного предчувствия в ревнивом муже, что его жена еще слишком сильно любит это существо, злился ли просто Обносков за прежнюю близость Груни к этому «мальчишке», или просто боялся он, что этому юноше оставят большую часть капитала, следующую дочери Кряжова, но только Алексей Алексеевич ненавидел Павла еще сильнее, чем прежде, и выискивал всевозможные случаи, чтобы отмстить своему врагу, подорвав его кредит в глазах Кряжова. Был один незначительный случай, которым думал с успехом воспользоваться Обносков для своих целей. Павел, кроме своих кутящих знакомых, которые уже порядочно надоели ему, стал в последнее время встречаться и с иными людьми, жившими трудом. В этом кружке часто говорились довольно смелые речи, еще

чаще делались сборы незначительных сумм в пользу различных неблагонамеренных личностей. Павел участвовал и в этих разговорах, и вносил свою долю помощи в эти сборы. Он никогда не думал, что из этого может выйти что-нибудь серьезное. Но однажды в квартиру Кряжова неожиданно явилась ночью полиция и произвела обыск в комнате Павла. На следующий день его пригласили к допросу... Все кончилось очень благополучно. Но Кряжов струсил не на шутку за участь своего воспитанника.

— Как это ты так неосторожно ведешь себя! — говорил он ему по окончании всего дела.

— Да что ж тут такого важного? Ну, обыскали, допросили, одним опытом больше прибавилось, вот и все, — смеялся Павел. — От этого не убережешься. Все под полицией ходим.

— С тебя все, как с гуся вода! — смеялся остроте старик и не думал журить своего воспитанника за знакомство с опасными людьми; к таким же опасным людям хаживал и он в былые годы, были они во все времена.

Но не так взглянул на дело Алексей Алексеевич. Узнав о происшествии, он заметил Кряжову:

— Вот до чего доводят разные идеи-то! Эти нигилисты все вверх дном хотят перевернуть, чем бы о деле думать... Вам надо следить за Павлом! Он и себя погубит, и на нас набросит тень.

— Что это ты, Алексей Алексеевич, говоришь? — недовольным тоном ответил Кряжов. — Кто же станет подозревать меня? А он молод, горяч и всегда может проговориться, сколько бы я ни присматривал за ним... И мы были молоды и увлекались... Да и не дитя он, чтобы я стал следить за ним.

— Я не знал, что вы оправдываете эти ребяческие толки о предметах, которых и мы-то с вами не должны касаться, — ехидно заметил Обносков. — Но все-таки советую вам, добрейший Аркадий Васильевич, построже смотреть за мальчиком ради собственного его блага... Тут опасность, а не шутки. Взгляните, сколько сил гибнет теперь ради того, что их не направили, а распустили старики... После поздно будет тужить...

Слабый по характеру старик, несмотря на свое заступничество за поведение Павла, призадумался и в тот же вечер прочел проповедь своему воспитаннику, ероша себе волосы и потягивая галстук.

— Что с тобой, батюшка? — спросил недовольным тоном Павел. — Уж не с Обносковым ли ты обо мне поговорил?

— Да, с Алексеем, — ответил старик. — Он человек осторожный, рассудительный.

— Старая тряпка он! — сердито проговорил Павел. — Но что бы он ни был, а я попрошу тебя никогда не говорить с ним обо мне. Не люблю я подобных опекунов, да и вообще опеки не потерплю... Я уж, слава богу, вышел из детского возраста.

Павел нахмурился; это не ускользнуло от внимания Кряжова.

— Нехорошо, что ты так относишься к Алексею, — попрекнул он.

— Не говори лучше со мною о нем, — раздражился еще более Павел. — Если хочешь, чтобы мы были с тобой друзьями, то не упоминай его имени при мне. На этой точке мы всегда разойдемся в разные стороны.

Кряжов загорячился и стал отстаивать своего зятя.

— Послушай, батюшка, — серьезно сказал Павел. — Потакать твоим похвалам ему я никогда не буду, на ложь у меня нет способности; бранить же его, высказывать все, что я вижу, у меня духу не хватит, и если бы мне пришла необходимость или прямо объяснить об Обноскове с тобой, или уйти навсегда отсюда, то я выбрал бы последнее, — кончил, бледнея, Павел.

— Спасибо за привязанность! — горько произнес старик.

— Ты не сердись. Это любви моей к тебе не убавит, но ты должен же знать, как я, продолжая любить тебя, поступил бы в подобном случае.

После этого объяснения Кряжов дня три дулся на Павла, но отношения Павла к старику не изменились, он был по-прежнему мягок, весел, предупредителен, и старик забыл случайную размолвку со своим любимцем, как за два года перед тем забыл умышленное отсутствие Павла на свадьбе Груни.

Увидав неудачу своей попытки поселить

раздор между Кряжовым и Панютиным, озлобясь еще более при виде торжествующей и вызывающей физиономии последнего, Обносков искал новых данных для достижения своей цели, рассчитывая довольно верно, что нужно не много усилий для того, чтобы вывести из терпения строптивого и непокорного врага. Из случайно сказанных различными личностями слов о поездках Павла на пикники и загородные гулянья, Обносков начал с некоторых пор составлять себе очень непривлекательное понятие о поведении молодого человека и, наконец, решился очень обязательно поделиться своими сведениями с Кряжовым.

Старик был как-то в гостях у зятя. Зашла речь о Павле. Кряжов хвалил его.

— Плохо вы за ним смотрите, добрейший Аркадий Васильевич, — промолвил со вздохом Обносков. — Вас ослепляет ваша честная привязанность к нему и ваша доброта.

— Ну, Алексей Алексеевич, ты этого не говори! — горячо вступился Кряжов за своего любимца. Вы ведь у меня все почему-то коситесь друг на друга, так потому и относитесь

так строго один к другому... А Павла и посторонний человек не может не похвалить. Это честный, добрый и умный малый. Горяч он, строптив, ну, да это пройдет с молодостью, а ты погляди, как он быстро развился в последнее время, как обо всем трезво судит...

— Не спорю, не спорю, это-то так, добрейший мой Аркадий Васильевич, но...

Обносков вздохнул и остановился, не договорив начатой фразы. У Груни сжалось от страху сердце, она заметила, как по лицу ее мужа скользнула едва заметная насмешливая улыбка.

— Ну, что же ты не договорил? — спросил Кряжов. — Начал и не договорил. Так, брат, обвинять голословно нельзя; если начал, так и досказывай.

Обносков сделал какую-то сострадательную мину.

— Мне неприятно огорчать вас, добрейший мой друг...

— Ты, Алексей Алексеевич, уже огорчил меня, — сухо заметил Кряжов. — Не люблю я недосказанной клеветы! Против нее защищаться даже нельзя.

Обносков вспыхнул, как порох.

— Не клевета-с, Аркадий Васильевич, а правда, — заговорил он скороговоркой и с одышкой. — Недосказанная правда — это так, но только потому недосказанная, что мне тяжело открывать вам глаза...

Груня, вся бледная и дрожащая от негодования, пристально следила за мужем; в эту минуту ей хотелось взять и увести отца из их квартиры.

— Ваш Павел, — продолжал Обносков, взвешивая слова и придавая им особенную важность, — ваш Павел сошелся с развратниками, картежниками и негодьями, для которых нет ничего святого. Среди грязных и циничных камелий, среди отвратительных оргий и пьянства проводит он ночи и пропивает там и свой ум, и свое здоровье, и те деньги, которые вы, надеясь на его честность, позволяете ему брать из вашего стола без счету...

— Это ложь! Это ложь! — с горячностью воскликнули разом Кряжов и Груня.

— Нет-с, это правда... Я знаю из верных источников, я справлялся, — увлекся Обносков.

— Чтобы вооружить отца против Павла? —

промолвила Груня задыхающимся от волнения и гнева голосом.

— Нельзя ли помолчать? — проговорил шепотом Обносков, обращаясь к жене. — Я говорю с твоим отцом о близком ему человеке...

— Он точно так же близок и мне, — перебила его жена.

— Я не знаю, может ли быть близким человек тебе только потому, что ты жила с ним под одной кровлей, — сухо промолвил Обносков, зеленея. — Но мне было бы приятнее, если бы, кроме меня, никто из посторонних мужчин не был близок тебе... Назвал же я Павла близким человеком твоему отцу, — продолжал громко Алексей Алексеевич, — потому, что твой отец взялся воспитать его и даст за него, за каждый его проступок, ответ перед людьми и богом.

Кряжов в волнении ходил по комнате из угла в угол.

— Моя жена отвлекла меня от нашего разговора, — заговорил зять. — Я всегда принимал участие в судьбе Павла, хотя я и не имею способности выражать участие и любовь послаблениями и потачками. Не без сожаления

выслушивал я в последнее время различные толки о его прискорбном поведении. Я ни слова не говорил об этом вам, боясь огорчить вас этим. Может быть, я дурно поступал в этом случае, так как жертвовал судьбою этого «мальчика» сохранению вашего спокойствия, но сегодня вы сами заставили меня высказаться, не удовлетворившись одним моим советом смотреть за ним.

Кряжов молча ходил по комнате.

— Я не знаю, насколько успел втянуться этот мальчик в разгульную жизнь, — продолжал Обносков. — Но я знаю, что она стоит денег, что эти деньги ему приходится или придется занимать где-нибудь, или брать у вас без спросу...

— Павел не вор, что вы мне рассказываете! — сердито пробормотал Кряжов.

— Я и не думал обвинять его в воровстве, — простодушно произнес Обносков. — Хотя эта пропасть втягивает во все пороки, и если он теперь, добрейший Аркадий Васильевич, обманывает вас, не говоря, где он бывает, или унижается, кутя на чужой счет, то после ему придется дойти и до более крупных оши-

бок, может быть, просто до преступлений... Я говорю это потому, что мне кажется необходимым вовремя принять меры и удержать его на краю пропасти...

— Удержать! Удержать! — бормотал Кряжов, потирая себе лоб. — Легко это сказать!

— Тут, добрейший Аркадий Васильевич, строгость нужна, — говорил Обносков. — Нужно добиться признания, хотя это и трудно, и потом принять свои меры... Если вам трудно объяснить с ним, то я согласен, хотя это и тяжело для меня, переговорить с ним...

— Папа, ты, вероятно, сам поговоришь с ним? — быстро заметила Груня и обратила к отцу вопросительный взгляд.

— Конечно, конечно, — утвердительно кивнул головою старик и тревожно стал поправлять ворот своей рубашки, точно она его душила в эту минуту. — Ох, уж мне эти объяснения! — махнул он рукою.

— Необходимость, необходимость заставляет, — пожал с прискорбием своими узенькими плечами Обносков. — Или своим спокойствием, или человеком жертвовать приходится...

Кряжов взял фуражку и простился с дочерью и зятем. И дочь, и зять пошли за ним в переднюю.

— Ты бы ушла отсюда; простудишься, пожалуйста, — заметил заботливо Обносков жене, желая на минуту остаться вдвоем с Кряжовым.

— Нет, мне нужно с отцом поговорить, — прямо ответила жена, вышедшая в переднюю с тем же намерением, как и муж.

— Вот не могла этого сделать в комнате!

— Мне одной нужно переговорить с ним.

— Значит, я мешаю? — сердито спросил муж.

— Да, я попросила бы тебя оставить нас одних, — спокойно произнесла она.

— Я и не знал, что у тебя есть тайны от меня, — злобно усмехнулся он и прибавил, обращаясь к Кряжову с усмешкой: — Дитя еще, как видите, все хочется шептаться!

Пожав руку тестю, он вышел.

— Папа, не верь, пожалуйста, ему, это все клевета! — торопливо заговорила Груня, когда за мужем затворилась дверь.

— Дитя мое, какая же может быть цель у

Алексея для клеветы на Павла? — покачал головой Кряжов. — Нет, это правда, Павел обманывал меня, низко обманывал, говоря, что он работает. Обман обиден!

— Папа, милый мой, как ты скоро всему веришь! — с грустью воскликнула Груня. — Алексей ненавидит Павла, он видит в нем врага.

— Что ты, что ты! — замахал руками старик.

— Да, да, это ничтожный, мелкий и злой характер! — воскликнула молодая женщина, выходя из себя. — Он готов погубить всех, кого он ненавидит, а Павлу он завидует, к Павлу он ревнует.

— Кого это? — бессознательно спросил ошеломленный неожиданными открытиями дочери старик.

— Меня.

— К брату-то? К твоему брату? — покачал головою отец. — Дитя, дитя, всегда-то ты готова взволноваться из-за любимых тобою людей... Но нехорошо, что ты так дурно думаешь о своем муже, который тебя любит...

— Любит! — как-то горько произнесла Гру-

ня и снова стала просить отца: — Но, ради бога, осторожнее говори с Павлом. Ты знаешь его строптивый характер. Он не потерпит ни грубости, ни полицейского надзора в доме... Позволь лучше мне переговорить с ним...

— Ну, хорошо бы ты поговорила с ним! — улыбнулся Кряжов. — По головке его же погладила бы.

— Ну, так дай слово быть осторожным, — настаивала Груня.

— Хорошо, хорошо! Ведь не зверь же я, в самом деле, — успокоивал ее Кряжов, задумчиво качая головой и выходя из дверей.

Груня, бледнее обыкновенного, возвратилась в комнаты. Обносков нетерпеливо ходил взад и вперед по гостиной.

— Скажи, пожалуйста, что за секреты могут быть у тебя с отцом, — остановился он перед женой, зорко и ревниво щуря свои калмыцкие глаза, сверкавшие злобным светом из-под очков.

— Если это секрет от тебя, то, значит, именно его-то содержания я и не могу передать тебе, — холодно проговорила жена и пошла в свою комнату.

— Однако ты с некоторого времени принимаешь все чаще и чаще в обращении со мною такой тон, какого я не желал бы слышать, — внушал он ей, пытливо всматриваясь в ее лицо. — Прошу тебя раз и навсегда не играть в эту игру.

— Мне кажется, что нам скоро придется перестать играть в какую бы то ни было игру, — твердо сказала жена. — Тем более, что здесь, кажется, все только и умеют играть в кошки и мышки: кто кого поймает, тот того и давит.

— Что с тобой? — нахмурился муж, как осенняя ночь. — Уж не этому ли негодю обязан я всей сегодняшней сценой?

— Нет, ты во всем обязан одному себе, — насмешливо ответила молодая женщина, улыбаясь болезненной улыбкой, и вышла из гостиной.

Обносков походил большими шагами по комнате и решился объясниться с женою на другой день при первой удобной минуте. Однако на следующий день его жена ускользнула от объяснений и вышла со двора гораздо раньше, чем Алексей Алексеевич собрался на-

чать важные для него переговоры...

XVIII

Две порванные связи

Проснувшись в тревожном состоянии на другой день после описанной нами сцены, Груня решила идти к отцу, чтобы по возможности внести примирение в его переговоры с Павлом. Одевшись наскоро, она вышла из дому и пришла в дом Кряжова, — оказалось, что ее отца не было дома. Он ушел с утра, не сказав никому куда; Груня очень хорошо знала все привычки отца и потому не могла не встревожиться, услышав о его выходе из дома: старик по привычке покидал свой кабинет только в определенные с давних пор часы и уходил из своей квартиры не в определенное время только вследствие головной боли или беспокойного состояния духа.

— А Павел Петрович где? Дома? — спросила молодая женщина у лакея.

— Никак нет-с, — ответил он.

— Давно он ушел?

— Со вчерашнего дня не изволили возвращаться.

— Значит, отец не видал его вечером?

— Нет-с, не видали. Приказывали это они вечером позвать к ним Павла Петровича, коли они придут, да только Павел Петрович так и не пришли... Уж и мы беспокоимся, не случилось ли чего... Пожалуй, как оно медни, полиция забрала...

— Полиция? — испугалась Груня.

— Да-с, все как тогда, когда их обыскивали-то...

— А-а!

Груне самой стало совестно, что она не сразу поняла лакея и подумала, что Павла брали в полицию за какое-нибудь буйство. Встревоженная больше прежнего, она не знала, что делать, — приходилось идти домой, где ее ждали расспросы и подозрительные взгляды мужа и свекрови. Ей стало как-то особенно тяжело возвращаться к ним, и она медлила.

— Я отдохну немного, — сказала она лакею и прошла в столовый зал отца.

Все стояло по-старому в этой большой, убранной по-старинному комнате. Те же высокие, темные кресла, те же тяжелые, темные драпри, тот же мрачный, как пропасть, ка-

мин. Но все было пусто, угрюмо, в камине не пылал веселый огонек, как в былые годы. И между тем каждая из этих вещей, каждый из этих углов напоминали молодой женщине какие-нибудь счастливые или трогательные события из ее мирного детства и девической жизни. И со всеми этими событиями неразрывно связывалось воспоминание о двух дорогих сердцу и теперь отчужденных от нее существах — воспоминания об отце и Павле. С безмолвным, сжимающим сердце чувством безнадежной грусти смотрела Груня на все эти предметы, а слезы сами собою катились по ее щекам. Так смотрят люди на заросшие травой, безответные могилы, где безвозвратно схоронены дорогие им личности. А вот и то старое кресло, где она, Груня, впервые со страхом в сердце узнала, какую любовью любит ее Павел, где впервые на ее губах прозвучал страстный, не братский поцелуй юноши, тогда почти еще мальчика, теперь — молодого возмужавшего человека. Невольно, бессознательно опустилась молодая женщина на колени перед этим креслом и закрыла лицо руками, точно перед нею носился призрак

Павла и она просила у него за что-то прощения. Какой-то тайный, внутренний голос шептал ей: «Взгляни, как все здесь стало пусто. Твой брат, твой друг, твой возлюбленный бежал отсюда, чтобы спастись отсюда. Твой нежный, привыкший к семейному затишью отец бросил свой обычный труд и ушел, тоже бог знает куда, от этих безответных стен. И ты сама, несчастная, не любимая в своем доме, ненавидящая этот дом, рыдаешь здесь о своем утраченном счастье. Остайся здесь, и они снова придут сюда. Им не достает только тебя... Ты помнишь, что они не бежали отсюда, когда здесь раздавался твой голос приветный, твой смех молодой... Зачем же ты колеблешься? Решайся!.. Помнишь, твой брат говорил тебе, что мы все гибнем, потому что ничем не рискуем, всего боимся... — Или жизнь такая, какую мы желаем жить, или смерть...»

— «Нет, нет! — быстро вскочила Груня. — Мне надо бежать, бежать отсюда!.. Это мой долг, мое наказание за прошлую ошибку, — это наше общее наказание, потому что мы все виноваты и теперь все равно несем свой крест. Да, я теперь только поняла, что не я од-

на — жертва, что наказание постигло всех виновных...»

Торопливо отирая слезы, накинув шляпу, она поспешными шагами ушла из дома отца, как будто кто-то гнался за нею следом и хотел силою удержать ее в этом доме.

— Где это ты пропадала? — спросил ее муж, когда она, испуганная и трепещущая, вернулась домой.

— Я нездорова, — проговорила она вместо ответа.

Он взглянул на ее лицо и изумился: ее глаза были еще красны от слез, щеки пылали горячечным румянцем, губы запеклись.

— Что такое случилось? — тревожно спросил муж.

— Ничего... мне нужно лечь, успокоиться... Я стоять не могу...

— Да ты не к отцу ли ходила?

— Ради бога, не спрашивай меня ни о чем! — с невольным ужасом произнесла молодая женщина, чувствуя, что первое грубое слово теперь разорвет последнюю, туго натянутую нить ее связи с мужем. — Мне нужно отдохнуть, успокоиться... Тебе же будет хуже,

если мы станем теперь объясняться, — почти с угрозой говорила она.

Алексей Алексеевич пожал плечами, но не решился продолжать допрос. Что-то злое и грозное было в выражении лица его жены. Он позвал горничную, чтобы та уложила в постель барыню, и хотел ехать за доктором. Жена не велела звать врача... Покуда Обносков беспокоился и добирался в своем уме до причины всего случившегося, покуда мать настаивала, чтобы сын пугнул жену, — в доме Кряжова происходили сцены совершенно другого рода.

Не застав дома Павла при своем возвращении от Обноскова, старик Кряжев велел слуге сказать, когда возвратится Павел, и стал ходить в ожидании по своему кабинету. Время шло своим чередом, а лакей все не являлся с докладом. Чем более сгущалась ночь, тем чаще звонил старый ех-профессор и спрашивал слугу, не пришел ли Павел Петрович.

Ответ получался отрицательный.

— Часто он не ночует дома? — спросил Кряжов.

— Иногда не ночует-с, — ответил заспан-

ный лакей.

— Иногда! Иногда!.. Тебя спрашивают: часто ли? — рассердился старик.

— Не то чтобы часто, а иногда бывает-с, что ночевать не изволят, коли где-нибудь запоздают...

— Дурак, толком не умеешь ничего сказать! Ступай!

Кряжов снова ходил по комнате и ждал. Павел не являлся.

— Ну, что ж, и с нами то же бывало в молодости, — утешал себя старик. — А пожурить надо, все-таки надо... Однако в какое общество он попал? Ведь совсем погубят!.. И зачем он меня обманывает? Разве не мог он откровенно все рассказать мне? Обман, обман, вот что гадко!.. Пожалуй, в карты играет, долги делает... Ну, вот и погибнет. А кто виноват будет? Я? Я потачку давал, не умел строгим быть, по головке гладил, волю дал, вот и плоды!.. Нет! Строгость, строгость нужна, в ежовых рукавицах надо их держать... Мы откровенности их дожидаемся! Гм! Хороша откровенность!.. Смеются, поди, над старым дураком, что он спит и не знает, где гуляет его вос-

питанник!.. Спит! Спит! Нет, я не сплю, тут не уснешь, когда человек, близкий человек гибнет!.. Может быть, он уже и в полиции сидит, а я вот хожу, жду... Долго ли у нас-то до беды!

— Иван, Павел Петрович не приходил?

— Никак нет-с.

«Ну да, ну да, и не придет, знает, что я сплю, что я не забочусь о нем, что я верю ему!» — снова думал Кряжов, а утро уже бросало свои бледные лучи в его кабинет.

На следующий день старик не мог работать и, как мы уже знаем, ушел из дома, чтобы освежить свою голову. Часам к четырем он вернулся домой. Павла все еще не было. Кряжов один сел обедать. Старик уже не сердился, но просто грустил и беспокоился. Через несколько минут в передней послышался звонок. «Наконец-то!» — подумал Кряжов, и очень изумился, когда на место Павла к нему явился Обносков. Алексей Алексеевич пришел для объяснений со стариком насчет Груни и хотел узнать, между прочим, где она была утром.

— Ба! Какими судьбами ко мне завернул? — спросил Кряжов.

— Пошел проветриться, голова что-то болит, — ответил рассеянно Обносков.

— У меня тоже побаливает. Перед погодой, верно, — сказал Кряжов, зная, что у него совсем не перед погодой болит голова.

— Должно быть, — согласился зять, хотя тоже знал, что его голова болит не перед погодой. — Жена тоже не так здорова...

— Что с ней? — встревожился старик.

— Так что-то привалилась немного, — ответил Обносков. — Странная она какая-то стала в последнее время, все капризы...

— Да, да, но, может быть... знаешь, Алексей Алексеевич, у женщин время такое бывает...

В эту минуту раздался сильный звонок в передней. Так обыкновенно звонил только Павел. Кряжов постарался нахмурить брови. Дверь в столовую шумно отворилась, и Павел развязно и весело вошел в комнату.

— А, наконец-то! — проворчал сквозь зубы Кряжов, хмурия брови.

— Опоздал, извини, батюшка, — промолвил молодой человек и, кивнув головой Обноскову, наклонился к Кряжову и поцеловал его в лоб.

Это была одна из тех ласк Павла, которую более всего любил старик Кряжов.

— Обедал? — по-прежнему хмуро спросил старик.

— Нет, голоден, как собака, — отвечал Павел, бросая перчатки на стол, и пристально взглянул на старика. — Ты здоров? — спросил он озабоченно.

— Здоров, что нам делается! Спим целые ночи, да и днем, ходя спим, — с иронией и раздражением ответил Кряжов и бросил такой взгляд на Обноскова, как будто посылал его в душе ко всем чертям.

Старику хотелось поскорей высказаться, поворчать, и в то же время он не мог говорить при Обноскове с Павлом. Любовь и раздражение боролись в душе старого добряка.

— Хорошо, если бы молодежь и днем и ночью спала по-вашему, — не без едкости заметил Обносков, кажется, и не думавший об уходе.

Кряжов нахмурился еще более.

— А! Вы все на молодежь по-прежнему нападаете, — развязно засмеялся Павел, бросив бойкий взгляд на Обноскова и усердно ис-

требляя суп. — Я вот действительно не могу ни к какой регулярности привыкнуть: и сплю и работаю запоем.

— И кутите запоем? — обозлился Обносков за эту развязность своего веселого врага.

— О! Уж разумеется; тут-то регулярности и подавно не может быть. А то, пожалуй, пришлось бы начать, что вот такого-то числа, в такой-то час, такого-то месяца я кутить буду... это уж вышло бы слишком комично, — весело засмеялся Павел.

— Вам, вероятно, сегодня все покажется смешно, потому что вы, как я замечаю, находитесь именно в таком настроении, в каком люди бывают, вернувшись с кутежа.

— Ну, уж если пошло на сравнения, то ваше настроение похоже на настроение человека, выпившего какой-то горькой дряни, — засмеялся Павел.

Кряжов, который привык в последнее время забавляться выходками Павла, невольно улыбнулся, но тотчас же снова закусил губу, увидав, какое впечатление произвела последняя фраза Павла на Обноскова.

— Хорошо вы шутите, Павел Петрович, да

плохо живете, — промолвил Обносков шипящим тоном.

— Ай, вы опять за наставления хотите принятьсь! — махнул рукой Павел и продолжал преусердно истреблять жаркое.

— Да-с, за наставления! И хорошо, если бы вы слушались их. Это вам скажет и добрейший Аркадий Васильевич, который, вероятно, еще не успел объясниться с вами, — обратился он к Кряжову. — Но я зайду после, а теперь оставлю вас одних; вам, я думаю, нужно переговорить друг с другом после всего того, о чем мы говорили с вами...

— Н-да... пожалуй... — почему-то смешался Кряжов, у которого уже успел остыть гнев при виде Павла не пьяным, здоровым и веселым.

— Нет, постойте, — удержал Павел Обноскова, изменяясь в лице, и обернулся к Кряжову. — Ты, батюшка, действительно за что-нибудь недоволен мною?

— Н-да, есть причины... то есть, как бы это сказать, не то, что причины, но подозрения... — совсем растерялся Кряжов от прямодушного вопроса Павла.

— И ты говорил об этих причинах или об этих, как ты их назвал, подозрениях с Алексеем Алексеевичем? — еще более задушевно и уже грустно спросил Павел.

— Н-да... то есть не я говорил... но... это он говорил, — совсем спутался Кряжов.

— Ну, и прекрасно, значит, вам по праву следует первое место занимать при объяснениях отца со мною, как судье в семейных делах.

Павел отодвинул от себя тарелку, у него вдруг пропал всякий аппетит и исчезли последние следы веселости. Его голос дрожал от гнева.

— Что же, батюшка, я слушаю, — пробормотал он.

— Да это пустяки, мы переговорим одни, — заметил Кряжов, увертываясь от объяснений.

— Зачем же?.. Уж если ты про меня за глаза говорил дурно с ним, — небрежно указал Павел на Обноскова, — то в глаза-то и подавно можно.

— Да чего ты злишься-то? — треснул по столу кулаком Кряжов, досадуя, кажется, более на Обноскова и на себя, чем на своего ви-

новного воспитанника.

— Да как же и не злиться, когда ты жалуешься на меня черт знает кому, совсем посторонним людям, — ответил запальчиво Павел.

— Стыдись! — упрекнул Кряжов. — Алексей тебе не чужой.

— Я его никогда не считал своим родственником, ты это знаешь.

— Ну, если так смотреть на вещи, так ты и меня с Груней можешь считать чужими.

— Ты знаешь, что я уважаю тебя, как отца, и люблю ее, как сестру, — ответил Павел. — А его все-таки считал и считаю чужим.

— Насильно мил не будешь! — проговорил Обносков, иронически улыбаясь. — Но оставим разговор обо мне, а перейдемте лучше к делу... Вы приняли такой тон, который совсем не подходит к вашей роли. Вы огорчили своего воспитателя своим поведением и теперь грубите ему же.

— Да, да, ты меня огорчил, — проговорил Кряжов, постоянно терявшийся, когда ему приходилось делать строгие выговоры или принимать крутые меры.

— До Аркадия Васильевича дошли слухи,

что вы кутите...

— Это вы сообщили ему подобные слухи? — дерзко перебил Павел.

— Ну, хоть бы и я, так что же? — спросил Обносков.

— Очень вам благодарен, — насмешливо поклонился Павел.

— Да ты и должен благодарить его, потому что он заботится о твоей судьбе, — ввернул свое слово Кряжов, очень усердно и наивно подливая масло в огонь, который ему хотелось потушить.

— Но дело не в вашей благодарности, а в вашем ответе на вопрос: имеют ли основание эти слухи? — допрашивал сухим, учительским тоном Обносков.

— Ты уполномочиваешь этого доносчика и на роль инквизитора? — угрюмо спросил Павел, обращаясь к Кряжову.

— Да, это будет тебе наказание. Ты обошелся и обходишься с ним дерзко, так и отвечай теперь ему же, — сказал Кряжов, обрадовавшись этому случаю отделаться от несвоей роли и не видя возможности прекратить допрос.

— Да, — ответил совершенно побледневший Павел: — я кучу иногда, если вам так угодно называть мои случайные поездки и пикники и загородные гулянья.

— Вы, кажется, считаете эти удовольствия очень невинными?

— Не невинными, но очень естественными в молодости, если еще прибавить, что этой молодости скучно.

— То есть если она дела не делает, а бьет баклуши...

— Ну, в этом-то не я виноват.

— Вероятно, среда?

— Может быть, среда, а может быть, характер. Во всяком случае, вы не поймете, почему иному человеку тошно сидеть в четырех стенах, жить без людей, без деятельности и корпеть над бесплодной работой, которую он даже не считает серьезным делом...

— Так-с! У вас широкая натура, вам, верно, гражданской деятельности нужно, так вы и ищите ее в среде развратников и развратниц.

— Клеветецте! Я там просто думаю иногда рассеять скуку, но и это теперь иногда не удается, наскучило...

— Полно, наскучило ли? — злобно улыбнулся Обносков. — Но дело в том, что эти милые кутежи стоят денег, и очень жаль, что вы не так богаты, чтобы кутить на свои деньги...

— Что же, не думаете ли вы, что я на чужой счет веселюсь? — строптиво спросил Павел.

— Я ничего не думаю, но именно этот вопрос мог интересовать добрейшего Аркадия Васильевича. Вы живете на его счет, у вас нет ничего своего, ни гроша за душой, а потому не худо бы знать, на что и какие деньги вы тратите? — отчеканивал Обносков.

— Я зарабатываю деньги, — старался сдерживать себя подсудимый.

— Ну, их, вероятно, не достанет на всех этих камелий и на все эти разъезды, может быть, картежные игры.

— Батюшка, и ты тоже не веришь, что я трачу на эти глупости только свои деньги? — спросил Павел, обращаясь к Кряжову.

— Ну... — начал Кряжов, все время задумчиво чертивший что-то ножом по тарелке.

— Аркадий Васильевич так честен и добр, — перебил Обносков, — что поверит все-

му, что вы говорите ему. Но если даже вы и тратили действительно только свои деньги, а не его, не взятые в долг на стороне, то и тогда подобная жизнь не могла бы найти себе никакого оправдания и непременно должна повести вас ко всем мерзостям, до которых доходят подобные вам голяки, вздумавшие тянуться за богачами.

— Ну, пожалуйста, не переходите из роли допросчика в слишком почетную для вас роль наставника, — оборвал его Павел. — Наставлений ваших я не стану слушать. К этому не может принудить меня и отец...

— Я говорю вам только то, что сказал бы и он, — произнес Обносков.

— Да, да, все это и я хотел сказать тебе, — заметил Кряжов, не слышавший половины разговора и размышлявший о своей собственной бурной молодости, полной молодого разгула, молодых увлечений и ошибок.

— Вы видите, что я имею право давать вам наставления, хоть это и неприятно вам, — улыбнулся Обносков. — Но что бы ни было в прошлом, оно непоправимо... Поэтому самое лучшее будет с вашей стороны сознаться, не

сделано ли вами долгов, и если, к счастью, вы не успели их сделать, а могли обойтись теми деньгами, которые вы всегда можете достать здесь, то вас попросят на будущее время изменить образ жизни и побольше думать о деле, а не о разврате.

— Да, да, Павел, сделай мне это удовольствие и веди себя порядочно, — ласково промолвил Кряжов, полагая, что вся история пришла к концу.

— Во всяком случае, добрейший Аркадий Васильевич и я, мы постараемся следить за вами более зорко, чем следили прежде, — ввернул Обносков.

— Что же это я буду жить под надзором домашней полиции и шпионов-любителей? — гневно воскликнул Павел.

— Вы это своего воспитателя шпионом называете? — едко спросил Обносков.

— Нет, вас! — резко ответил Павел.

— Ты опять-таки говоришь дерзости, — рассердился Кряжов. — Ты благодарить должен Алексея, что он заботится о тебе, заботится потому, что я прошу его об этом... Н-да!

— Ты просишь? — бледнея произнес Па-

вел. — Так ты думаешь, что я когда-нибудь стану уважать этого человека или подчиняться ему?

— Да, да, и будешь, если я заставлю! — сказал Кряжов с какою-то старчески-добродушною и настойчивою уверенностью.

— Ну, нет!

— Не нет, а да! И если я тебя жить у Алексея заставлю, так и жить там будешь. Да! — настаивал Кряжов, до комизма стараясь быть строгим.

Он так сжился с Павлом, что все еще видел в нем того самого ребенка, который сживал у него когда-то на коленях.

— В таком случае, я лучше заранее уйду из твоего дома, — промолвил Панютин.

— Этим-то, вероятно, и выразится ваша любовь к отцу? — спросил Обносков и с умыслом впервые назвал в этот день Кряжова отцом Павла.

— Какой я ему отец! Мы чужие! Вы видите: жил-жил на квартире, а теперь не понравилась, так на другую переехать хочет, — с горечью промолвил старик. — Ну, что ж, переезжай! Да поскорей переезжай! Что долго разду-

мывать? И тебе, и мне покойнее будет.

— Покойнее всех будет вот этому мерзавцу, — вымолвил Павел, стискивая зубы, и указал на Обноскова. — Он погубил одну половину твоего счастья, теперь губит и последнюю. Жаль мне тебя, отец.

Обносков позеленел.

— Что? — вскочил Кряжов со своего места. — Ты, подобранный с улицы, наплевал на меня за все мои благодеяния, да ты же еще смеешь оскорблять горячо преданных мне и избранных мною людей?

— Э, какое тут благодеяние, если подберут щенка да потом станут его на веревке водить и позволять каждому негодяю с улицы ломаться над ним! — проговорил, задыхаясь Павел.

— Если бы вы не были мальчишка, так вы расквитались бы со мною за свои дерзости, — прошипел Обносков.

— Напротив того, только из того, что вы не расплачиваетесь со мною, я и понимаю, что я уже не мальчишка, — рассмеялся нервным смехом Павел.

— Ступай вон!.. Иди!.. И не смей более яв-

ляться ко мне на глаза! — кричал Кряжов.

Павел вышел. Кряжов зашагал по комнате, развязал на ходу шейную косынку, швырнул ее в сторону и расстегнул ворот рубахи.

— Негодяй, как он расстроил вас, — проговорил Обносков.

Кряжов ходил по комнате, изредка отирая ладонью свой лоб.

— И ведь черствость сердца какая, — еще решился произнести Обносков.

Кряжов все ходил молча. Взял со стола салфетку, отер ею вспотевшую шею и стал засовывать салфетку в карман.

— Я пойду, добрейший Аркадий Васильевич. Прощайте, — поднялся со своего места Обносков, совершенно сконфуженный молчанием тестя.

— Хорошо... Прощай!..

Кряжов даже не взглянул на зятя и продолжал шагать по комнате из одного угла в другой.

Изредка потирая себе лоб, старик размышлял о тысяче предметов. Думалось ему, что не умел он составить ни своего счастья, ни счастья любимых детей. «Ведь вот и Павел обо-

злился, нагрубил, уходит от меня, а все-таки ему не сладко. И у Груни есть какое-то горе, что-то случилось у нее с мужем, отчего-то она худеет... Теперь хоть в могилу ложись, да умирай! И как это Алексей так повел дело, что разозлил Павла... Ведь и в самом деле, не мальчишка же Павел, не ребенок он. А я чего смотрел, чего молчал, покуда Алексей говорил? Ведь я своими руками подложил огня к ссоре... Ну, да и то сказать, мог бы и помолчать передо мною Павел. Ведь не грубила же, покорялась же мне Груня?» И вдруг в голове Кряжова возникли вопросы: нашла ли счастье за свою покорность Груня? Наслаждается ли она семейными радостями в доме навязанного ей мужа? Доставила ли эта покорность наслаждение хотя самому ему, Кряжову? — На все эти вопросы он готов был отвечать скорее отрицательно, чем утвердительно. Начались думы о том, что и сам Кряжов вел такую же жизнь, какую вел Павел, что и он еще мальчишкой бежал из школы, потом студентом бежал от своего дяди, потом профессором вышел в отставку по капризу из университета.

— Что же, уж не мне ли прощения просить у Павла? Нет, молод еще он для этого! — рассуждал старик. — И какой черт дернул Алексея впутаться в это дело! — топнул он ногою, вытащил из кармана салфетку, чтобы отереть лоб, посмотрел на нее с каким-то тупым удивлением и швырнул на пол. — Правду Груня говорила, что ни я, ни Алексей не сумеем повести дело, — продолжал он. — Однако почему она так скверно говорила о муже? На что намекал Павел, говоря, что Алексей погубил уже половину моего счастья? Что у них там делается? Скрытная она, молчит все... Вот и Павел такой же был... За дурака они меня считают, за бессильного ребенка... Да я ребенок и есть, не умею я жить... Везде что-нибудь напутаю!..

Кряжов махнул рукой и снова шагал из угла в угол по комнате. Тревожный день взаимных недоразумений окончился бессонной ночью. Рано утром Кряжов спросил у лакея:

— Павел дома?

— Никак нет-с, вчера ушли...

— Ничего не брал с собою?

— Книги, кажется, взяли-с... Так, узелок ма-

ленький несли-с под мышкой...

— Ступай!..

Кряжов опять ходил по комнате.

— Ну, бог с ним, бог с ним! — шептал старик. — Я спокоен, я свое дело сделал, я проживу и один. У меня дело есть, мне некогда тосковать. И что мне он?.. Чужой... Правда, привыкли жить вместе, привыкли... Ну, да это ничего не значит. Отвыкну... Как не отвыкнуть!.. К тому же он в последнее время часто не бывал дома... Ведь я и без того почти всегда один был.

Кряжов надувал и старался уверить себя, что Павел не каждый день сидел в столовой, пока старик пил пиво.

Протянулось кое-как утро, настало время обеда. Кряжов вошел в столовую. На большом столе стоял только один прибор, и стол выглядел каким-то пустым. Слуга подал суп и ушел. Кряжову не с кем было говорить, некого было поджидать, не на кого было посердиться за поздний приход... Он молча принялся за суп, зачерпнул ложку и остановился; перед его глазами носился образ какого-то чужеземного ребенка; вот мало-помалу образ ребен-

ка превращается в образ бойкого, но сурового и строптивного мальчика; вот он становится задумчивым юношею с страстными глазами, наконец, это уже совсем возмужалый молодой человек, быстро развернувшийся, стройный, лихорадочно подвижный, иногда увлекательно веселый, иногда как-то трогательно грустный, но всегда ласковый, даже в минуты вспышек...

— Прикажете принять суп? — спросил лакей, появляясь в комнате и видя, что Кряжов не ест.

— Убирай!.. Я не буду обедать, — очнулся Кряжов и встал.

Он провел рукой по лицу, оно было мокро; он опустил руку на грудь, на рубашке были капли слез...

Точно забыв что-то и тщетно стараясь вспомнить забытое, пошел Кряжов в свою комнату, обвел ее глазами, пошарил что-то на полках, повертел какую-то книгу, положил ее снова на место и бессознательно вышел из дома. Через несколько времени он сидел в доме Обноскова перед диваном, на котором лежала Груня; она не была больна, но чувство-

вала непомерную слабость и истому.

— Нехорошо, плохо хворать, — говорил старик, стараясь придать шутливый тон своим словам.

— Да ты сам, папа, как-то дурно выглядишь сегодня, — заметила Груня, всматриваясь в его лицо.

— Ничего, я-то здоров. Что мне делается!
Все помолчали.

— Ну, а что Павел? Говорил ты с ним?

— Да, да, все пустяки.

— Ну, я так и знала, что ты неправ, — обратилась Груня к мужу с торжествующим лицом.

— Аркадий Васильевич говорит про ничтожность объяснения, а не про самый факт, заявленный мною. Оказалось, что Павел действительно кутил, мотал деньги и даже, вдобавок, вместо раскаянья наделал грубостей отцу и мне, — произнес Обносков, не обращая внимания на таинственные знаки тестя, приглашавшие его замолчать.

— Ты разве был при их объяснении? — поднялась Груня на локте, чтобы лучше видеть лицо мужа, на котором она научилась

читать все тайные помыслы.

— Был.

— Ну? Ну? Что же? Чем же кончилось? — спрашивала она, уже не помня, что говорит, и дрожа всем телом.

— Пустяки, пустяки все! — заговорил Кряжов и тихонько замахал рукою, делая очень выразительные глаза.

— Кончилось тем, что он ушел из дому твоего отца, — объяснил сухо Обносков.

— Как ушел? — крикнула Груня.

— Совсем... Неблагодарный мальчишка!..

— Что я наделала, что я наделала! Зачем я бежала из отцовского дома, когда я могла спасти брата! — закрыла лицо руками Груня и зарыдала.

— Дитя мое, что с тобою? Когда же ты бежала из моего дома? — подошел поспешно к ней с утешением Кряжов, думая, что Груня говорит о своем замужестве, и не зная о ее вчерашнем посещении его дома.

— Она бредит, я за доктором съезжу, — сказал Обносков.

— И как вы допустили его уйти, — рыдала Груня. — Вы оба, оба погубили его! Знали, что

он гибнет, что он стоит над пропастью, и в эту минуту решились оттолкнуть его от себя! Куда он пойдет? К тем развратным женщинам, у которых он, по вашим словам, проводил время? К тем гнусным кутилам, с которыми, как вы говорите, он был дружен? Ведь вы знали, что у него нет других знакомств, что вы держали его взаперти, вдали от общества. И как тебе-то не стыдно, отец! Если Алексей умеет только ненавидеть всех, только рыть яму всем, то у тебя-то такое мягкое, доброе сердце...

— Дитя мое, дитя мое, успокойся, — говорил старик и поспешно вызвал Обноскова в другую комнату.

— Съезди за доктором, она больна, — сказал он.

Через полчаса явился доктор, нашел в своей пациентке маленький жар, маленькое нервное раздражение, маленькую слабость, объявил, что, может быть, все пройдет само собою, что, может быть, болезнь разовьется, но что, во всяком случае, больной прежде всего нужно спокойствие. Послали за лекарством, заплатили доктору за визит и остави-

ли больную одну. Иного средства для успокоения нет...

— Мне надо объясниться с вами, — сказал Обносков Кряжову.

— Извини, Алексей Алексеевич, я сегодня не способен ни на какие объяснения. Довольно вчерашнего... Береги свою жену, а я зайду завтра, — проговорил старик и ушел.

Обносков не спал всю ночь. Он был встревожен, его мучила ревность, в голове роились разные подозрения.

— Что же это, мальчишка — соперник? — шептал он в ярости. — Отлично! отлично!.. он хорош собою, он ловок, здоров, а я слаб, болен, дурен, как же не полюбить его! И это так удобно исполнить, имея занятого делом мужа: муж в должность, — жена на свидание; муж горб гнет, — жена хохочет в это время с молокососом-возлюбленным... Никто ведь не узнает! Это не девушка развратничает, улик нет... Потому мы и замуж пошли, не любя, свобода была нужна. Не за гимназиста же было, в самом деле, выйти... Не ждать же, когда он подрастет... ха-ха-ха! Славные люди, славное поколение растет!.. Подлецы, подлецы!

Стниете вы у меня оба, я вас придушу, медленно придушу, — медленно, как вы опутывали меня сетью своих интриг... И за что это, господи? За что все против меня? Потому, что я иду прямым путем, потому, что я стою за правду, за свои права... Ведь умри она, ее же назовут жертвой... Палача назовут жертвой... Ведь нужно допускать свободу чувства, кормить развратных жен, воспитать незаконно-рожденных детей! Это все модные идеи!.. Господи, у меня голова кругом идет! — восклицал Обносков и, почти рыдая, в изнеможении падал на диван.

На следующий день он пошел в должность в самом тревожном настроении духа. Ему хотелось остаться дома, пролежать день, но манкировать службой было не в его характере.

Около двенадцатого часа Груня позвала к себе горничную.

— Барин ушел? — спросила она. — Ушли-с.

— А Марья Ивановна?

— На рынке-с.

— Одень меня.

Горничная помогла Груне одеться.

— Найми извозчика.

— Что вы, барыня, вам нельзя выезжать.

— Найми извозчика: мне надо ехать...

— Ох, да ведь меня бранить будут, со свету сживут...

— Ничего не сделают... милая, сходи за извозчиком... Я тебя возьму к себе... в дом отца.

— Да разве вы совсем хотите уехать отсюда? — изумилась горничная.

— Совсем.

Через полчаса Груня, шатаясь от слабости, входила в квартиру своего отца.

— Дитя мое, как тебя отпустили, как ты сюда попала? — всплеснул руками старик и бросился поддержать дочь.

— Папа, я более не уйду от тебя, — слабым голосом произнесла она, теряя последние силы, и прижалась к груди отца. — Они меня измучили... Я презираю, я ненавижу их. Я лучше пойду в могилу, чем вернусь к ним.

Кряжов отшатнулся от нее, но она едва не упала от слабости. Старик бросился к ней и обнял ее.

— Расскажи, что случилось, что случилось, — говорил он, обнимая и поддерживая

ее, свое единственное сокровище.

— Не спрашивай, я ничего не стану рассказывать. Но не выгоняй, ради бога, не выгоняй меня! — еще крепче прижалась Груня к отцу.

— Дитя мое, дитя мое, могу ли я выгнать тебя! — воскликнул старик, поднял Груню и, как ребенка, как в былые годы ее детства, донес дочь до ее старой девической спальни. — Вот ты и опять здесь, как прежде, как жила девочкой!..

Груня в изнеможении закрыла глаза и впадала в забытие. Кряжов сидел над ней, понутив свою львиную седую голову, и о чем-то думал. Невыносимой тоской дышала каждая черта его честного, обрюзглого старческого лица...

Груня не шевелилась.

XIX

Отец и муж

Кряжов сидел у постели дочери, не замечая, как летит время, и не делал никаких распоряжений, даже не посылал за доктором. Он был совершенно ошеломлен неожиданною бедою. В его голове был какой-то хаос, мысли путались и не вязались одна с другою. Старик не знал, что начать делать, как поправить случившееся несчастье. С самого детства не умел он справляться с житейскими невзгодами и в самых крайних случаях находил спасение себе только в бегстве: так он бежал от розог из школы, бежал от неволи из дома своего дяди, бежал от стеснительных для его преподавания мер из университета, вероятно, убежал бы и от своей жены, если бы она была дурна. Но в настоящем положении патентованное средство никуда не годилось и на место его требовалась дипломатическая тонкость для объяснений с зятем; а именно этой-то способности и не было у Кряжова, не умевшего, как мы знаем, ни в каких

случаях объясняться с людьми. Старик теперь кипятился и злился, хотя именно в эту минуту ему всего нужнее было спокойствие и хладнокровие. Резкий звон колокольчика в передней вывел его из оцепенения и заставил поспешить в другую комнату, чтобы встретить непрошеного гостя. Входя в столовую, Кряжов встретился лицом к лицу с зятем. Обносков был встревожен не менее тестя.

— Что у вас там вышло с женою? — сурово спросил Кряжов у зятя, не подавая ему руки.

— Она здесь? — торопливо спросил Алексей Алексеевич задышающимся от волнения голосом.

— Здесь.

— Слава богу, слава богу! — обрадовался Обносков и, вздохнув свободно, отер со своего плоского лба крупные капли пота. — Фу, как я струхнул!.. Ведь я уж думал, что в бреду горячки она бог знает куда убежала... Вы не можете себе представить, как это меня перевернуло... Мать прискакала в должность, говорит: «Жена убежала!», я ничего не могу в толк взять, в голове какой-то туман, — отвратительная минута!..

Обносков налил себе воды и залпом опорожнил стакан.

— Не в том дело, — прервал его Кряжов, хмуря брови. — Я спрашиваю, что у вас там вышло с женою?

— Ничего не выходило, — отвечал уже более спокойно Обносков.

— Как ничего не выходило?

— Я ее со вчерашнего вечера, когда вы у нас были, и не видал даже.

— А как вы с ней постоянно-то обращались? Как жили? — раздражительно промолвил тесть. — Мучили ее!

— Что с вами, добрейший Аркадий Васильевич? — изумился зять, слыша строптивый тон старика. — Живем мы, слава богу, мирно, тихо... Вы сами знаете, что иначе я и не могу жить при моих занятиях... Но меня удивляет, добрейший...

— Убирайтесь вы к черту со своим «добрейшим»!.. Что я вам за добрейший достался! Вы меня за мокрую курицу считаете, что ли? — вышел из себя плохой дипломат и ближе подступил к Обноскову, отступившему на шаг назад.

Начало не сулило ничего хорошего.

— Что с вами?

— А то, сударь, что вы измучили мою дочь. То, сударь, что она, Груня, мое дитя, не воротится больше в ваш дом!.. Понимаете вы это?

Обносков в изумлении довольно широко открыл свои подслеповатые глазки и еще на шаг отступил перед угрожающей фигурой старого ех-профессора.

— Что же это такое? — прошептал он, слегка изменяясь в лице. — Разрыв... бегство... это уже не бред, не горячка... — потер он рукою лоб. — Да нет! Вы расстроены, вы сами не знаете, что вы говорите! — промолвил он и выпил еще стакан воды. — Глупости какие-нибудь пришли в голову женщине, а вы из мухи слона сделали... Где она? Я пойду к ней... Надо переговорить...

Обносков совсем растерялся.

— Я вам сказал, что вы ее не увидите и она не воротится в ваш дом, — сердито топнул ногою Кряжов и заходил по комнате.

— Помилуйте, кто же ей позволит оставаться здесь? — нетерпеливо пожал плечами зять.

— Я! Слышите вы: я! — крикнул Кряжов, точно он хотел, по крайней мере, перекричать, если не убедить зятя, и рванул с шеи свою косынку. — Я ее не пущу к вам; не пущу, если она сама захочет идти к вам... Мало того, что вы сами мучили жену, так вы позволяли своей матери мучить ее... Вы от чужих прячете эту бабу; она за кулисами, когда у вас гости; вам стыдно показать это неотесанное чучело посторонним людям, но не стыдно заставлять жену жить изо дня в день с этою грубою тварью...

— Послушайте, — начал задыхающимся, но сдержанным голосом Обносков. — Я извиняю ваши дерзости только потому, что вы стары и не помните, что говорите... Вы раздражены... Я понимаю ваше положение. Вы слепо любите свою дочь, вы не можете видеть ее слез... Она, вероятно, рассердилась на меня и на мою мать за какую-нибудь мелочь, пришла к вам жаловаться, расплакалась и расстроила вас окончательно... Вам надо успокоиться...

Кряжов молча продолжал шагать по комнате, опустив на грудь свою седую львиную

голову.

— Вы знаете, — продолжал зять, успокоиваясь под мерное течение своей речи, — что я человек не светский, не паркетный шаркун, не праздный остряк... Я не умею и не желаю быть любовником своей законной жены, я считаю брачный союз слишком священным для того, чтобы осквернять его мелким развратцем любезностей, ухаживаний и бесконечных поцелуев... Может быть, моей жене, — извините меня за этот упрек вам, — начитавшейся в вашем доме разных современных развратных романчиков, захотелось на миг иметь именно такого мужа-любовника. Но она, как умная по природе женщина, испорченная только воспитанием, скоро поймет, что церковь не для этого освящает союз мужа и жены. Теперь поветрие на бегство жен от мужей, это зараза в воздухе, внесенная десятком развратных сорванцов, подтачивающих все основы честной, законной и, говорю смело, христианской жизни... Не нам с вами, добрейший Аркадий Васильевич, потакать этому злу. Мы призваны на борьбу с ним, — вы по летам, я по убеждениям...

Кряжов давно уже сидел у стола, скорбно опустив на руки голову, и, кажется, не слышал речей Обноскова.

— Помилуйте, друг мой, — продолжал зять, сверкая узенькими глазами, — сколько раз мы толковали с вами здесь, в затишье семейного кружка, об этих прискорбных, все чаще и чаще повторявшихся заблуждениях? Вы смотрели с таким же неподдельным ужасом, как и я, на этих несчастных жертв, бежавших при первой размолвке от законных мужей. Мы знали, что их ждет разврат, позор и гибель. Как же вы хотите, чтобы я, зная ваши убеждения на этот счет, хоть на минуту поверил, что вы желаете содействовать разврату и гибели своей любимой дочери?

Кряжов молчал. Все ниже и ниже склонялась его седая голова, все более скорбным становилось выражение его лица. Обносков с невольным удивлением, почти с любопытством, смотрел на эту безмолвную, полную тоски и горя фигуру старика.

— Успокойтесь, бедный мой друг, — с покровительством и участием произнес Обносков, подходя к старику и дотрогиваясь до его

плеча. — Дело поправимое!

Этот тон снисхождения внезапно вывел Кряжова из забытья. Старик вскочил и поднял голову.

— Прочь, негодяй! — крикнул он, встряхивая с омерзением плечом, до которого дотронулся зять. — Я тебя из своих рук задушю, если это будет нужно для свободы моей дочери. Я через твой труп перенесу ее на волю, бездушная, пресмыкающаяся тварь!.. Сожаление!.. Ты смеешь жалеть меня!.. Понимаешь ли ты, что ты наделал?.. Ты человека загубил! Мою дочь загубил!.. Да что я говорю: дочь! Ты загубил нас всех, все наше счастье, весь наш семейный мир... Слышишь ты? — тряс Кряжов зятя за плечи, как бы готовясь вышвырнуть его за окно на улицу.

— Что же это, убийство? — прошептал Обносков глухим голосом, обессилев в могучих руках старика, и его лицо исказилось от страха.

Кряжов опомнился и с отвращением оттолкнул от себя это больное, слабое и трусливое создание. Обносков едва переводил дух и тяжело опустился на кресло.

— Ты лучше не являйся ко мне на глаза, — ворчал с угрозой старик, шагая в волнении по комнате. — Ты умеешь говорить... ну, а я не привык с такими подлецами объясняться... Нда, не умею и, слава богу, что не умею!.. Не готовился в дипломаты, — ворчал вполголоса Кряжов.

— Вы... вы... не забудьте, — с усилием шептал зять, дрожа от недавнего испуга и злобы, — что у нас... у нас есть законы...

— Да... есть законы! — пробормотал Кряжов, разводя руками. — Ну, и обращай к ним, когда я тебе расшибу голову! — скрипнул он зубами и вышел в другую комнату. — Есть законы, — говорил он сам с собою, шагая в другой комнате. — И нечем оправдать бегство жены от такого мужа: тихий, скромный, не развратник, ну, и должна жить вместе! Ведь и точно, не потакать же гнусным прихотям всякой развратницы, захотевшей бежать от законного мужа! Ведь ее не насильно за него выдавали!.. Да, это значит: погубить ее же, если позволить ей бежать... Да, да, это все мои слова, мои убеждения!.. Дитя мое, дитя мое, что я с тобой сделал! — рыдал, как ребен-

нок, старик, припадая к постели лежавшей без движения дочери. — До седин дожил, общество всю жизнь учил, а не научился понимать людей, не сумел понять, что выйдет из того, что я делаю... Старый дурак, палач в шутовской одежде!

Кряжов рванул ворот своей рубашки так, что у него отлетели пуговицы. В эту минуту, должно быть под влиянием восклицаний отца, Груня стала бредить во сне.

— Что же доктор не идет? — очнулся старик. — Ведь я, кажется, посылал за ним... Нет!.. Забыл... Дурак, дурак!.. Недостает еще, чтобы сам ее уморил теперь!

Старик бегом отправился в людскую и поднял на ноги всю прислугу... Беготня, толки докторов, посылка за лекарством, хлопоты около больной, и все это утихло только к ночи, когда, наконец, в доме настала тишина и покой. Везде погасили огонь, все уснули, и только едва-едва теплилась лампа с темным абажуром в спальне лежавшей без памяти Груни, у постели которой не спал Кряжов: он сидел в полумраке в большом кресле, опустив на грудь и поддерживая одною рукой свою се-

дую голову.

Идут дни за днями своим чередом. Кряжов не заглядывает в свой любимый, уютный кабинет. Пусто и тихо в этой комнате. Пыль покрывает книги; до них никто не дотрогивается; некоторые из них так и остались открытыми, как бросил их хозяин, выбежав навстречу к своей дочери, пришедшей искать спасения, может быть, спокойствия могилы в отцовском доме; как-то неприятно действуют на глаза эти открытые страницы, занесенные густым слоем пыли, словно они говорят о скоропостижной смерти труженика, словно напоминают, что у этого труженика не было в мире ни одного близкого существа, которое закрыло бы с священной скорбью недописанную им страницу. Такое любимое существо было у Кряжова, и у его-то постели проводит он теперь дни, для этого-то любимого существа бросил он недописанные страницы своих изысканий и не заботится ни о пыли, оседающей на свежие чернила, ни о мышах, которые могут, если им вздумается, обгрызать эти исписанные листы. Все это писалось для науки, для общества, для потомства, может

быть; но что за дело теперь старику до этих любимых умом предметов, когда судьба отрывает у его сердца всю его жизнь — его любимую дочь? Он должен быть здесь: у ее постели его место. Это место его нравственной пытки, его лобное место, но старик не хочет, ради чего бы то ни было, уступить это место другому. Оно надрывает его старое сердце, но оно дорого ему. Тянется долгий мучительный день, — старик чутко прислушивается к каждому шороху и трепещет, что вот-вот раздастся звонок в передней, отворится дверь и появится в этой комнате зять, чтобы потребовать к себе свою жену. Как подействует его появление на больную? Не убьет ли оно сразу это хрупкое существо? Может быть, и убьет, но как предупредить это естественное появление зятя, как устранить от постели дочери ее законного мужа?.. Но, слава богу, день проклятый, истомивший нервы, меркнет: муж дочери не приходил, теперь можно успокоиться до следующего дня. Успокоиться? Едва ли! Наступает ночь, воцаряется тишина, — но старик тщетно старается задремать в своем большом кресле. Сон не идет, а идут новые

страшные думы. Эта проклятая ночь не разгоняет их, она как будто только для того и тиха, и беззвучна, чтобы не нарушать этих дум, — и они все растут и растут. Что будет, если дочь выздоровеет? Не должна ли она идти на новые муки, не будет ли ее выздоровление только средством заставить ее переносить новые страдания, новые сцены, новые болезни? Так лечили преступников, чтобы они имели возможность получить недоданные им удары палача... Так неужели же нужно желать, чтобы она умерла? Отцу желать смерти любимой дочери?.. У старика болезненно сжимается сердце, и он начинает тревожно прислушиваться к дыханию дочери: жива ли она, уж не умерла ли и в самом деле? Но вот она бредит, вот она чуть слышно шепчет его имя, имя мужа, имя Павла... Новые воспоминания, новую пытку переживает старик. Где Павел? За что разорвана связь и с этим дорогим существом? Что оно делает? Не гибнет ли в омуте столичной жизни?.. А бред дочери все продолжается, вот слышатся слова любви... Она говорит о любви, уж не любила ли она Павла более, чем брата? Он был хорош, она молода; они росли

вместе, они сжились вместе по чувствам, по мыслям, по стремлениям... Да, да, они любили друг друга... Любили! Они и теперь любят друг друга... Безднадежная любовь эта — источник новых мук. Жить с ненавистными людьми, терпеть от них гонения и знать, что где-то близко есть любящее, дорогое существо, с которым можно бы прожить счастливо всю жизнь, да ведь это невыносимо... Но где же исход, где исход?.. Опустив на руки свою измученную голову, сидит старик до утра, и болью отдается в его сердце каждое слово, произнесенное в бреду его дочерью, и такую же болью сжимается его сердце, когда кругом воцаряется могильная тишина, и дочь лежит, подобно трупу, без всякого движения на постели...

Да, это лобное место для Кряжова. Даже нет в его голове мысли, что он наказан без вины, что он прав. Даже не ищет никакого оправдания себе этот честный и прямодушный старик. Он сознает, что он не подлец, не негодяй, но он слабый человек, неопытный младенец в делах жизни, а это хуже подлости. Подлец имеет определенную цель, подлец

знает, кого он должен погубить своею подлостью, подлец знает, что его может встретить наказание за его поступки; но ничего этого не знает слабый и неопытный человек: нет у него умения достигнуть полезной цели, не предвидит он, кто может погибнуть от его бессознательных и неумелых поступков, не понимает он, что и его может ждать казнь за эти поступки, бесполезные, может быть, даже для него самого. Подлец с полным сознанием губит врагов и стоит за своих сторонников; слабый человек очень часто бессознательно помогает врагам и запутывает положение своих друзей...

Жизнь в эти дни казалась Кряжову каким-то тягостным сном, невыносимым кошмаром, горячечным бредом. Его заставило отчасти очнуться и вспомнить о необходимости действовать письмо зятя:

«Ваше возмутительное обращение со мною при нашей последней встрече, — писал, между прочим, зять в своем длинном послании, — заставило меня отказаться от личных переговоров с вами и прибегнуть к письменным объяснениям. Я узнал от вашей прислу-

ги, что моя жена опасно больна. Очень естественное чувство заботы о ее здоровье заставляет меня не требовать ее немедленного возвращения в мой дом в настоящую минуту. Мне тяжело не видеть ее, но приходится в этом случае покориться судьбе. На ваш уход за нею я надеюсь вполне, зная, как вы любите ее, и потому я покоен хотя в этом отношении. Не желая тревожить и раздражать ее, пока она будет слаба, я обещаю вам не являться ей на глаза. Но за эти уступки вы обязаны, как честный человек, как человек почтенных лет, приложить все свои старания для внушения своей дочери твердых понятий о ее долге. Не думайте, многоуважаемый Аркадий Васильевич, что вы этим сделаете только услугу мне, нет! Вы спасете честь своего семейства, спасете свою дочь и избавите себя от скандала и огласки всей этой прискорбной истории. Вы должны подготовить свою дочь к лучшему пониманию супружеских обязанностей, потому что именно вы должны загладить этим свое прошлое неуменье воспитать честную женщину — жену и мать семейства. Вы должны исправить прошлое и ради того, что-

бы для вашей дочери началась мирная и счастливая жизнь в доме ее мужа. Поймите, что только моя любовь к жене заставляет меня временно уклониться от тех мер, на которые я имею полное, неоспоримое и, так сказать, священное право. Я даю вам срок уладить все прочнее, спокойнее, без ломки, без шума. Но я должен предупредить вас, что никто не заставит меня отказаться от моих законных прав. Я не из тех, которые грабят, и не из тех, которых грабят. Законность для меня выше всего, и я еще не считаю себя вправе думать, что вы серьезно придерживаетесь другого образа мысли. Живую или мертвую, но я ворочу в свой дом свою жену и не позволю ни одному мерзавцу смеяться надо мною. Мы, слава богу, живем в таком обществе и в такие времена, что можем найти справедливый суд и расправу. Говорю все это вам, чтобы вы смотрели серьезнее на свою задачу примирителя и не думали, что есть какой-нибудь незаконный путь для удовлетворения каприза вашей дочери. Этого пути нет. Вы знаете, что она должна или вернуться ко мне в дом, или идти в монастырь; последнего она, конечно,

не сделает, тем более, что я имел случай узнать ее, к несчастью, очень печальный взгляд на такие предметы, как монастыри».

Кряжов опустил руки, прочитав послание. Он увидал необходимость выпросить у зятя отсрочку для вступления Груни в дом мужа... Начинаются переписка, свидания, переговоры. Обносков держит себя холодно, спокойно, с достоинством, иногда язвительно подсмеивается над стариком. Кряжов сначала просит, почти умоляет, потом раздражается, бушует и вдруг приходит в себя, сознает свое положение и снова переходит к просьбам. Но оба выглядят невесело, нехорошо, лица обоих осунулись, пожелтели; Кряжов ходит неверною походкою, Обносков сильно кашляет.

— Скорей надо ковать железо, скорей! — говорит Обносков на прощаньи с Кряжовым. — Вы видите, чего нам обоим стоит эта история. Мы оба в гроб смотрим и уходим себя, если не кончим дела скорее...

— Подождите, дайте ей совсем поправиться, тогда я ее подготовлю к свиданию с вами... Ради бога, подождите, теперь она так слаба, — умоляет старик.

— Вы видите: я жду... Ведь надо удивляться, как иногда бывают снисходительны тираны-мужья, — насмешливо и злобно заключает Обносков, — и как не снисходительны их страдалицы-жены. Тиран-муж боится жене на глаза показаться, чтобы не повредить ее здоровью излишними волнениями, а страдалица-жена позорит мужа, бросает его по капризу, доводит его чуть не до могилы... Дивные дела бывают на свете!

Кряжов молча и задумчиво выслушивает эти желчные слова, и в его голове вертится мысль:

«А что, если он умрет через полгода? Как бы протянуть это время?»

Старик пристальнее всматривается в лицо зятя: оно желто, изнуренно и местами на щеках горит пятнами зловещий румянец.

«Умрет, скоро умрет!.. А может быть, еще десятки лет проживет!» — думается старику, и он боится этой последней мысли; гонит ее от себя... Да, он, честный, прямодушный, не стыдится теперь желать смерти ближнему; старик не стыдится желать смерти молодому человеку!

XX

Заря новой жизни

— Дитя мое, не холодно ли здесь... Не простудись... И зачем ты ходишь одна, ты еще так слаба, — так говорил однажды Кряжов, заботливо суетясь около дочери, перешедшей в столовый зал без его ведома.

Она была еще слаба и бледна, но уже могла ходить без посторонней помощи. Закутанная в большую шаль, она полулежала теперь в дорогом ей по воспоминаниям кресле и, не слыша слов отца, задумчиво смотрела на огонь, пылавший в камине.

— Позволь, я проведу тебя в твою спальню, — уговаривал ее старик.

— А-а! Ты здесь, — очнулась молодая женщина от забытья. — А я мечтала... Все воспоминания... Скажи мне, что ты знаешь о нем? — отрывисто говорила она, как будто отец должен был знать, о ком она думала во время своих мечтаний.

— Как бы тебе сказать, дитя мое, — смеялся старик, не понимая ее вопроса и не же-

лая показать этого. — Покуда я ничего не могу сказать наверное... Я не знаю...

— Так ты справишься... Я хотела бы знать, что он делает, как живет... Неужели ты совершенно разлюбил его?.. Ведь он рос на твоих руках, он был близок тебе, как сын... Не понимаю я, как это могут люди забывать друг друга только потому, что не родные!..

— Что ты, что ты, голубка! Я его и теперь помню, люблю, как сына, — поторопился сказать Кряжов, поняв, о ком идет речь. — Я на днях пошлю узнать... Это время все о тебе хлопотал, совсем потерялся... Хорошая моя, напугала ты меня!

Кряжов ласкал дочь, но она была как-то апатично холодна. Казалось, что вместе с здоровьем отцвела ее любовь, погибла ее нежность. Постоянно задумчивая, постоянно молчаливая, она не ласкалась, как прежде, к отцу, не говорила с ним по целым часам и как-то рассеянно слушала его болтовню. Он же никогда не был так говорлив, как теперь. Казалось, что он хочет вознаградить себя за долгие дни молчания и одинокой тоски. Под его говор нередко засыпала дочь в своем боль-

шом кресле. У старика наворачивались на глаза слезы, когда он замечал, что дочь не слушала его и заснула, но он быстро оправлялся и тихо, осторожно отвозил больную в кресле в ее комнату, где, при помощи горничной, укладывал дочь, как ребенка, в постель.

— Дитя мое, я справился о нем, — толковал, радостно потирая руки, Кряжов на другой день после расспросов дочери о Павле.

— Ну и что же? — спросила молодая женщина.

— Ничего, работает, здоров.

— Не думает зайти к нам?

— Как бы тебе это сказать... Он заходил, то есть не то чтобы заходил, а справлялся о твоём здоровье у дворника... почти каждый день справлялся... Я это от лакея вчера узнал... Да этого и нужно было ожидать. Я всегда был уверен, что Павел нас любит. Строптив он, непокорен, но нас никогда не забудет. Добрая душа!

Дочь молча, слушала болтовню разговарившего старика.

— Н-да, справлялся и не зашел, — качая головой, рассуждала она как бы про себя. — Он

и не зайдет сюда, никогда не зайдет...

— Отчего же, дитя мое, отчего же! — торопливо прервал ее отец. — Теперь вот ты поправились, говорить можешь, он и зайдет непременно...

— Нет, отец, он не зайдет... И незачем ему заходить сюда... Мы его оттолкнули от себя... Ты позабыл о нем, я... что я ему теперь?

— Что за мысли, что за мысли! — воскликнул старик, подергивая шейную косынку. — Зачем этот тон? Разве мы враги с ним? Разве он не знает, что мы любим его, как родного?.. И отчего это ты вдруг могла сделаться чуждою его сердцу? Разве он так черств? Вот уж этого я не люблю, когда так думают о ближних...

Старик горячился и путался, но дочь уже не слушала его речей и дремотно смотрела на огонь в камине. Какие-то неуловимые и смутные видения носились перед ее глазами, в голове роились отрывки воспоминаний, клочки разговоров; иногда ей вдруг представлялось на мгновение будущее и по ее лицу пробежало выражение ужаса, плечи слегка вздрагивали... Но слабость сделала свое дело, и мо-

молодая женщина снова заснула, как убаюканное дитя.

На следующий день Кряжов весь сиял, не мог посидеть на месте, не мог наговориться.

— А знаешь ли, голубка, где я был вчера? — весело спрашивал он у дочери и как-то лукаво подмигивал добродушными глазами.

— Почему же я знаю! — ответила рассеянно дочь.

— У него, у нашего Павла, — торопился высказать старик. — Я знаю его, он упрям, непокорен, он не пришел бы первый... Да ему и не след было приходиться первому. Я старше его, я должен был первый показать ему, что прошлое забыто... Вот я так и сделал... Обрадовался он, целует... Все о тебе говорил... Он теперь придет. Только поправляйся скорее, он тогда и придет.

— Это он тебе сказал?

— Да, да, он сказал, что придет, когда тебе будет лучше.

— Он это обманул тебя, успокоить хотел, — промолвила молодая женщина. — Он не придет. Я теперь поняла это... Ему нельзя придти сюда... И для чего?.. Ну, скажи мне, для чего

придет?

— Как для чего? — растерялся старик и за-
суетился, не вынося пристального взгляда до-
чери. — Вот ты увидишь, я сам его приведу!

— Зачем? — еще пристальнее и неотступ-
нее взглянула дочь.

Старик растерялся окончательно и начал
развязывать шейную косынку, подергивая и
запутывая узел.

— Зачем? — продолжала в раздумье
дочь. — Увидаться на минуту, погоревать
вместе, еще более убедиться в том, что в буду-
щем тьма и безысходность... Стоит ли для это-
го видеться?.. И одной надоело страдать,
НЬТЬ...

— Что у тебя за мысли! — тревожно прого-
ворил старик, чувствуя, что дочь касается
именно того предмета, о котором он старался
не думать, обманывая себя насчет ее будуще-
го возвращения к мужу. — Мы должны быть
все вместе... Старую жизнь начнем...

— Ты веришь в возможность этого? — с
упреком в голосе спросила дочь.

— Да, да, мы будем счастливы, — увернул-
ся от ее взгляда отец. — Пожалуйста, не возра-

жай! Ведь ты хочешь увидеть его? Хочешь?

— Отец, что ты спрашиваешь! Зачем ты это спрашиваешь!.. Все, все отдала бы я, чтобы он был здесь, — оживилась на миг молодая женщина, и вдруг снова на ее лицо набежала какая-то мрачная тень. — Да нет, зачем! — раздражительно проговорила она. — Не напоминай мне об этом... Это мечта, бред... Лучше приготовить меня перенести действительность, близкое будущее... Ты не мог отворотить его, так, по крайней мере, постарайся облегчить...

Что-то суровое и почти черствое было в этих словах дочери. Отец опустил на грудь голову, и его говорливость внезапно сменилась тоскливым молчанием. Он почти боязливо ждал, что вот-вот дочь еще заговорит и поразит его сердце сотнями упреков за прошлые и предстоящие страдания. Но она молча поднялась с места и тихо, почти шатаясь, пошла в свою спальню.

Отец бросился поддержать ее.

— Оставь, я дойду одна, — проговорила она холодным тоном.

— Дитя мое, ты сердисься, — начал ста-

рик.

Дочь остановилась на минуту; выражение ее лица стало совершенно мрачным.

— Пора все кончить, пора кончить игру в прятки, — отрывисто проговорила она, поддаваясь нервному раздражению. — Чем скорее, тем лучше... Я тебя не упрекаю, но зачем ты не сказал мне прямо, что исхода нет?.. Надо было принудить меня жить с мужем: закрепить, так и нужно было разъяснить это... А то от слуг приходится узнавать, что муж может через полицию вернуть... через полицию!.. А ты... ты еще новые сны навеваешь... точно нарочно хочешь сделать более страшным мое пробуждение... Скорее, скорее кончай все, как-нибудь, но кончай... или я сама развяжу узел...

Дочь отвернулась от отца и прошла, шатаясь, в свою спальню.

Он, как оглушенный громом, стоял без движения на месте, и опять ни одного оправдания себе не находилось в его уме. «Виноват, кругом виноват!» — шептал он, и казалось, что ему недалеко было до сумасшествия.

Странные чувства овладели теперь Кряжо-

вым: он не сердился, не смел сердиться на дочь за ее резкие слова; нет, напротив того, он еще более понял всю тягость ее положения и страдал за нее более прежнего. До сих пор любовь молодой женщины к Павлу казалась одним предположением старику, теперь же он уверился в справедливости своих догадок. Несколько дней, как мы уже видели, он тешился, радуя свою дочь рассказами о Павле, и готов был продолжать эти невинные, по его мнению, толки о молодом человеке. И вдруг несколько отрывочных фраз дочери открыли ему, к чему он ведет ее этими подогреваниями того чувства, которое она старалась насильно задушить в себе, вырвать с корнем из своего сердца. «Что делать?» — спрашивал себя старик. Снова целую ночь провел он без сна, снова взвешивал все обстоятельства и тщетно старался найти исходный путь. Наконец он на что-то решился. Дня через три он явился к дочери опять с сияющим лицом.

— Дитя мое, тебе лучше? У тебя сегодня и цвет лица свежее, — говорил старик молодой женщине.

— Да, я почти здорова, — отвечала она.

— Ну и отлично, и отлично! — радовался отец, потирая руки. — А что если бы... Только ты будь покойна, не волнуйся, не волнуйся... Если бы, знаешь, вдруг теперь вошел...

— Папа, он здесь? Здесь?.. Веди его сюда, милый! Я хочу его видеть, в последний раз видеть! — волновалась дочь, и ее щеки вспыхнули ярким румянцем.

— Ну, полно, полно, успокойся... Погоди...

— Павел, Павел, друг мой! — поднялась молодая женщина с кресла и опустила свою голову на грудь Павла, быстро подошедшего к ней.

С минуту длилось молчание. Никто не мог выговорить ни слова. Первый очнулся Кряжов.

— Ах, я и забыл, мне еще нужно к Трегубову съездить. Ты побудь здесь, Павел, покуда я не возвращусь, — засуетился старик и торопливо, почти бегом скрылся из комнаты.

— Милый, милый, как я счастлива! — шептала молодая женщина, любуясь лицом своего друга. — Как ты изменился, похудел... Как ты жил это время? что делал? Я все хочу знать...

— После, после расскажу все, — говорил Павел, целуя руки Груни и сидя у ее ног на скамейке. — Теперь надо думать не о прошлом, а о будущем.

— О будущем? — вздрогнула Груня, и по ее лицу скользнуло выражение боязни. — Друг мой, не лучше ли не заглядывать в это будущее? Там мрак.

— Там свет, там счастье! — говорил Павел оживленным и страстным тоном. — Будущее наше. Будущее создаем мы.

Молодая женщина вздохнула.

— Это мечты!

— Нет, не мечты! Надо действовать и добиться счастья. Надо искать исхода.

— Я, по крайней мере теперь, не в состоянии ничего придумать... Я думала — ничего не выходило:, впереди была все та же безрассветная тьма... Практической, действительной жизни я не знаю... Я думала сперва, что так легко отделаться от мужа...

— Полно! Я все устрою, я все отдам, но устрою каше будущее. Говорят, нет для нас исхода. Глупости! Найдем исход!.. Он есть везде для всего. Ленивые и трусы только не находят

его... Какой исход был у меня, когда я вышел отсюда из дома без гроша в кармане? Какой исход был у меня, когда три дня я питался куском хлеба и водой, оставшись без помощи в этом чуждом для меня обществе? Однако же я выбился из нужды. Я готов был кули таскать, готов был в лакеи идти, только бы выбиться своим трудом из рук голодной смерти, и выбился. И всякий человек выбьется из ее рук, если в нем есть энергия, если он не станет плакать, что у него не явится сразу богатства. Но только был бы кусок хлеба да силы, а то явится и остальное. Или борьба с случаем, или смерть. А исходы будут всегда. Биться, биться нужно до последней капли крови и победить или умереть. И то и другое благо, и то и другое освобождает от гнета...

— Я сама думала о смерти, — задумчиво проговорила Груня.

— Думала о смерти, не начав борьбы? — горячо проговорил Павел тоном строптивного упрека. — Умереть, не померявшись силами с врагом? Убить себя прежде битвы, чтобы прямо уступить ему поле сражения? Да разве тут есть смысл?.. Нет! Надо все средства испробо-

вать, надо не сдаваться до последней минуты... И разве это так трудно тебе сделать? Ты не из-за хлеба бьешься, ты деньги имеешь для борьбы, а это уже не малое подспорье.

— Укажи мне путь, и я пойду на него, — произнесла Груня. — Но еще раз повторяю, что я теперь ничего не могу придумать... У меня есть решимость, но нет опытности... Веди меня куда хочешь. Я вся твоя. Что бы ни случилось, я перенесу все. Позор, лишения, труд — все, все перенесу, только бы вырваться из этой грязи, отделаться от этой лжи, прикрытой маской нравственности, набожности и серьезности...

Молодая женщина горячо и крепко сжимала руки Павла.

— Ну, вот, дети мои, мы и вместе, и опять по-старому живем, дружно, мирно, — говорил Кряжов, появляясь в комнате. — А ты, Павлушка, уж не дуешься на меня? А? — шутил он с своим воспитанником.

Тот пожал его руку.

— Береги мою Груню, береги! Я слаб, я стар, а ты теперь не дитя, тебе можно вверить ее, — говорил старик, и в его словах было ка-

кое-то особенное значение. — Ну, а ты довольна? счастлива? — спрашивал он у дочери.

Она притянула к себе его седую голову и поцеловала ее. Она была веселее, оживленнее, чем во все предшествовавшие дни.

Отец снова чувствовал, что дочь любит и прощает его. В ее ласке было даже что-то похожее на благодарность. Вполне довольный переменою в настроении дочери, старик был весел и болтлив, но почему-то он как будто считал своею обязанностью поминутно ускользать из комнаты и, не выдерживая, возвращался снова к своим детям... Вечер кончился, Павел стал собираться домой.

— Переезжай к нам теперь, — сказал ему Кряжов.

— Хорошо, — ответил Павел и простился с Груней.

— Мне нужно поговорить с тобой, — заметил он шепотом Кряжову и пошел с ним в кабинет. Кряжов встревожился.

— Скажи, как ты — уладил дело с ее мужем? — спросил Павел у старика.

— Покуда ничего не мог уладить, — заговорил старик. — И нельзя ничего сделать... вот

посмотри его письма.

Павел прочитал послания Обноскова.

— Но думаешь ли ты, что он оставит у тебя Груню хоть на несколько месяцев еще? Можешь ли ты сделать хоть это? — спросил Павел.

— Я думаю... надо хлопотать... просить, — волновался Кряжов.

— Я к тебе не перееду, — серьезно заметил Павел. — Мой переезд сюда заставит Обноскова сильнее настаивать на возвращении Груни в его дом.

— Ну, это почему? — с недоверием промолвил старик, сильно желавший переезда Павла в его дом.

— Почему? — в раздумье повторил Павел. — Он меня ревнует к ней.

— Глупости!

— Не глупости, а правда. И он имеет на это полное основание, — отчетливо проговорил Павел. — Каковы бы ни были наши отношения до сих пор, они не могут остаться навсегда такими... Подумай об этом и ты... Но что бы там ни было в будущем, а все-таки дело в том, что я жить здесь не буду для пользы Гру-

ни... Хорошо, если бы ты запретил и людям рассказывать, что я буду ходить сюда... Надо выждать время, обдумать все... До весны бы протянуть...

— А тогда?

— Тогда... Я сам не знаю покуда, что будет тогда, но нам надо выиграть время, — чтобы успеть все сообразить и чтобы она поправилась совсем, стала бы бодрее... Вдруг ничего не придумаешь...

— Делай, как знаешь, — проговорил Кряжов и растроганным голосом прибавил: — Тебе я поручаю спасти ее, тебе отдаю ее...

— И даже не спрашивая, какие выйдут из этого последствия?

— Спасение, спасение, вот все, что я жду от тебя, — проговорил Кряжов.

Павел крепко сжал его руку, и казалось, что он, как в былые времена, хотел этим ободряющим рукопожатием сказать ех-профессору: «Не падай, старичина, духом, я спасу твою дочь!»

С этого дня выздоровление Груни пошло быстрее, силы возвращались с каждым днем. Она снова была весела, говорлива и почти не

чувствовала боязни при взгляде на будущее. Если же эта боязнь и закрадывалась в ее душу, то Павел всегда умел рассеять это мимолетное чувство своими горячими речами. Он приходил не часто в дом Кряжова и оставался здесь не долго; Груня знала, что у него есть занятия, что он поступает так не даром, и не настаивала на частых визитах. Их братские, прежние отношения восстановились вполне. Любовных объяснений, порывов страсти не было никаких. Они были по-прежнему свободны в своих отношениях, и в этом было их счастье. Иногда в доме Кряжова появлялись сестры Обносковы. Сентиментальная Вера Александровна даже оставалась изредка ночевать у Груни. Она стала приносить своей молодой родственнице известия, что Высоцкая справляется о ее здоровье; потом от Высоцкой стали приноситься поклоны; она теперь как будто напрашивалась на знакомство с Груней; наконец Груня поручила попросить ее приехать в их дом. Отношения этих двух женщин изменились совершенно: Груня уже не упрекала в душе Стефанию за разврат, Стефания, в свою очередь, не считала Груню ни

дурной, ни слабой женщиной. Нередко встречал Павел Высоцкую в доме Кряжова и начал любить и уважать ее, как любила и уважала ее теперь Груня. Дни между тем шли вперед.

— Что ее муж? — спрашивал Павел потихоньку у Кряжова.

— Бунтует, не хочет более терпеть, хочет огласить все дело, если Груня не вернется, — печально говорил старик.

— Постарайся затянуть еще на несколько времени дело. Ей надо совершенно оправиться.

— Хорошо, хорошо, попытаюсь. Проходили еще дни.

— Друг мой, я боюсь, что ты ничего не придумаешь для моего спасения, — грустно говорила Груня Павлу.

— Не бойся. Все уладится, — утешал он. — Я давно нашел средство, его легко было найти. Но я боюсь еще за твои силы, тебе еще нужен уход близких людей.

Прошла еще неделя.

— Ну, брат, ничего, кажется, больше не поделаешь, — говорил Кряжов Павлу. — Алексей Алексеевич требует объяснения с женою.

— Может объясняться сколько ему угодно дней через пять, — улыбнулся Павел. — Груня теперь здорова и может решиться на все.

Вечером в этот же день у Кряжова были в гостях Высоцкая и сестры Обносковы. Груня была как-то особенно мила и оживленна в этот вечер. Высоцкая смеялась и шутила.

— Вы удивительно помолодели и похорошели в последнее время, — говорила она Груне.

— Это потому, верно, что волосы обрезала, так и выгляжу девочкой, — улыбнулась Груня.

— Премиленькой, надо добавить, — ласково промолвила Стефания. — Но как вы думаете устроить свои дела? Я слышала от Веры Александровны, что в доме вашего мужа собирается гроза. Надо бы подумать о громоотводе.

— Не знаю, право, это зависит от... случая, — проговорила, краснея, Груня, бросив взгляд на Павла.

— И, может быть, от вас, — заметил он.

— О, если от меня, то она будет счастлива, — горячо произнесла Высоцкая. — Даже не

из одной любви к ней, а ради мести этому человеку я готова все сделать... Это первый человек в жизни, которого я ненавижу... Но что же я могу сделать?

— Достать ей заграничный паспорт, — промолвил Павел и пристально взглянул на Кряжова: он боялся, что придуманная им мера встретит несогласие со стороны старика, и потому решил молчать до поры, и вдруг сделал быструю атаку.

— Как же это я достану ей паспорт? — спросила Стефания.

— Да, то есть вы возьмете на свое имя...

— Ха-ха-ха! Это мило! — засмеялась звонким смехом Высоцкая. — Там не пишут примет?

— Нет.

— Отлично! А то, пожалуй, мне пришлось бы ради этого стриженного ребенка обрезать свои длинные косы... Душа моя, так вы через несколько дней будете называться Стефанией Высоцкой...

Груня, изумленная и взволнованная, не могла выговорить ни слова. Кряжов тревожно ходил по комнате.

— Молодость, молодость! — бормотал он, качая головой, и вдруг остановился перед Павлом. — Но, знаешь ли ты, — начал он, — что это... это может отрезать ей дорогу на родину?..

— А возвращение к мужу не отрежет ли ей дороги к жизни? — строптиво спросил Павел, и его лицо нахмурилось.

— Что ты! что ты!.. разве я что-нибудь возражаю, — поторопился оправдаться старик. — Я только сказал, чего она может ожидать... Пусть едет... Не мне давать теперь советы, до вольно я давал их и прежде.

В голосе старика послышалась горечь. Ему было тяжело помириться с мыслью, что его дочь бежит, может быть, навсегда за границу, бежит с чужим паспортом. Он молча, понурив голову, ходил по комнате.

— Что ж, и я не прикован к месту, и я поеду, — бормотал он, утешая себя хоть этим.

— Да, но покуда тебе лучше остаться здесь, — заметил Павел. — Ты мог бы сказать ее мужу, что не знаешь, куда она уехала, чтобы тебя не считали сообщником в деле этого бегства...

— Сообщник... сообщник в противозаконном деле! — шептал Кряжов в раздумье и опять внезапно, как-то неестественно ободрился. — Хорошо, хорошо, — заговорил он. — Я покуда здесь дела приведу в порядок... Все отлично пойдет, отлично!

— А как же ты? — взглянула Груня на Павла боязливymi глазами.

— Приеду весной к тебе. Мне здесь работать надо... Да и тебе лучше пожить тихой, покойной жизнью, отдохнуть, собраться с силами.

— Вера Александровна, не поедете ли вы со мною месяца на три, на четыре? — спросила Груня у младшей Обносковой.

— Ах, мой ангел, помилуйте, как же это я вдруг за границу попаду! — застенчиво захихикала Вера Александровна. — Мне, право, совестно!

Груня закусилa себе губы, чтобы удержаться от смеху.

— Чего же совеститься? Вы очень, очень обяжете меня этим, — пожалала она руку младшей Обносковой.

— Ах, нет, это вы обяжете меня, — восклик-

нула Вера Александровна. — Мне так хочется видеть за границу! — восторженно воскликнула она и захихикала снова.

— Вот воображаю я изумление нашего взаимного родственника и его матушки, — рассмеялась Высоцкая.

— Так им и надо, аспидам! — злобно промолвила Ольга Александровна. — Ехидные люди!

Начались толки о будущем. Составлялись планы поездок за границу в гости к Груне. В семейном кружке царствовало то оживление, которое всегда бывает, когда один из членов семьи едет в далекий путь. Все как будто хотят наговориться, вознаградить себя за долгое время предстоящей разлуки и рассеять невольную грусть, стесняющую подчас сердце в эти последние минуты свидания.

Приготовления к отъезду пошли быстро. Груня и Павел были особенно нежны с Кряжовым в эти дни: они понимали, чего стоит старику согласие на отъезд дочери. Но он старался бодриться, старался шутить и смеяться; только, иногда он говорил Павлу:

— Ну, теперь ты побереги меня, покуда я

не уеду к ней.

— Я перееду к тебе тотчас же, как только она уедет, — отвечал Павел.

— Спасибо, спасибо, брат. Теперь мне нужна нянька. Стар я становлюсь! — вздыхал Кряжов, и на минуту его лицо темнело от грусти. Настал день отъезда.

— Все ли вы отправили? все ли вы уложили? — заботилась Ольга Александровна как практический человек.

— Никогда, может быть, я не увижусь с тобою? — плакала чувствительная Вера Александровна, обнимая сестру.

— Чудесно, чудесно, все кончится сегодня вечером, — радовалась Высоцкая. — Корабли сожгутся, и возврата не будет.

— Ах, разве мы на корабле поедем? — испугалась простодушная Вера Александровна.

— Нет, не на корабле.

— А вы о каких-то кораблях говорили.

— Да, — засмеялась Высоцкая, — я хотела сказать, что Агриппине Аркадьевне нельзя будет вернуться на старый путь.

— А! А уж я испугалась!

— А вы-то не боитесь, сжигая корабли? —

спросила Высоцкая у Грунп.

— Нет, я спокойна, — твердо ответила молодая женщина.

В кабинете Кряжова шел между тем разговор другого рода.

— Павел, если мне не удастся ехать весною к дочери, то поручаю ее тебе, береги ее, не покидай ее, — говорил Кряжов. — Я сделаю распоряжение насчет имения, оно все перейдет вам обоим. Надеюсь, что ты не бросишь ее...

— Ты сомневаешься во мне? — спросил Павел.

— Нет, мой друг, — задумчиво проговорил старик. — Правда, ты молод, ты моложе ее на несколько месяцев, но... но ты тверд и любишь ее, как добрый друг. Ты не бросишь ее, никогда не бросишь... Скажи мне, успокой старика, обещаешь ли ты мне не бросить ее?

— Отец, ты совсем не то думаешь, что говоришь, — мягко и задушевно произнес Павел. — Может быть, я отчасти угадываю твои мысли... Скажу тебе одно, это не минутная вспышка, это даже совсем не вспышка, это привязанность, выросшая со мною с колыбели, и она умрет только тогда, когда умру я

сам... Может быть, ты боишься того, что скажет свет...

— Сын мой, друг мой, я ничего не боюсь, — обнял Кряжов Павла. — Стар я, стар я, трудно мне себя ломать, свои взгляды изменять трудно... Ну, да сам виноват! Тут выбора нет:, или ваше несчастье, или ломка своих убеждений... Да благословит вас бог, да благословит вас обоих, неразлучных!

Через несколько минут старик позвал дочь в свой кабинет.

— Груня, может быть, мне не удастся приехать к тебе летом, — заговорил он.

— Милый, почему же? — печально спросила дочь.

— Я ничего не говорю положительно, но, может быть, может быть... Все мы под богом ходим, — промолвил отец. — Лучше предвидеть все дурное, чем тешиться розовыми мечтами... По опыту узнал я это!.. Да, так если я не приеду или приеду позже Павла, то я передаю тебя в его руки. Он твой друг, твой защитник... Будьте счастливы!

— Папа, да зачем же этот мрачный, прощальный тон? Мы еще увидимся, — сказала

дочь.

— Да, да, может быть, увидимся... Но... но бог знает, что может произойти в вашей жизни, прежде моего свидания с тобой... Я вас благословляю.

Старик отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Груня, я не хочу, — начал он твердо после нескольких минут молчания, — чтобы говорили, что я обманут дочерью... Нет, я теперь все вижу, знаю, что было прежде, что будет дальше. В прошлом виноват я, и если за будущее кто-нибудь станет упрекать тебя, то пусть этот упрек падет на меня, а не на тебя. Ты не виновата, ты не должна краснеть... Я неосторожной рукой хотел вырвать взлелеянную мною самим траву, которая должна была расти... И вот она не погибла, но только пробилась другим путем... Вы не должны краснеть за мою ошибку...

Груня тихо жжала руку Павла, и оба стали успокаивать старика. Его мучила мысль, что его Груня не может сделаться женою Павла, и в то же время он знал, что отношения брата и сестры должны непременно кончиться между молодыми людьми. Старику непременно

хотелось найти оправдание новым, предстоящим в будущем отношениям этих людей. Но сами молодые люди не искали этого оправдания и очень спокойно и трезво смотрели на новый, открывавшийся перед ними путь...

XXI

Обносков навсегда лишается жены

Не легко жилось в это время Алексею Алексеевичу Обноскову. Огорченный бегством жены, боящийся пуще всего огласки, раздражаемый постоянно вопросами посторонних людей о Груне, не находил он утешения и спокойствия даже тогда, когда оставался один в своем доме и стремился забыть все случившееся за книгами, за учеными занятиями. Эти занятия постоянно прерывались приходом его матери и ее то плаксивыми сожалениями, то подзадоривающими нашептываниями. Он чувствовал себя нездоровым: у него, как это обыкновенно случалось с ним при всяких неприятностях, начались сильные припадки кашля и лихорадочное состояние. Большую часть свободного времени он проводил лежа на диване, загромоздив стулья и неизменный ночной столик книгами и бумагами. Марья Ивановна, видя, что ее сын часто «приваливается», как она выражалась, ухаживала за ним

и советовала ему, хотя бесплодно, бросить на время занятия. По возможности она старалась как можно чаще быть около сына, вязала в его кабинете чулок и сообщала ему грязные сплетни о жене или читала ему наставления.

— Ох, Леня, Леня, что люди-то про нас толкуют, — вздыхала она, пощелкивая вязальными спицами. — Весь город говорит, что уж это недаром наше-то сокровище у своего отца находится. Никого не обманешь, никого не уверишь, что она так гостит у своего отца, с твоего согласия. Да как и поверить? Какой муж позволит гостить жене у отца, когда отец живет в том же городе и без того может видеть каждый день свою дочь.

Обносков упорно молчал.

— Ну, да и она хорошо ведет себя, — продолжала мать. — Наших-то мерзавок, Верку и Ольку, зазвала к себе, с ними компанию ведет. Видно, нам бока моет. Нечисто что-то у них, что-то они затевают...

— Ну, скажите, что они могут затевать! — раздражительно говорил Обносков. — Что они могут затевать?

— Не знаю, батюшка, не знаю, только уж недаром к ним Степанида-то стала ходить, — провязывала мать новую спицу своего вязанья. — Разузнавала я — не ходит ли кто-нибудь из мужчин, людишки не говорят, подкуплены... Все подкуплены... А сдается мне, что кто-то ходит. Вчера я своими глазами видела, как кто-то шмыгнул к ним на подъезд. Уж не Павлушка ли, чего доброго.

— Да перестаньте вы меня раздражать! — сердито вскрикивал Обносков. — Кто бы там ни ходил, а я все это на днях покончу.

— Ох, хорошо, если бы покончил, — качала головой мать. — Да нет! Ты такой добрый, все потекаешь им.

— Да что же вы прикажете делать! — поднимался на локте Обносков. — С полицией ее тащить? Вы поймите, что я на виду стою, я скандала боюсь, я своего имени не хочу отдать на пересуды, я свою карьеру не хочу портить. Ведь все надо огласить. Что они вздумают наговорить на меня, это еще неизвестно... Вы думаете, легко мне будет, когда все пальцами станут указывать на меня? Вон и теперь Петр Петрович, Родянка, Левчинов, все они

перестали ходить, а если и придут, так в каждом слове слышится насмешка... -

— Ах, батюшка, да пусть их смеются!

— Пусть смеются! Хорошо вам говорить, а я через это уроков могу лишиться. Эти болтуны не мою жену чернить станут, а меня, меня!.. Теперь во всем одни мужья виноваты, бабье царство настало...

— Так это, значит, так и нужно позволить ей жить у отца? — всплеснула руками мать.

— Нет, нужно запугать Кряжова, чтобы он выгнал ее из дому; нужно заставить ее, чтобы она сама пришла в мой дом, за прощеньем пришла... Вот чего я добиваюсь и добьюсь! Кряжов уже в моих руках, он кланяется, он понял, что право на моей стороне, — говорил сын.

Вечером он писал новое письмо к Кряжову с угрозами и настоятельными требованиями. На следующий день к нему приходил уклончивый ответ с обещаниями скорого примирения. А мать снова взяла чулок в кабинете сына и снова пилила его.

— Береги себя, Леня, — заботливо и плаксиво говорила она. — Брось ты свои занятия.

Теперь тебе укрепиться надо, голубчик, чтобы собраться с силами и поехать за нашей негодяйкой. Она со своим папенькой-то, я думаю, рада, что успела уходить тебя. Поди-ко, полагает, что ты так и оставишь ее на воле гулять на все четыре стороны...

— Ничего она не полагает, — злился сын. — Я ей писал, что не оставлю ее у отца, и она знает, что это мое последнее решение.

— Э, голубчик, — вздыхала мать, — мало ли что в письмах-то пишется, бумага все терпит, да на нее никто и внимания-то не хочет обращать! Ты ей пишешь одно, а она в свой нос дует!

— Погодите, одумается! Ведь и она, и ее отец очень хорошо знают, что я не шучу, и что право ка моей стороне...

— Плохо мне что-то верится, что они знают это... Для них, видно, и прав-то никаких нет, такие уж беззаконники!

— А вот увидим: поеду к ним, как немного поспокойнее буду. Все это проклятое нездоровье затянуло дело... Кажется, все бы отдал, чтобы быть теперь здоровым! А то от первого волнения чуть не в обморок падаю... Тут твер-

дость нужна...

— Уж что и говорить! Больным не поедешь к ним, — вздыхала мать. — А ты бы мне позволил переговорить с ними.

— Э, вы только хуже испортите дело!

— Ну, батюшка, если уж ты такой душой меня считаешь, так это твоя воля! — оскорблялась мать. — Мы ведь вот стары да глупы, а все же в наши-то времена не делалось таких делов. Жили с мужьями честно, терпели все, да никто и не знал, что мы терпим. Да если бы в наше время такая история случилась, так мы бы дело-то мигом уладили бы, церемониться не стали бы... Ну, а теперь люди умны стали, порядки другие; что-то только из этого выйдет, не пришлось бы кому-нибудь эту кашу-то расхлебывать...

Сын молчал.

На следующий день шла та же песня, то же нытье. Алексей Алексеевич почти привык к этим беседам и очень часто не произносил ни одного звука во время сетований матери. А эти сетования принимали все более и более угрожающий тон.

Однажды Алексей Алексеевич возвратился

домой с одного урока и хотел пройти к себе в кабинет, но был остановлен на пороге матери. Ее вид не предвещал ничего хорошего, глаза сверкали каким-то злорадным блеском, движения были торопливы и тревожны.

— Ну, что, дождался? — едко заговорила она скороговоркою. — Радуйся теперь, обманули, провели!..

— Что такое? Будете ли вы когда-нибудь толком говорить! — раздражился сын. — Что случилось?

— Ничего, батюшка, ничего! — язвительно говорила Марья Ивановна. — Мать у вас дура, мать ничего не понимает, ее слушать не стоит. Ну, и прекрасно, и наслаждайтесь, как из вас дурака делают.

— Да станете ли вы говорить, как следует? Что вы меня-то пилите? Понимаете ли вы, что вы измучили меня? — почти простонал сын. — У вас святого-то ничего нет! Вы, вы меня сводите в могилу!

Марья Ивановна вдруг разрыдалась.

— Прости, родной мой, прости! — застонала она. — Не могу я, не могу сдержаться себя при таком-то позоре! Ведь наша-то разврат-

ница, душегубка-то наша, сбежала!

Обносков тяжело опустился на диван.

— Сбежала за границу с любовником, верно, сбежала, с Павлушкой, верно! Без ножа зарезала! Срам-то, срам-то какой! Что теперь говорить-то будут!

— Что же это такое? Надо идти, справиться, — бормотал Обносков. — Да это ложь, у нее не было паспорта... Ложь! ложь!.. Кто вам сказал?

— Людишки, людишки их, — рыдала мать. — Лица этикие поганые с улыбочками делают, радуются нашему горю, нашему позору... Подкуплены, бестии, подкуплены!

Обносков с усилием поднялся с дивана...

— Батюшка, я с тобою поеду, ты слаб, — засуетилась мать.

— Подите прочь, — оттолкнул ее сын с непривычной грубостью.

В его глазах сверкала злоба.

— Не смейте никому рассказывать об этом до моего возвращения. Слышите?

— Слышу, слышу, — робко произнесла мать, и в ее голове вдруг промелькнула мысль: «Что это он точно мой покойник муж»

сделался!»

— Ступайте в свою комнату, а то вы с прислугой болтать станете. Привыкли к сплетням! — еще более резко и сухо проговорил сын, и, действительно, в эту минуту он был похож на своего забитого отца, когда тот бывал пьян и грозен.

Обносков вышел. Его походка была нетороплива, но тверда. Во всей его фигуре было что-то злое и мучительное. Худой и истомленный, но сдержанный появился он в доме Кряжова и приказал лакею доложить о своем приходе старому ех-профессору. Он сел в столовой и устремил глаза на дверь, из которой должен был выйти Кряжов. В этом не было ничего рассчитанного на эффект, но этот пристальный взгляд, встретивший Кряжова при первом его шаге в столовую, смутил старика и заставил его впервые потупить глаза перед зятем. Обносков не спускал с него глаз. Оба они страшно изменились за последнее время, на обоих страдание наложило свою неизгладимую печать. Кряжов молча поклонился и сел. Он как-то совсем сторбился.

— Что же это значит? — неторопливо заго-

ворил Обносков довольно твердым голосом. — Я жду ваших объяснений!

— Что же мне объясняться! — произнес старик.

— Где ваша дочь?

— Не знаю, — солгал Кряжов и глянул в сторону, избегая встречи с испытующим взглядом зятя. — Она уехала куда-то без моего ведома...

Старику было непривычно, мучительно лгать, и еще перед кем, перед презираемым человеком.

— Без вашего ведома? — засмеялся Обносков, и в его голосе уже послышалось лихорадочное волнение. — Без вашего ведома! И вы думаете, что я вам поверю? Не в ваши бы годы прибегать ко лжи. Вы когда-то так гордились своею прямою.

Кряжов промолчал; он ясно слышал насмешку в словах зятя, но говорить не мог.

— И что вы хотите этим выиграть? — продолжал Обносков. — Не думаете ли вы, что вашу дочь не вернут назад?.. Да я ее из могилы отрою, я ее с того света верну! — вдруг прорвался Обносков болезненным восклицани-

ем. — Знаете ли вы, чего мне все это стоит! Жизнью, жизнью я поплачусь!

Кряжов молчал. Какую-то тупую боль пробудил в нем измученный вид этого больного человека, как-то странно звучал в его ушах этот хриплый, задыхающийся голос, прерываемый глухим кашлем. Старик возненавидел зятя в последнее время, но теперь ему было жаль этого человека, и в глубине своей честной души он слышал упреки совести, чувствовал, что и он виноват, может быть, более всех виноват и в горе, и в теперешней болезненности этого человека. Здесь резко отразилась противоположность характеров этих двух человек: Кряжова страшно мучили упреки совести, а Обносков не упрекал себя ни в чем и считал себя вполне правым и безупречным.

— Полно, Алексей Алексеевич, — промолвил старик, — мы оба равно несчастны, мы оба равно ошиблись.

— Ошиблись! — гневно проговорил Обносков, сверкнув глазами. — Значит, и вы ошиблись во мне? Но я все тот же, каким я был прежде. Зачем же вы выбирали меня в мужья

своей дочери? Где были тогда ваши глаза?.. Вы ошиблись во мне и потому решились принести в жертву меня. Стыдитесь! Стыдитесь!

Кряжов смутился и опять отвел в сторону свои глаза, чтобы не встретить взглядов зятя.

— Полно, полно, Алексей Алексеевич, — снова промолвил старик. — Я говорю, что мы оба несчастны, и нам остается только примириться со своею участью.

— Примириться? Никогда, никогда! — крикнул Обносков, волнуясь все более и более. — Я призыву вас к суду, как сообщника в деле ее бегства. У меня найдутся и улики, и свидетели. Я призыву к допросу вашу прислугу. Вы подкупили ее, но я разожму ей рот... Я опозорю вас, а все-таки заставлю сознаться, заставлю!

Старик поднялся с места и выпрямился во весь рост. Его колоссальная, величавая в своей скорби фигура была прекрасна в эту минуту.

— Ну, и что же будет дальше? — спокойно спросил он безмятежным и твердым тоном. — Опозоришь и заставишь сознаться, а дальше-то что?

Голос старика был необыкновенно ясен. Обносков не отвечал.

— Я опозорен уже и тем, — продолжал старик, не изменяясь в лице, — что моя дочь должна была бежать от мужа, выбранного мною. Я опозорен уже и тем, что я выбрал такого зятя, как ты. Ты хочешь наказать меня, но я уже наказан, видит бог, что я наказан. Ты видишь, я один, я оставлен дочерью, я чувствую себя виноватым перед нею и не нахожу оправдания себе даже в своей совести. Чего же мне бояться еще? Публичного скандала? Но его боятся только те, кто не боится суда своей совести; для меня высшее наказание ее суд. Этот суд я перенес, тут я уже отстоял свой законный срок у позорного столба... Ты видишь, я постарел на десятки лет, а моя натура не легко ломается...

Обносков как-то тупо молчал и слушал эту странно спокойную, безмятежную и все же потрясающую по своей глубокой скорби речь старика.

— Итак, ты хочешь скандала, — продолжал Кряжов все тем же тоном. — Все в твоей воле. Объявляй, жалуйся. Пусть судят меня, я не ис-

пугаюсь. Я мог бы испугаться, если бы суд мог воротить в твой дом мою дочь. Но, благодарение богу, на земле нет такой власти, которая могла бы сделать это. Здесь ваши законы бессильны...

— Ошибаетесь, ошибаетесь! Ее вернут, непременно вернут! — вскричал Обносков.

Старик сострадательно усмехнулся.

— Ты убежден в этом? — промолвил он. — Подумаешь посерьезнее, увидишь, что это ошибка, что никто не смеет вернуть ее, никто... И откуда вернуть? Где она? Кто это скажет?.. Значит, вся польза из скандала будет в нашем позоре с тобою. Я не боюсь суда и публичности, как я уже сказал тебе. Но загляни поглубже в свою душу; ты, как видно, считаешь себя безупречным и не знаешь, что значит страшный суд совести. От этих мучений ты сумел избавиться, к несчастью. Да, к несчастью, потому что это суд всех честных людей!.. Но не дрогнешь ли ты перед гласностью? Не побоишься ли ты сделаться без всякой пользы для себя предметом салонных толков? И будет ли говорить в твою пользу тот свет, который уже насмотрелся на подоб-

ных тебе мужей? Не будет ли колоть тебя каждое двусмысленное слово, каждый намек, каждое насмешливое сожаление? Твоя совесть покуда спокойна и не видит твоих ошибок, но тогда ей укажут на каждую мелочь, на каждый промах, тебе разъяснят, что за женщина твоя мать, каково жить с нею, насколько было честно отдать жену под ее гнет, и едва ли даже ты сохранишь свое спокойствие. Что ж, поступай, как знаешь. Я на все смотрю уже так холодно, как можно смотреть, только стоя одной ногой в могиле, а ты — ты привык волноваться даже из-за пустяков, из-за отнятых у тебя грошей...

— Надели петлю, затягивают ее и глумятся, доказывая, что ее нельзя снять! — почти зарыдал Обносков и треснул кулаком по столу.

— Бог свидетель, что я глубоко жалею тебя и каюсь за свою ошибку, — потрясенным голосом произнес Кряжов.

— Будьте вы прокляты с вашим сожалением! — крикнул Обносков и направился, шатаясь, к дверям.

— Не нам проклинать друг друга, и рассу-

дит нас только бог, — тихо и грустно промолвил Кряжов.

Опять долго проходил он по комнате в глубоком раздумье. В его душе не было волнения, не было тревоги, но какое-то торжественное спокойствие хладнокровного взвешиванья своих дел и мнений, спокойствие молчаливой проверки своего прошлого царило в этой старой, честной душе. Что-то покорное, тихое, хотя и не лишенное следов мучения, отражалось на похудевшем и обрюзгшем лице старого ех-профессора.

Вечером за чаем он мельком заметил Павлу о посещении Обноскова.

— Что, он обещал выдать ей паспорт? — спросил Павел.

— Мы об этом не говорили, он очень расстроен, — ответил Кряжов.

— Жаль его; с пелен совсем искалечили человека! — проговорил Павел с неподдельным чувством.

Кряжов вздохнул и особенно горячо пожал на прощанье руку своего названного сына. Старик было крайне приятно, что Павел не сказал ни одного резкого слова про Обноскова.

Не в таком безмятежном настроении духа возвратился домой Алексей Алексеевич. Он был угрюм, раздражен и нетерпелив. Марья Ивановна вышла к нему навстречу, желая расспросить о результатах его визита к Кряжову, но увидала выражение его лица и струсила. Опять лицо сына напомнило ей лицо мужа, когда тот бывал в буйном настроении духа.

— Не надо ли тебе чего-нибудь, Леня? Чаю не хочешь ли? — боязливо спросила она.

— Оставьте меня одного, — проговорил он, не обращая на нее внимания.

— Утомился ты, бедный! Ты прилег бы, — с участием проговорила мать.

— Оставьте меня одного, слышите ли вы? — топнул ногою Алексей Алексеевич. — И меня выжить из дому хотите, что ли? — гневно остановился он перед матерью.

— От тебя-то этого я не ожидала! — захныкала Марья Ивановна.

— Идите в другую комнату плакать, довольно я насмотрелся на ваши слезы, — сказал сын и отвернулся от матери.

Она украдкой поспешно отерла слезы и

вышла походкой наблудившей кошки... Алексей Алексеевич стал ходить по комнате. Сотни дум роились в его голове, он мысленно обвинял во всем случившемся тестя, жену, Павла, свою мать, но ни разу не пришло ему в голову, что и он виноват не менее их всех. Он представлял себя мучеником испорченных людей, испорченных нравов современного общества и отчасти даже с гордостью думал, что чаша еще не выпита до дна, что он еще будет страдать за свою честность, за свои права. Эта мысль отчасти давала ему силы смотреть без особенного страха на предстоящую ему в свете роль обманутого и брошенного мужа. Он знал, что в глазах света всегда прав победитель и смешон побежденный, но Обносков теперь презирал и ненавидел этот свет, как скопище мерзавцев, подрывающих все основы спокойствия, и дураков, не умеющих бороться против этих нарушителей порядка. В его голове возник вопрос: что делать? Объявлять ли о бегстве жены или выдать ей паспорт? Сначала ему хотелось во что бы то ни стало произвести скандал. Но мало-помалу он склонился к мысли о выдаче

паспорта. Трусость перед гласностью взяла верх над желанием опозорить Кряжова и его дочь. Алексей Алексеевич видел ясно, что его дело проиграно безвозвратно, что жену воротить нельзя, что Кряжов слишком зарекомендован в мнении общества для того, чтобы к нему пристала грязь, что, наконец, борьба будет неровная, так как он, Обносков, располагает очень небольшими материальными средствами и связями, а Кряжов заручился и тем, и другим. Первый раз Обноскову приходилось поступить против своих убеждений, и это было причиною самых сильных мучений. Но на ком выместить злобу? Кого обвинить за необходимость такой поблажки противникам? Под рукой была мать. Она уже давно вызвала негодование Алексея Алексеевича своим нытьем, своими упреками и сплетнями. Более чем когда-нибудь чувствовал он в настоящее время на себе весь гнет ее безобразного характера. Теперь он обвинял ее более всех других людей за бегство жены.

— Леня, что же ты теперь будешь делать? — говорила она на другой день ноющим и слезливым тоном.

— Паспорт жене выдам, — ответил он с усмешкой. — Пусть гуляет и радуется, что обманула меня.

— Что ты это, голубчик, шутишь! — воскликнула мать. — Как же это можно такую негодяйку прикрывать!

— А вы что прикажете делать? Не угодно ли вам, чтобы Кряжов рассказал, почему его дочь бежала от меня? Да вы знаете ли, что она из-за вас бежала? — злобно взглянул Обносков на мать.

— Господи! Да кто же поверит этому! — всплеснула руками мать.

— Все, все поверят! Вы думаете, что ваши кухарки, ваши родные, ваши знакомые не знают, что вы за женщина? — ядовито и раздражительно говорил сын. — Вы не только ее жизнь отравляли, вы теперь мою жизнь отравляете!

— Грех тебе, Леня! Ответишь ты богу за меня на том свете! — заплакала Марья Ивановна.

— Никогда не отвечу! — гневно произнес сын. — Я и теперь избегаю скандала, чтобы спасти вашу репутацию. Я своею грудью за-

слоняю вас, я свою жизнь отдаю за вашу честь, я своим убеждениям изменяю для спасения вас от сплетен... Полноте плакать, слезы тут не поведут ни к чему! Много я их видел на своем веку! Если бы вы не были моей матерью, то я отшатнулся бы от вас при первой встрече. Но вы мне мать — и моя обязанность отстаивать вас перед обществом. Да, поймите все это!

Понимала Марья Ивановна все эти рассуждения довольно плохо, но они все-таки имели довольно благотворное влияние как на ее сына, так и на нее. Обносков, высказав эти мысли, пришел к убеждению, что он делает невольную уступку жене для спасения чести своей матери, и возгордился этим великим подвигом. Марья Ивановна, слушая его речи, поняла то, что сын хотя и сердится на нее, но все-таки не выгоняет ее из дому, и потому в глубине души тоже успокоилась и даже подумала: «Пусть его поутихнет, тогда и поговорю с ним толком, ведь это не в первый раз молодая-то кровь в нем расходилась. Вот так же сердился, как я ему на первой невесте жениться не позволила, да ничего, утих, и меня

же потом благодарил. Ох, уж эта молодежь, словно порох, вспыхивает; только беги в сторону, чтоб не опалила». Приняв смиренный вид угнетенной невинности, мать стала надирать сердце сына ежеминутными вздохами и невообразимую предупредительностью. В его комнату она входила не иначе, как на цыпочках. Говорила почти шепотом. Если ему нужно было что-нибудь, то она не шла, а бежала за понадобившейся вещью. Таким образом, Обносков и его мать играли роль двух мучеников и показывали вид, а, может быть, даже и верили сами, что они принесли себя в жертву друг другу и своему долгу...

Затишье после грозы

В первых числах июня Кряжов собрался за границу к немалому удивлению Трегубова, который никак не мог помириться с мыслью, что его старый друг уезжает один, не дождав-шись его. Павел ехал вместе с Кряжовым. Всю дорогу шли у них бесконечные разговоры о Груне, о нетерпении поскорей увидаться с нею и, кажется, оба путешественника счита-ли чуть ли не минуты, остающиеся до их сви-дания с любимой ими женщиной. Оба они по-ходили на школьников, вырвавшихся на сво-боду. Павел сознавал, что Кряжов желает ви-деть дочь едва ли не сильнее его самого, и по-тому он чрезвычайно удивился, когда старик неожиданно сказал ему в один прекрасный день:

— А вот мы теперь расстанемся. Ты поез-жай прямо к ней в Женеву, а я заеду в Ба-ден-Ваден.

— Что тебе это вздумалось? — в недоуме-нии посмотрел Павел на старика.

— Полечиться надо немного, — проговорил Кряжов, избегая испытывающих взглядов своего спутника и принимая равнодушное выражение лица.

— Однако ты прежде не хотел лечиться!.. Ты разве чувствуешь себя худо? — встревожился Павел и еще пристальнее взглянул на Кряжова.

— Нет, нет! — поспешил старик успокоить его. — Но знаешь... вот я полечусь и недели через четыре приеду к вам...

Павел не спускал глаз с смущенного профессора и, кажется, хотел прочитать его затаенные мысли.

— А вы, между тем, обживетесь, приготовите все для моего приезда...

— Да там все приготовлено...

— Ну да, ну да, приготовлено, — совсем спутался старик. — Но... но... лишний я буду теперь при вашем свидании, — отвернулся он в сторону.

Павел весь покраснел и не мог сказать ни одного слова. Ему хотелось поблагодарить Кряжова и в то же время было почему-то со-вестно. Он был особенно весел вечером в этот

день. Старик тоже шутил и забавлялся, как малое дитя. Рано утром на следующий день им приходилось разъехаться в разные стороны. Они горячо обнялись и поцеловались.

— Скажи Груне, что я здоров, весел и спокоен, — промолвил Кряжов. — Непременно скажи ей это.

— Мы сами к тебе дня через три приедем, — сказал Павел, обнимая его.

— Смотри, чтобы месяцы за дни не показались! — шутил старик, а в тоне его слов все-таки послышалась невольная грусть.

Тщетно старался Кряжов в последнее время скрыть этот оттенок грусти, он невольно примешивался теперь к его речам даже в самые счастливые минуты.

Однажды, недели через две после приезда в Баден-Баден, Кряжов возвращался с прогулки и еще издали увидел стройного молодого человека, шедшего под руку с молоденькой женщиной. Молодые люди были, по-видимому, вполне счастливы, очень близки друг к другу и вели оживленный разговор. Старик с волнением стал всматриваться в них слабыми глазами, узнал эту пару, хотел ускорить

свою старческую поступь и не мог сделать ни шагу; ему пришлось поскорей опуститься на первую попавшуюся скамью. Молодые люди, наконец, тоже заметили его и бросились бежать к нему вперегонку, крикнув:

— Кто скорее?

— Я прежде! — ответил молодой человек, добежав первым к старику.

— Ну, зато ее на закуску поцелую! — весело поддразнил молодого человека старик и обнял дочь. — Милые, милые, спасибо вам, что и теперь вспомнили обо мне!

Молодые люди, краснея, переглянулись между собою и улыбнулись.

— А ты думал, что ты лишний между нами? Как тебе не стыдно! — ласково упрекнула старика дочь и покрыла горячими поцелуями его лицо.

— Теперь ты не должен расставаться с нами, — говорил Павел. — Вместе жизнь будет полнее.

— Будет кого нянчить? — улыбнулся ех-профессор.

С этого дня для маленького семейного кружка, в среде которого была и Вера Алек-

сандровна, более всего удивлявшаяся тому, что она здесь все по-французски говорит, началась мирная счастливая жизнь. Кряжов с каждым днем все более и более привыкал к новым отношениям своих любимых «детей», и все реже омрачалось его старое лицо грустными думами. В эти немногие минуты на выручку являлась простодушная Вера Александровна: ее неумолкающая болтовня, ее наивное удивление перед разными иностранными обычаями, ее смешно сентиментальные выходки развлекали старика, и он в конце концов говаривал ей:

— Ну, оставимте нашу молодежь да пойдете бродить по городу, мы с вами тоже пара не хуже их!

Вера Александровна приходила в восторг, брала под руку старого ех-профессора и гордо смотрела на всех проходящих, полагая и, может быть, не без основания, что все удивляются и дают невольно дорогу ее спутнику: действительно, редкий встречный проходил, не взглянув с видимым любопытством на прекрасную львиную голову, с волнистыми, совсем седыми волосами, и с открытым взгля-

дом, на колоссальную фигуру широкоплечего старика, всегда просто, но оригинально одетого, все в тот же заветный, просторный и длинный сюртук, все с тем же откидным, широким воротником на рубашке, все с тою же, едва завязанною около шеи косынкой.

— Ах, ваш папаша такой удивительный человек! — восторженно шептала Вера Александровна Груне.

— Папа, папа, Верочка влюблена в тебя, — шутила со смехом Груня.

Вера Александровна краснела до ушей и, моргая глазами, умоляющим тоном чопорно шептала молоденькой шалунье:

— Ах, что вы меня конфузите!

— Ничего, ничего, Вера Александровна, пусть их смеются над нами, вот и мы когда-нибудь над ними подшутим, — дружески говорил Кряжов своей постоянной спутнице по прогулкам.

Пробыв недолго в Баден-Бадене, семья переселилась в Швейцарию, где и было проведено время до поздней осени. Осенью Павел стал собираться в Россию, с ним уезжала и Вера Александровна, но только на время, для

свидания с сестрою: без нее уже не могли обойтись здесь, да и она сама отвыкла от прежней жизни и чувствовала горячую привязанность к приютившим ее людям. Груня порядочно грустила перед разлукою с Павлом, но старалась скрыть свою грусть и обещала работать и учиться до возвращения своего друга. Он рассчитывал приехать снова к ней зимою на месяц.

— Береги, отец, Груню, — говорил Павел Кряжову перед отъездом. — Я должен тебе сказать, — начал он в смущении нерешительным тоном, — что теперь ей нужен особенный уход... Ты, может быть, это заметил.

— Положись во всем на меня. Я все знаю, все вижу, — задушевно перебил его старик, положив руку на его плечо. Но старик запнулся на первом слове и только через две-три минуты собрался с духом. — Ты знаешь, — сказал он, — что ребенок может быть записан законным, хотя это...

— Нет, нет, ради бога, — быстро перебил его Павел, — даже и не упоминай о существовании ее мужа! Пусть мой ребенок носит какое хочешь имя, какое хочешь звание, но

только он не должен быть Обносковым!

Кряжов тихо вздохнул.

— Не сердись ка меня, — кротко проговорил он. — Тяжело мне мириться со всем этим, очень тяжело! И не потому тяжело, что я гляжу на мнение света или придаю значение названиям вещей, но мне все еще больно, что именно я виноват во всем...

— Полно, отец! Ты видишь, что мы спокойны; зачем же тебе тревожить себя? Будем жить мирно, и пусть люди говорят про нас, что им угодно.

Пошли дни, недели, месяцы без особенных волнений, без особенных событий. Все герои этих семейных сцен стали мало-помалу отдыхать от пережитых тревог и бурь и сознавали, что их жизнь принимает ровное и правильное течение. Это было затишье после грозы; все чувствовали, что над ними прошумела гроза, что она оборвала многие листья, обломала многие ветви, только сами они не согнулись перед ней и остались целы. Эти уцелевшие люди не считали себя окончательно поломанными людьми и им, может быть, не без основания казалось, что под грозой погибли

только те части их самих, которые уже давно были гнилы и только могли мешать развитию здоровой части их организма. Павел работал в Петербурге особенно усиленно, без прежних порывов, но зато постоянно и осмысленно; счастье опять придало ему силы и ни разу думы о Груне, желание свидания с нею, смутные стремления dahin [8] не прервали его занятий; напротив того, он именно потому работал бодро, что только этим путем он надеялся спокойно, не разлучаясь жить с нею в будущем. Кряжов, испытавший, что значит полное одиночество, стал теперь искать людского общества и поселился со своею дочерью на время в одном из немецких университетских городов. У них образовался небольшой кружок знакомых: у Груни собиралась большею частью русская молодежь; у Кряжова сходились иногда немцы-профессора попить пиво и поспорить. Неизвестно, почерпнул ли что-нибудь вполне довольный своею судьбою Кряжов из этих бесед, но Груня развивалась с каждым днем, жадно хватаясь за каждую новую мысль, за каждое новое знание, и уже в ее голове бродили смелые планы различных

предприятий, которым ей хотелось отдаться по приезде в Петербург. Но когда настанет этот день? Эта мысль иногда заставляла молодую женщину строптиво хмурить брови и впадать в глубокое раздумье. Но облако печали проходило снова и опять являлась бодрость, пробуждались силы и надежды. А время шло. Вот и зима наступила; воротилась за границу Вера Александровна с наивными рассказами, как она, в качестве девицы, боялась ехать одна; пришло Рождество, приказал Павел к своей семье на елку, как он говорил; прошли праздники, и Павел уехал снова в Россию; все чаще и чаще стали приходить от него письма не к Груне, а на имя ее отца с вопросом о ее здоровье, наконец, получилась телеграмма на имя Кряжова со словами: «Благодарю тебя, отец, и да сохранит судьба младенца. Целую Груню», — а желанный день возвращения в Россию все не наступал.

Дело в том, что Алексей Алексеевич, выдав жене заграничный паспорт, никак не хотел выдать ей постоянный вид для отдельного свободного проживания, в России. Сделав поневоле, по необходимости одну уступку, он

никак не решался согласиться, чтобы его жена жила в России; по его мнению, ее поездка за границу могла еще не вызывать толков и не походить на формальный развод, но ее отдельная жизнь в Петербурге прямо давала возможность обществу заглянуть в закулисные тайны их семейной жизни и делать свои нелестные выводы. Кряжов уже решился не хлопотать о выдаче для дочери вида на жительство, тем более что и она сама на время успокоилась и перестала думать о возвращении в Россию, так как Павел окончил курс в университете и переселился в Германию, где впервые увидал маленькое дорогое ему создательнице, носившее имя Аркадия Панютина. Семья окончательно устроилась на месте и, по видимому, позабыла совершенно, что где-то далеко есть человек, который может и, по всей вероятности, не затруднится вдруг смутить ее семейное затишье, хотя бы просто из чувств зависти и мести. Перестав на время думать о возвращении на родину, Груня радовалась, что Павел пробудет с нею неразлучно два года, и нянчилась со своим младенцем никак не менее, чем нянчилась Вера Алексан-

дровна с другим младенцем — со стариком
Кряжевым...

XXIII

Заключение

Совсем иная жизнь шла в это время в доме Обноскова. Алексей Алексеевич, несмотря на болезненное и раздраженное состояние своего организма, весь отдался работе и старался забыть все невзгоды своей действительной жизни среди памятников давно забытой и чуждой ему древности. Между ним и его матерью царствовала заметная неприязнь. Сын всячески избегал бесед с нею и стал затворять от нее двери своего кабинета; если же она случайно врывалась в это последнее убежище сына, то он прямо говорил ей:

— У меня работа есть, не мешайте мне!

Сухой и холодный тон этих слов делал невозможным какое бы то ни было возражение. Мать вознаграждала себя за потерю сыновней любви жалобами на невестку, говорила всем и каждому, что эта змея подколотная ее с сыном рассорила, что он теперь в меланхолию впал, не ест, не пьет и ни с кем говорить не хочет, что он чахнет, как свеча перед

образом тает, и что какво же все это материнскому-то сердцу видеть! Откуда-то Марья Ивановна узнала, что «Павлушка» за границу ездил к своей «полюбовнице», что «старый греховодник-отец сам, сам повез к своей доченьке любовника, и что, если бы Леня-то захотел, так ей бы, жене-то его, публично выдали бы такой, знаете, билет, какие развратным женщинам выдают, а то еще, может быть, в монастырь на покаяние засадили бы; да только Леня-то духом, духом упал и ничего не хочет с ними, с мошенниками-то, с кровопивцами-то делать, хоть он теперь волен в их смерти и животе: захочет казнит, захочет помирует!..»

— Ах, дела, дела! — разевали рты слушательницы, по большей части принадлежавшие к сословию кухарок.

Эта сфера была самая достолюбезная для Марьи Ивановны, так как только здесь ее называли «барынею», преклонялись перед ее великим чином титулярной советницы и считали ее Леню каким-то грозным судьей, имеющим право казнить и миловать не только жену, но и всех ее родных и близких. Нез-

вестно, какие думы мучили в это время Обноскова: тосковал ли он о жене, придумывал ли для нее какую-нибудь месть или боялся людских толков, сплетен и огласки, но только он действительно избегал общества и выезжал лишь на уроки, в должность или на университетские диспуты, где постоянно вступал в ожесточенные и колкие споры, преследуя каждую живую и новую мысль. Он сам готовил диссертацию, полную тонких и едких намеков на совершенную безграмотность, на верхоглядство и дилетантизм в науке; ожидая полного успеха своему труду, он надеялся скоро получить кафедру и уже вперед говорил, что у него на экзаменах пройдут счастливо только те, которые будут знать его предмет, по крайней мере, не хуже его самого. Среди этих занятий и надежд ему представился еще один случай публично высказать свои мнения.

Дело в том, что в Петербурге приготавлилось одно из часто повторявшихся в последнее время торжеств; десяток докторов и ученых готовил юбилейный обед для одного престарелого, заслуженного доктора из обрусев-

ших немцев, известного несколькими, написанными на иностранных языках статьями. Несмотря на свое несомненно немецкое происхождение, доктор Тренинг был известен за ярого славянофила; несмотря на свою принадлежность к миру медиков, доктор Тренинг прославился одной наделавшею шуму статьею, где выражалось то мнение, что только классические науки развивают ум и нравственность человека, а естествознание ведет к безбожию и неверию. Эта статья прославилась еще более, когда один естествоиспытатель стал доказывать, отвечая на нее, что именно естественные-то науки и развивают веру, и указал при этом на нескольких верующих и даже служащих обедни иностранных естествоиспытателей. На эту статью явилось возражение какого-то литератора, который заметил: «А! Так вы своих учеников заставляете все принимать на веру? А я думал, что первая обязанность естествоиспытателя — заявить своим слушателям, что каждый их вывод, каждый их взгляд должен быть основан на фактах и опытах, что без фактов и опытов нельзя составлять никаких понятий и заклю-

чений, и что понятия, составленные иным образом, — ерунда». Воспользовавшись этим возражением, доктор Тренинг тонко указал кому следует, какие идеи проповедуют естественники, и вышел победителем из спора. Помня эту бурю в стакане воды, можно было ожидать очень многого от юбилейного обеда, тем более что и все другие подобные обеды не проходили без шума и курьезов. Петербург, да и вся Россия, как, вероятно, заметил каждый, так же стремительно бросились на путь ораторства, как несколько лет тому назад они бросились на путь обличительной литературы; бог знает для каких целей развиваются теперь эти ораторские способности, но вероятнее всего, что в результате получится то же, что получилось от обличительной литературы, то есть почти полнейшее исчезновение с лица земли. Но что бы ни было в будущем, а покуда мы ораторствуем, видим от этого великую пользу, относимся к «речам» с неподражаемо комичною серьезностью и глубокомысленно с какою-то боязливой оглядкой называем эти невинные упражнения «подготовкой к будущему», а потому юбилейный обед

доктора Тренинга, как и обед для братьев славян, как и все другие обеды, казался чем-то важным, каким-то событием в жизни всех сограждан и всей России, наверное не одному Обноскову. Что ж мудреного, что и он поспешил воспользоваться возможностью свободно, с дозволения начальства, высказать свои мнения и подписался чуть ли не первым на обед. Этому гражданскому подвигу он даже жертвовал своим здоровьем и сильнее всего боялся только того, что его нездоровье разовьется не на шутку до дня юбилея. Он употреблял невероятные усилия над собою, чтобы казаться даже в своих собственных глазах здоровее, чем он был на самом деле, и уверял себя, что и кашель, и лихорадка были просто следствием неопасного гриппа. Накануне давно ожидаемого дня Обноскова бросало и в пот, и в дрожь; от нетерпения он почти не мог ничего делать, двадцать раз ложился и снова вставал и набрасывал на бумагу речь, которую, подобно всем другим ораторам, хотел произнести на обеде, конечно, экспромтом. Наконец настал и желанный день. Алексей Алексеевич прибодрился и оделся, по-

смотрел на часы и увидал, что еще слишком рано ехать на обед. — Не ездил бы ты, голубчик, сегодня, — сказала ему мать. — На тебе лица нет, а сегодня мороз такой, что нос страшно на улицу показать.

— Что вы выдумываете! — рассердился сын. — Я совсем здоров, да если бы и был болен, то все-таки надо ехать.

— Ох, Леня, уж неужели начальство и на болезнь-то не смотрит...

— Какое начальство? Я на обед еду...

— Господи, уж будто ты дома-то пообедать не можешь! Слава богу, живем мы...

— Ничего вы не понимаете, а суетесь во всякое дело!

Обносков повернулся к матери спиною, вышел, хлопнув дверью, и подумал: «Вот и живи век с такою круглою невеждою! И как это она умеет во все свой нос сунуть. Мало ей кухонного царства!»

Приехав на обед не в очень хорошем настроении духа, Алексей Алексеевич имел несчастье неожиданно встретить там Левчинова. Это обстоятельство еще более раздражило Обноскова. Левчинов, по обыкновению, до-

вольно пошло балагурил и хохотал громким смехом.

— Что, Алексей Алексеевич, от скуки по торжественным обедам разъезжаете? — сказал он Обноскову, фамильярно хлопая его по плечу в качестве старого товарища.

— Вам подражаю, — хмуро ответил Обносков.

— Я-то по обязанности здесь, нужно «отметку» веселенькую настроичить о том, как это люди будут немца за русский патриотизм выхвалять и доктора славить за борьбу против естествознания. Ну, да после такого драматического представления и на балет посмотреть хочется.

— На какой балет? — сердито спросил Обносков.

— А как наши престарелые тузы вприсядку ради патриотизма пойдут.

— Что вы выдумываете?

— А вот увидите. И трепака пропляшут. Ей-богу! Вот его превосходительство доктор Винтер непременно вприсядку пойдет. Ему уже не впервые этим художеством заниматься, наострился!

— Удивляюсь я, как вам не надоест всякой чепухе верить. Негодяи где-нибудь распустили пошлую выдумку, а вы верите.

Обносков ходил по зале, желая скрыться от Левчинова, но тот, как тень или верный пес на травле, следовал по его пятам.

— Ой, какой вы сердитый нынче стали! — смеялся он. — Ну, а что ваша супруга? Здорова ли? Скоро ли мы ее снова увидим?

— Она еще не поправилась, — прошипел Обносков и бросил свирепый взгляд на Левчинова, как будто он хотел его уничтожить.

Левчинов не унимался.

— Как жаль, как жаль! — говорил он с участием в голосе. — Где же она теперь? В Ницце или в Швейцарии?

Обносков закусил губы. Он не знал наверное, где живет теперь его жена, и боялся явно и смешно провраться, если Левчинову почему-нибудь известно настоящее местопребывание Груни.

— Не хотите ли вы навестить ее? — постарался он отделаться от прямого ответа и поспешно улизнул в толпу, увидав какое-то знакомое лицо.

Но Левчинов не отступал от своей жертвы и тешился травлею со всею нахальностью и неотвязчивостью праздношатающегося повесы. Во время обеда он уселся возле Обноскова и отравлял своими шутками каждый кусок старого приятеля. Каждая речь, каждый тост давали повод к насмешкам и остротам. Обносков кусал губы и молчал. Обед между тем делался все шумнее, некоторые голоса уже звучали как-то неверно, местами уже слышались приглашения выпить на «ты»; приходилось торопиться произнести речь.

Алексей Алексеевич встал, попросил слова и начал говорить... Желчная и едкая речь Обноскова о необходимости борьбы с модными идеями развращенного поколения материалистов, реалистов и нигилистов уже начала возбуждать внимание, как вдруг Левчинов крикнул:

— Нет, нет, господа, теперь примирение нужно! Да погибнет вражда и распри! Мы все дети одной матери, какие бы ярлыки и клички мы ни носили, и наш почтенный юбиляр служит ярким доказательством истины моих слов: он немец по фамилии, но он русский в

душе!

— Да, да, ты наш брат русак! — крикнул кто-то неверным голосом.

— Качать его, качать!

Десяток пожилых и еще не старых людей, пошатываясь, окружили юбиляра, и началось качанье.

— Пей, брат, пей и докажи, что и ты русский! К черту шампанское! Подавай нам родной сивухи! — сипло раздавалось в одном углу.

— Ну-ка, Эдуард Карлович, пройдемся, — говорил кто-то почтенному доктору Винтеру, размахивая взятым за угол носовым платком в знак приготовления к русской пляске.

Среди этого хаоса ошеломленный и безмолвный Обносков остался один, не досказав своей строго обдуманной речи. Кто-то подошел к нему и ударил его по плечу. Обносков обернулся и увидел перед собою улыбающегося старикашку с лысой, словно обмазанной салом, лоснящейся головой; он не знал этого человека.

— Вы Обносков? — спросил старикашка, едва стоя на ногах и умильно улыбаясь.

— Да, — ответил Алексей Алексеевич.

— Ну, и выпьемте за вашу будущность! Выпьемте, потому что я люблю вас, люблю всю такую молодежь.

— Я не могу много пить, — сухо ответил Обносков.

— Глупости! Брудершафт выпьем... На «ты»... Ну, давай! К черту церемонии, к черту скуку! Мы здесь в своей семье, и все мы братья!

Обносков выпил бокал вина через руку с лысым старичком. Последовало лобзание. Старик потащил Обноскова в другую комнату, усадил на диван, велел подать кофе и подлил в него рому. Началась беседа; старик со слезами на глазах рассказывал о своей студенческой жизни, выболтал все свои семейные тайны, пожаловался на жену и на непокорных детей и налил еще стакан вина Обноскову, заставив его насильно выпить.

— Нет, ты пойми, каково мне жить, — рыдал подгулявший лысый старичок, полируя носовым платком свою лоснящуюся голову. — Сын у меня, Николашка, разбойник, говорит: «Не хочу я с мачехой жить...» Ну, гово-

рю, и убирайся к черту!.. «Да я, говорит, и сестер с собой возьму, потому что не хочу, чтобы они на безобразие смотрели...» Ну, говорю, и бери их на свою шею, а я вам гроша не дам... Хорошо! Ушли, бросили меня... А она-то, жена-то моя, обманывает меня, на каждом шагу обманывает... А? Каково мне это сносить?.. Вот ты молодой человек, а как бы ты это снес, если бы тебя жена обманывать стала?.. Ну, скажи мне откровенно, скажи, — приставал лысый старичок, рыдая.

Обносков молчал и, неизвестно почему, тоже горько плакал. Он захмелел окончательно.

— Нет, ты скажи мне: ты мне друг? А? — приставал лысый старичок.

— Господа, не здесь ли юбиляр? — громко спросил кто-то, вбегая в комнату, где сидели наши собеседники.

— Не-ет, — ответили они, оглядывая комнату мутными глазами.

— Боже мой, он пропал! Кучер его ждет, а его отыскать нигде не могут.

— Надо идти! Искать! — заговорил старичок путающимся языком, громко икая, и потащил за собою Обноскова, говоря ему: «Под-

держивай нас, стариков, поддерживай, молодой человек!»

Бесплодно отыскивая пропавшего юбиляра, толпа подкутивших гостей вышла на улицу без шуб и шляп, чтобы расспросить кучеров. Один из гостей отправился на дом к юбиляру. Через полчаса он возвратился и объявил, что юбиляра увезли в чужой карете и что он спокойно спит в своей спальне.

— Ура, пить за его здоровье! — крикнули сильные голоса...

Обносков, шатаясь, улизнул из комнаты и вышел на крыльцо, где едва отыскали ему шубу. Он чувствовал себя скверно и не мог дать себе отчета, что делается с ним.

— Едешь уже, Алексей Алексеевич? — нежным и печальным голосом спросил его, появляясь на крыльце, Левчинов, говоривший уже со всеми на «ты» и с чрезвычайною сладостью и мягкостью. — А у нас, голубчик, жженка устраивается, *Gaudeamus* споем, — еще более огорченным тоном добавил он.

— Нет, ты свинья! Ты глубоко, глубоко оскорбил меня! — почти плача произнес Обносков заплетающимся языком. — Ты подлец!

— Полно! Ну, что ты ругаешься? Ну, подлец я, подлец, а ты прости меня, — полез с открытыми объятиями Левчинов к своему старому приятелю. — Ну, какие мы враги? Что нам делить-то! Все мы мученики подневольные...

— Да ведь больно мне, больно! — разрылся Алексей Алексеевич, лобзаемый Левчиновым. — Ты думаешь, я подлец, ты думаешь, я не понимаю вас? Я очень понимаю... Но я за закон, за закон... Ну, зачем вы не закон? А, зачем?.. Ну, и я бы с вами, за вас бы... за конституцию...

— Ну, останься, останься, голубчик, хоть теперь с нами, — умолял огорченный Левчинов. — Ведь ты не согласишься, как я тебя люблю. Будь ты женщиной, я бы женился на тебе. Ей-ей! — объяснялся он в любви.

— Нет, я поеду, измучился я, — бормотал Обносков, бессмысленно мотая головой.

— Ну, не хочешь оставаться, бог с тобой! Давай я тебя провожу, давай я тебя усажу! Помнишь, Леша, я тебя маленького на руки подымал... Маленький ты такой был, слабенький...

— Эх, брат-ат, горько мне, о-очень горько! —

шептал Обносков совсем заплетающимся языком почти в полусне.

Левчинов, обнимая и целуя приятеля, отвел его на улицу, усадил в сани и закутал, подняв воротник его шубы до самых ушей. Извозчик уже хотел ехать, когда Левчинов еще раз облобызал Обноскова и пробормотал:

— Постой, голубчик, я тебя перекрещу!

Левчинов сотворил крестное знамение над лицом приятеля. Обносков во всю дорогу заливался слезами...

Рано на следующий день поднялась Марья Ивановна и, узнав от кухарки, что барина привел дворник «не в своем виде», прошла на цыпочках в комнату сына. Он, нераздетый, лежал на спине на своем диване в страшном жару. Марья Ивановна попробовала разбудить его, он не просыпался. Она позвала служанку и кое-как с ее помощью раздела сына. Он что-то пробормотал во сне, но не открыл глаза. Его пылающее худое лицо было покрыто пятнами. К вечеру сын все еще спал, но бредил. Пришлось звать доктора. Доктор покачал головою, сказал, что дело плохо, прописал лекарства и уехал... Прошло недели две,

Алексей Алексеевич был уже в памяти, но надежд на выздоровление не было никаких.

— Священника позовите, — слабым голосом говорил он однажды матери.

Она расплакалась.

— Не плачьте... мне надоели слезы, — прошептал он и отвернулся.

— Какая она в девушках была веселая, — бормотал он через минуту в забытьи.

— Про кого это ты, голубчик, говоришь? — с участием спросила мать.

— Вы еще здесь? — очнулся больной. — Ступайте за священником... Что ж, одну жизнь отняли, так и другую хотите отнять? — с испугом на лице бормотал больной. — Священника, священника!..

Он потянулся за колокольчиком.

— Что ты, Леня? — спросила мать.

— Священника!.. Вы меня губите... Ад... ад... — стонал больной. Мать вышла.

— А потом она была всегда такая печальная, — снова через несколько минут бормотал Обносков в забытьи.

Пришел духовник и попросил Марью Ивановну выйти из комнаты.

— Да, да, уйдите, вас не надо, — проговорил больной.

Мать повиновалась и вышла. Началась исповедь. Больной отвечал несвязно.

— Жена меня не простит... проклинать будет, — совсем тихо произнес он, принимая причастие, и опять на его лице появилось выражение мучительного испуга. — Жену! жену! — громко и звучно крикнул больной почти с ужасом.

— Не хотите ли, чтобы я что-нибудь передал ей? — спросил священник. — Подумайте.

Он помолчал, чтобы дать больному время подумать, и стал укладывать крест в небольшой ящик. Прошло несколько минут.

— Ну, что же, не имеете ли вы еще чего-нибудь сказать?

Священник обратил свои глаза на больного: тот не шевелился и лежал с открытыми и неподвижными глазами. Священник тихо начал читать над ним молитву...

От Обноскова остался один бездушный труп, да несколько никому не нужных начатых работ... На лице покойника, когда он лежал на столе, виднелось все то же выражение

испуга; казалось, что он именно для того закрыл глаза, чтобы не видеть окружающих людей и кипящей кругом жизни, а может быть, в этом выражении отразился его последний страх перед тою жизнью, в которую он так боялся вступить... Марья Ивановна дико кричала, рвалась и билась у гроба...

Похороны совершались довольно торжественно, и нашлось много людей, придавших какое-то особенное значение покойнику. «Он был, как Россия, весь в будущем!», «Мы хороним наши лучшие надежды на будущее!», «Это был стойкий и глубоко убежденный человек, способный направить на путь новое поколение», — раздавалось со всех сторон и кто-то даже тиснул в этом роде статейку: бог знает, заставило ли выкинуть эту штуку искреннее убеждение или просто желание сказать, что и автор статейки был тоже знаком с порядочными людьми, или, может быть, побуждение было еще мельче и просто явилось следствием желания зашибить лишнюю копейку...

На могиле один из провожатых совершенно неожиданно решился произнести речь и

принял приличный случаю вид.

— Господа, кого мы хороним? — торжественно спросил оратор и обвел собрание глубокомысленным, немного отупелым взглядом, как это обыкновенно делается при подобных вопросах во время надгробных речей. — Кого мы хороним? — еще торжественнее повторил он, выкатывая глаза и многозначительно качая головой.

— Сына моего, батюшка, сына моего... Обноскова... — зарыдала Марья Ивановна, услышав вопрос и совершенно не зная, что на подобные вопросы в речах обыкновенно отвечают сами же ораторы.

По лицам присутствующих промелькнули неприличные, плохо сдержанные улыбки, а оратор совсем растерялся, остолбенел и, потеряв нить своей речи, мог продолжать ее только через несколько минут. Но, к сожалению, ему надо было торопиться, так как Марья Ивановна окончательно решилась вступить с ним в разговор и поминутно отвечала на все похвалы оратора.

— Это точно, батюшка! Так, так! Ох, он, мой голубчик, если б он знал, как его люди-то

хвалят! Вот уж видно, что вы добрый человек! Не имею чести только знать, как вас зовут...

Вследствие этих возгласов надгробная речь, против всякого ожидания, превратилась в какой-то странный диалог; оратор, посылая чуть не к черту Марью Ивановну, спешил, путался, а недоумевающая публика смотрела на это необычайное зрелище совсем не с похоронным настроением духа.

— Фу! — отер оратор со своего лица пот, окончив речь, и отошел от могилы. — Нет, каково эта баба-то ко мне привязалась! Совсем, разбойница, доехала! — восклицал он в кругу своих знакомых. — Это ведь черт знает, что за положение!

— Позвольте-с, засыпать надо! — проговорили могильщики и, поплевав на ладони, принялись за лопаты.

Комки мерзлой земли глухо застучали о крышку гроба.

— О-й, пустите меня к нему, к моему голубчику! Ох, отцы родные, не могу я без него жить! Тошнехонько мне!.. Леня, ангел мой, ненаглядный, разочек дай взглянуть на себя! — рвалась Марья Ивановна из поддержи-

вавших ее рук.

Провожатые начинали понемногу расходиться. Раздосадованный оратор обдумывал теперь, что надо бы еще сказать на обеде, и решился иначе начать свою новую речь, надеясь на более удачный конец...

— Не пожалуете ли, сударь, на чаек?.. За копанье могил... умаялись... Здесь грунт-от, пусто бы ему было, чистая глина, да и замерзло все... Пока копаешь, так сам десять раз в яму носом ткнешься, — рассуждал один из могильщиков, пока распорядитель похорон шарил в своем кошельке, отыскивая мелочь.

— Батюшка, им заплачено... Ох, всем заплачено, всем! — вмешалась, рыдая, Марья Ивановна. — Мошенники здесь обобрать норовят... Жалости-то в них нет!.. Ох, я сирота горемычная!.. На кого ты меня оставил, кормилец ты мой!..

— Ишь ты, полтину на трех дал, — с укоризной рассуждал могильщик, когда и Марья Ивановна была уведена с могилы. — Ну, кулак народ! И ведь зкое время-то, ни к чему приступу нет...

— А вот погоди, хлеб-от, говорят, еще подо-

рожает, — заметил другой могильщик, сердито прибывая лопатою землю на могиле Обноскова.

— Черти, черти проклятые! — ругался себе-седник, не менее сердито оканчивая свою работу. — Довольно, и так не встанет! — отер он пот с лица и поднял лопату на плечо, как солдат ружье.

От кладбища уже мчались на похоронный обед кареты, и шли в них веселые, беззаботные разговоры о житейских делах, о сегодняшнем дне, о вечернем спектакле... Сегодня похороны, завтра свадьба; утром погребальное пение, вечером обнаженные плечи Деверий или балет чуть не голых фей; один умер, другой родился; Алексея Алексеевича Обноскова похоронили, а где-нибудь с нетерпением и радостью ждут рождения какого-нибудь его однофамильца; покойник стоял за чистую, отвлеченную от жизни науку и, к сожалению, не кончил своего поприща, даже не начал настоящей борьбы за свои идеи, но, может быть, новорожденный его однофамилец будет успешнее бороться за те же самые идеи; ведь не сегодня началась эта борьба, не завтра

кончится; наука не скоро унижится до того, чтобы сойти в простую кухню или в грязный подвал мастерового, ну, да и жизнь-то обходится без науки, не много нужно знать, чтобы весело прожить... Зимой кутили в пользу несносных голодающих, летом поедем на воды за границу мотать последние деньги; на наш век всего хватит, а внуки пусть сами о себе думают; старые порядки, может быть, и худы, да не ломать же нам себя, а новые, может быть, и хороши, ну, так и пусть их вводят, когда нас не будет... Житейские речи, житейская мудрость! Плохо живется на свете с этой мудростью...

В Германии стояла уже давно чудесная весна. Однажды небольшой семейный кружок Кряжова и несколько коротких знакомых Панютина и Груни уселись в саду пить после обеда кофе. Между собеседниками шли те не слишком торопливые, отчасти задумчивые разговоры, к которым обыкновенно располагает послеобеденная пора. Толки шли о России, о газетных известиях, о голоде, о женском вопросе, о просьбе женщин позволить им слушать университетский курс естествен-

ных наук. Одни выражали свои молодые надежды, другие, более опытные, покачивали головами и повторяли свой вечный припев: «Ничего не выйдет!» Вопрос перешел к тому, отчего ничего не выйдет? Начались споры, и беседа оживилась. Не вмешивалась в разговоры в этот день только Груня. Она в последнее время с особенным нетерпением ждала вестей из Петербурга, так как оттуда должен был приехать старший сын Высоцкой, а может быть, и она сама. Споры еще продолжались, как вдруг Груня быстро поднялась с места, взяла на руки ребенка и быстро побежала с ним по аллее сада.

— Куда ты? — с удивлением спросил Павел.

— Она, она приехала! — крикнула Груня, продолжая бежать.

— Милая, дорогая! — раздавалось у калитки сада. — Сколько времени мы не видались.

— Давай ребенка! — слышался мелодический голос Стефании Высоцкой. — Боже мой, какой он у тебя бутуз! Ты чем его кормишь?

— Не смей смеяться над ним!

— Ну, а уж щипать я его непременно буду!

— Так я тебе и позволю!

— Да вы не поссорьтесь на радостях! — засмеялся Павел и нагнулся к руке Стефании.

— Бог мой, какой он цивилизованный стал за границую! — захохотала она, подставив ему свободную руку.

— Всё по-прежнему веселы, живы, — ласково промолвил Кряжов, здороваясь с приезжею.

— Что мне делается!

— А сын, другие дети где?

— Все, все со мною. Возьтятся в отеле.

— Ну, уж это не дело, изволь сюда переезжать, — произнесла Груня и побежала распоряжаться о перенесении вещей Высоцкой в их дом.

— Да ведь это такой гвалт здесь поднимется, что вы убежите из своего кабинета, — обратилась Стефания к Кряжову.

— Ну, я и без того изленился здесь, постоянно бегаю от работы. То внучонка понянчить хочется, то милейшая Вера Александровна без меня скучает, ее утешать надо, — смеялся старик.

— Ах, а где же она? Ведите меня к ней! Она все по-старому влюблена в вас?

— Да смейтесь, смейтесь! А мы такими друзьями стали, что жить друг без друга не можем, — шутил Кряжов, действительно привыкший, как к близкой родной, к наивной и немного сентиментальной старой деде.

Когда поутих первый шум и гам веселого свидания, Стефания осторожно завела речь об опасной болезни Обноскова.

— Говори прямо: он умер? — изменяясь в лице и пристально глядя на Высоцкую, спросила Груня.

— Да, — ответила Стефания.

Все разом замолчали. Кряжов, опустив голову, заходил по комнате и время от времени по старой привычке подергивал шейную козынку. Груня чертила что-то на песке и по ее щеке катилась едва заметная слеза.

— Что же, этого надо было ожидать, этим должно было все рано или поздно кончиться, — проговорила Стефания.

Груня не поднимала головы.

— Знаю, — прошептала она, украдкой отирая упавшую на руку слезу, — но мне тяжело,

что я могу воротиться в Россию, только перешагнув через его могилу.

— Да ведь и всегда приходится шагать чрез чьи-нибудь могилы к новой жизни! — ответила Высоцкая серьезным тоном. — Мы-то это знаем по опыту.

— Да, ты говоришь о великих событиях, а тут мелкие семейные интересы...

— Ну, зато и могил немного, — ответила Высоцкая. — Это грустно, да ведь свет не переделаешь. Не перешагнешь ты через могилу врага, — он перешагнет через твою... Остается то утешение, что не мы виноваты в таком порядке дел.

Павел подошел к Груне и взял ее за руку.

— Ты не согласна с нею? — тихо спросил он.

— Согласна, но ты знаешь, как трудно приучить нервы к выносливости в этих случаях, — ответила Груня.

Павел тихо поцеловал ее и, взяв ее под руку, удалился с нею в глубину сада. Между ними зашел серьезный разговор о будущем.

Что будет далее с нашими героями — неизвестно, но во всяком случае их дальнейшая

история, несмотря на все их ошибки, недостатки и промахи, не может принадлежать к истории господ Обносковых. Мы могли бы поговорить здесь о Марье Ивановне, но подобные женщины не изменяются до гробовой доски, и потому с ними довольно познакомиться раз, чтобы уже никогда не желать продолжения начатого знакомства. Носятся слухи, что она снова переехала на Выборгскую сторону и наклеила на окна объявления об отдаче комнат для студентов. Что ж, это очень вероятные слухи: такая жизнь все-таки доставит ей утешение ежедневно изо всех сил пилить кого-нибудь и горько плакаться перед каждым встречным на угнетение судьбы и на сиротскую долю.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые — «Дело», 1868, № 3, с. 157–202; № 4, с. 119–178; № 5, с. 145–202; № 6, с. 188–245; № 7, с. 166–223, с подписью: А. Михайлов.

С. 21. Геродот (ок. 484–425 до н. э.) — древнегреческий историк. Плиний Старший Гай Секунд (23–79) — римский писатель и ученый.

С. 27...рассуждения о Бисмарке, о выборах. Одни Францию ругают, другие Россию кланут. — Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, фон Шенгаузен, кн. (1815–1898), известный государственный деятель Пруссии и Германии, дипломат, основатель юнкерско-буржуазной Германской империи. С 1859 по 1862 г. был послом в Петербурге, затем недолгое время в Париже. Бисмарк поставил перед собой задачу «железом и кровью» объединить немецкое государство под прусской гегемонией. После разгрома Австрии в войне 1866 г. он сумел изолировать Францию и заручился поддержкой Александра II. В 1867 году он добился создания Северо-Германского Союза и был на-

значен его канцлером.

С. 35. Саллюстий Гай Крисп (85–35 до н. э.) — римский историк.

С. 38, Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский публицист и историк.

С. 42...созерцающая головы этих медуз. — Медуза — в греческой мифологии женщина-чудище со змеями вместо волос на голове.

С. 72. Илот — здесь: бесправный, эксплуатируемый человек.

С. 78. Фауст, Вагнер, Гретхен — действующие лица трагедии Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832) «Фауст» (1808).

С. 107...мало их перевешали... — Имеется в виду подавленна восстания в Польше в 1863 году.

С. 128...немецкий гелертер. — Начитанный человек, ученый (от нем. *der Gelehrte*).

С. 130. Камелия — женщина легкого поведения.

С. 131. Эгоистка — небольшой экипаж для одного человека.

«Правоведение» — т. е. Училище Правоведения.

...его можно было застать у Вольфа, Бореля

или Дюссо... — Дюссо и Борель — известные петербургские рестораны на Большой Морской. На Невском проспекте располагалась кондитерская Вольфа и Беранже.

...о пластичности Петипа... — Петипа Мариус Иванович (1822–1910) — выдающийся русский балетмейстер. С 1847 г. — тавцовщик в петербургском Мариинском театре; с 1862 г. начинается его деятельность балетмейстера.

С. 133. История Смараглова... — С. Н. Смараглов (1805–1871) — автор учебников по истории для средних учебных заведений: «Руководство к познанию древней истории» (1840), «Руководство к познанию средней истории» (1841), «Руководство к познанию новой истории» (1844).

Гиль — чепуха.

С. 147...не следует... читать Милля... — Дж. Стюарт Милль (1806–1873) — английский философ и экономист.

...нимфа Эгерия помогала Нуме Помпилию при составлении законов... — Нума Помпилий (конец 8 — начало 7 в. до н. э.) — легендарный римский царь, славившийся справедливостью и мудростью. Эгерия — в римской ми-

фологии богиня, помогавшая, по преданию, Помпилию в установлении в Риме религиозных обрядов и проведении различных жертвоприношений.

С. 151. Волтижер — наездник.

С. 154. Берейтор — объездчик лошадей.

С. 157...на одра похож. — Одёр — старая, рабочая скотина.

...фигурой Аполлона! — Аполлон, или Феб, в древнегреческой мифологии бог солнца и поэзии; изображался художниками и скульпторами в виде красивого юноши. Наиболее известна римская скульптура Леохора — Аполлон Бельведерский.

С 159...одну из элегических наивных песен Бернса. — Шотландский поэт Роберт Бернс (1759–1796) — автор популярных песен, близких к шотландской народной балладе.

С. 197...Робинзон или Гус со своими друзьями, протестанты или социалисты шли проповедовать свои доктрины, все было плодом восторженных мечтаний... — Ян Гус (1371–1415) — вождь реформации в Чехии, руководитель национально-освободительного движения. Герой романа Даниэля Дефо (ок.

1660–1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, написанные им самим» (1719), ставший столь популярным, воспринимался молодежью как символ труда и протеста против паразитической аристократии. Всюду появлялись «робинзонады». Домашний врач Л. Н. Толстого Д. П. Маковицкий записал в своем дневнике: «Л. Н. хотел написать русского „Робинзона“. „Какая это мысль прелестная, как это все, чем мы пользуемся, добывается трудом“ (Яснополянские записки Д. П. Маковицкого, „Наука“, М., т. IV, 1979, сс. 336, 354).

С. 209. Ономедни — т. е. недавно, оными днями.

С. 271...Gaudeamus споем... — Gaudeamus igitur (лат.) — „Итак, возрадуемся“ — начало известной студенческой песни, впервые опубликованной в 1776 году и заново обработанной в 1781 г.

Примечания

пройдох (фр.).

[^^^]

баловнем (фр.).

[^^^]

3

болтать о романах и тряпках (фр.).

[^^^]

навязчивая идея (фр.).

[^^^]

Спасибо! (англ.).

[^^^]

6

«Прощай, мой бедный мальчик!» (англ.).

[^^^]

безделъе (ит.).

[^^^]

туда (нем.).

[^^^]